

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ



Бесы



ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ





ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО  
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Роман

БЕСЫ

Роман в трех частях

Часть I



МИР КНИГИ



Д70 **Достоевский Ф. М.**  
Собрание сочинений: Село Степанчиково и его обитатели: Роман; Бесы: Роман; часть I / М.: Мир книги, Литература, 2008.— 384 с.

ISBN 978-5-486-01930-2 (т. 7)  
ISBN 978-5-486-01562-5

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) — великий русский писатель, в произведениях которого органично сочетается реалистическое изображение социальных контрастов и страстные поиски общественной и человеческой гармонии, тончайший психологизм и гуманизм. Творчество Достоевского оказало огромное влияние на русскую и мировую литературу.

В данный том Собрания сочинений вошли роман «Село Степанчиково и его обитатели», и первая часть романа «Бесы».

**ББК 84(2Рос=Рус)**

ISBN 978-5-486-01930-2 (т. 7)  
ISBN 978-5-486-01562-5

© ООО ТД «Издательство  
Мир книги», оформление, 2008  
© ООО «РИЦ Литература», состав,  
комментарии, 2008





# СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

*Из записок неизвестного*

Роман





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

#### ВСТУПЛЕНИЕ

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смиреннее и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довел; он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русом усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе, в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вышедшая в

другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливая горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожителства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принужден был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсионера. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя сажеными лакеями, которые никогда ничего от него не слышали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблаго-

дарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всёго более нравилось то, что он генерал, а она по нем — генеральша.

В доме у ней была своя половина, где все время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место, — словом, она извлекла из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался; но зато при людях он смеялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на «такой просвирне»? — и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях.

Но слушатели городка N\* не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бобах и на картах, раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин.

Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя — объяснять не стану: такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как приживальщик из хлеба — ни более, ни менее. Откуда он взялся — покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательно-го человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал и уж, разумеется, «за правду». Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что, наконец, он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутком, он великодушно пожертвовал собою дружбе; что генерал был его благодетель; что это был человек великий, непонятый и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он, Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутком, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил — трудно представить неспециалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, — за что? — неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияние различных иван-яковличей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев.

Наконец все переменялось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал

священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, — одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для непрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и безответною кротостью, — подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под голову страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные — разумеется, на счет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князевке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково, и что *нога* ее никогда-никогда не будет в доме его! Вообще слово *нога*, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его... Словом, красноречия было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то вре-

мени и начинается все непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое.

— Каково же будет вам, — говорил Фома, — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками начнет в самом деле испрашивать себе подаяния? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой — но ведь это может случиться — под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и... ну, вообще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то — позвольте это вам сказать откровенно, полковник, — всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи... что я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарাপортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша, вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила наконец своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что только попробует жить у сына, покамест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, покамест испытывали его почтительность! Сначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подзвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у *такого отца*, глубоко и тяжело вздыхала и наконец заливалась безмолвными таинственными слезами по крайней, мере на целый час. Горе полковнику, если он не умел *понять* этих слез! А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда, по наивности своей, подвергивался, как нарочно, в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но по-

чительность его не уменьшалась и, наконец, дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, — прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит как осиновый лист.

— Жестокий сын! — кричит генеральша, очнувшись, — ты растерзал мои внутренности... *mes entrailles, mes entrailles!*<sup>1</sup>

— Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? — робко возражает полковник.

— Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.

Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Чрез полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу:

— Ну, да ведь она, братец, *grande dame*<sup>2</sup>, генеральша! добрейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному... не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сердится. Оно конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват...

Случалось, что девица Перепелицына, перезрелое и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

— Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с.

— Это, брат, девица Перепелицына, — замечает полковник своему слушателю, — превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала как мышка перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заморозил ее окончательно. Она не надыхала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и про-

<sup>1</sup> мои внутренности! (*фр.*)

<sup>2</sup> светская дама (*фр.*).



живавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что, по его глубочайшему убеждению, генеральша находилась в невозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. Может быть, спросят: откуда берется такое самолюбие? как зарождается оно, при таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, которые, уже по социальному положению своему, обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым и принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, — уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего ски-

тальца, на его же глазах? Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича — разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалования или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч. и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутках составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться — вот была главная потребность его! Его не хвалили — так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не жилец я между вами, — говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, — не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч человек будут собираться на мои лекции ежемесячно. Грянет наконец мое имя, и тогда — горе врагам моим!» Но гений, покамест еще собиравший прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душе-спасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы-хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке-покровительнице и оболыщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только рассказы, считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности — это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собою интересам других — их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягок характером,

но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтоб у него были враги; они, однако ж, у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся как огня и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, «чтоб уже так», говорил он скороговоркою, отдавая от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости — «чтоб уж так... чтоб уж все были довольны и счастливы!» Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страданий, он решался наконец увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку неразлучно с другим идиотом — ее идолом, боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за все прошлое, — идиотку, перед которой дядя считал своею обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим Богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения...

— Я, братец, сам виноват, — говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, — во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь... то есть... что я! какое одолжаешь!.. опять соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!.. то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось — у меня часто с языка

срывается... Ну, и, наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: все это требует награды! ну, наконец, и наука... писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо — словом...

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутках у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписывал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению... он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его — сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок — и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.

— Сочинение пишет! — говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. — Не знаю, что именно, — прибавлял он с гордым и таинственным видом, — но уж, верно, брат, такая бурда... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувырколегия, что... Кажется, о производительных силах каких-то пишет — сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил...

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка

электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, «такой хляблй, что папеньку любит государь»... Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.

— А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья получал? — спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности.

— А тебе какое дело, пехтерь? — отвечал он, с презрением поглядев на бедного мужичонка. — Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?

Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».

— Отец ты наш... — подхватил другой мужичок, — ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, — как и величать-то тебя не ведаем.

— Пехтерь! — повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. — Жалованье жалованью рознь, посконная ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, — значит, не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на государственное просвещение да на погорелых жителей Казани пожертвовал.

— Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? — продолжал удивленный мужик.

Мужики вообще дивились на Фому Фомича.

— Ну да, и моя там есть доля, — отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил *такого* человека *таким* разговором.

С дядей разговоры были другого рода.

— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развываясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. — На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру иль нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал как порох при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

— Отвечайте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнетя, жметя и не знает, что предпринять.

— Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.

— Mais répondez donc<sup>1</sup>, Егорушка! — подхватывает генеральша, пожимая плечами.

— Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра или нет? — снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.

— Ей-богу, не знаю, Фома, — отвечает наконец дядя с отчаянием во взорах, — должно быть, что-нибудь есть в этом роде... Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

— Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа, — вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.

— Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну когда я это хотел сказать?

— Нет, вы именно это хотели сказать.

— Да клянусь же, что нет!

— Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я все перенесу...

— Mais, mon fils...<sup>2</sup> — вскрикивает испуганная генеральша.

— Фома Фомич! маменька! — восклицает дядя в отчаянии, — ей-богу же, я не виноват! так разве, нечаянно с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп — сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно... Знаю, Фома, все знаю! ты уж и не говори! — продолжает он, махая рукой. — Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек... ну и все там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен как козел, эгоист первой руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит!

— Да, вы таки эгоист! — замечает удовлетворенный Фома Фомич.

— Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!

<sup>1</sup> да отвечайте же (фр.).

<sup>2</sup> но, сын мой... (фр.)

— Дай-то бог! — заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.

В заключение этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.

В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собой отца, воспитал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степанчикове, происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедитель-



но, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романтическою своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка — прехорошенькая. Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на дорогу. Несмотря на то, я, в сомнениях и даже в тревоге, промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в село Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы: уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупое, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался: известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его

по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, — так как, по моему окончательному решению, любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, — осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и проч. и проч. Мало-помалу я так вдохновил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее надеть разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, — словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развевался необъятный простор полей с дозревающим хлебом... А я так долго сидел закупоренный в Петербурге, что, казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!

## II

### ГОСПОДИН БАХЧЕЕВ

Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б., от которого оставалось только десять верст до Степанчиково, я принужден был остановиться у кузницы, близ самой заставы, по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брызгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.

Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его взглядам. Мне, однако ж, очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь

из Степанчикова, от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попробовал со всевозможною приятностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного.

— Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. — закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге.

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длинно-полый сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между баринном и слугой немедленно произошло объяснение.

— Выпорешь! ори еще больше! — проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске.

— Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?.. грубиянить вздумал! — закричал толстяк, весь побагровев.

— Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова сказать нельзя!

— Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне и не взъедаться!

— Да за что я буду ворчать?

— За что ворчать... А то небось нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, — вот за что.

— А мне что! По мне хошь совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.

— Кузнецам... А на кузнецов чего ворчать?

— А не на них, так на экипаж ворчу.

— А на экипаж чего ворчать?

— А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.

— На экипаж... Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!

— Да что вы, сударь, в самом деле, пристали? Отстаньте, пожалуйста!

— А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, — а? Говоришь же в другие разы!

— Муха в рот лезла — оттого и молчал и сидел сычом. Что я вам сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите.

Толстяк раскрыл было рот, чтоб возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностию обратился к рабочим и начал им что-то показывать.

Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова, с незапамятных времен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу; наконец, стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших.

Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Grimасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и проч. и проч. на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой и, наконец, совсем прояснилась.

— Да это Васильев? — спросил он с участием. — Да как он туда попал?

— Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! — закричали со всех сторон.

— Загулял, сударь, — прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педантски строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими, — загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний струмент закладывать хочет!

— Эх, Архипушка! деньги — голуби: прилетят и опять улетят! Пусти, ради небесного Создателя, — молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову.

— Да сиди ты, идол, благо попал! — сурово отвечал Архип. — Глаза-то еще с третьёва дня успел переменить; с улицы сегодня на заре притащили: моли Бога — спрятали, Матвею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у нас проявились».

Смех раздался вторично.

— Да стамеска-то где?

— Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как есть, сударь, Степан Алексеич.

— Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь: инструмент закладываешь! — прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наименее приятное расположение духа.

— А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот так-то он всегда себя аттестует, мерзавец, — прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. — Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.

Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом.

— Народу-то, народу-то! — проговорил он, качая головой, — и всё, чай, тре...звые, — протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. — Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.

Снова всеобщий хохот.

— С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный!

— Ври, Емеля, — твоя неделя!

— По-нашему, хоть на час, да вскачь!

— Хе-хе-хе! Ишь краснобай! — вскричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха и снова взглянув на меня приветливо. — И не стыдно тебе, Васильев?

— С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя, — отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно, довольный, что представился случай еще раз помянуть про свое горе.

— С какого же горя, дурак?

— А с такого, что досель и не видывали: Фоме Фомичу нас записывают.

— Кого? когда? — закричал толстяк, весь встрепенувшись.

Я тоже ступил шаг вперед: дело совершенно неожиданно коснулось и до меня.

— Да всех капитоновских. Наш барин, полковник, — дай бог ему здравия — всю нашу Капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет; целые семьдесят душ ему выделяет. «На тебе, Фома! вот теперь у тебя, примерно, нет ничего; помещик ты небольшой; всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском

озере ходят — только и душ ревизских тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому родитель твой — продолжал Васильев с каким-то злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича, — потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто; тоже, как и ты, по господам проживал, при милости на кухне пробавлялся. А вот теперь, как запишу тебе Капитоновку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин, и людей своих собственных иметь будешь, и лежи себе на печи, на дворянской вакансии...»

Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел; кадык его затрясся, маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар.

— Этого недоставало! — проговорил он задыхаясь, — ракалья, Фома, приживальщик, в помещики! Тьфу! пропадите вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!

— Позвольте спросить вас, — сказал я, нерешительно выступая вперед, — сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче; кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Опискин. Вот видите ли, я желал бы... словом, я имею особенные причины интересоваться этим лицом и, с своей стороны, очень бы желал узнать, в какой степени можно верить словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Ростанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я ...

— А позвольте и вас спросить, — прервал толстый господин, — с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой ракальей анафемской — вот как называть его надо, а не лицом! Какое у него лицо, у паршивика! Один только срам, а не лицо!

Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь в неизвестности, но что Егор Ильич Ростанев мне приходится дядей, а сам я — Сергей Александрович такой-то.

— Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся! — вскричал толстяк, нелицемерно обрадовавшись. — Ведь я теперь сам от них, из Степанчиково; от обеда уехал, из-за пудина встал: с Фомой усидеть не мог! Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого... Вот встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеич Бахчев и вас вот эдаким от полу помню... Ну, кто бы сказал?... А позвольте вас...

И толстяк полез лобызать меня.

После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам: случай был превосходный.

— Но кто же этот Фома? — спросил я, — как это он завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора шелепами? Признаюсь...

— Его-то выгонят? Да вы сдурели аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома велел раз быть вместо четверга середе, так они там, все до единого, четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа!» Так две середы на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот настолечко не приврал! Просто, батюшка, штука капитана Кука выходит!

— Я слышал это, но, признаюсь...

— Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно человек! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспросите. Ведь все рассказать, так вы не поверите, а спросите: из каких я лесов к вам явился? Матушка Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама и к тому же генеральша, да, по-моему, из ума совсем выжила: не надышит на Фомку треклятого. Всему она и причиной: она-то и завела его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется — за генерала Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгнула! Про сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи, да клохчет как курица — надоела мне совсем — ну ее! Только разве и есть в ней, что дамский пол: так вот и уважай ее ни за что, ни про что, за то только, что она дамский пол! Тьфу! говорить неприлично: тетушкой она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малый ребенок — всего-то шестнадцатый год, да умней их всех, по-моему: не уважает Фому; даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего! Да и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шутах проживал! ведь он ему, для его генеральской потехи, различных зверей из себя представлял! И выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь полковник-то, дядюшка-то, отставного шута заместо отца родного почитает, в рамку вставил его, подлеца, в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику, — тьфу!

— Впрочем, бедность еще не порок... и... признаюсь вам... позвольте вас спросить, что он, красив, умен?

— Фома-то? писанный красавец! — отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. (Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на меня смотреть подо-

зрительно.) — Писанный красавец! Слышите, добрые люди: красавца нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж все хотите доподлинно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием, шельмец, обладал, — ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрепя сердце, для остроумия-то, а то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то! Тьфу! язык устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы меня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готово иль нет?

— Воронка еще перековать надо, — промолвил мрачно Григорий.

— Воронка. Я тебе такого задам Воронка!.. Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разинете да так и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом. Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете? Каюсь, открыто каюсь: был дураком! Ведь он и меня обморочил. Всезнай! всю подноготную знает, все науки произошел! Капель он мне давал: ведь я, батюшка, человек больной, сырой человек. Вы, может, не верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел. Вы только молчите да слушайте; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом весь околоток раззнакомился с ними из-за Фомки треклятого. Ведь всякому, кто ни приедет, оскорбления чинит. Чего уж мне: значительного чина не пощадит! Всякому наставления читает; в мораль какую-то бросило его, шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да что ж, что ученый! Так из-за того, что ученый, уж так непременно и надо заесть неученого?.. И уж как начнет ученым своим языком колотить, так уж та-та-та! та-та-та! то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, все будет болтать, пока ворона не клюет. Зазнался, надулся, как мышь на крупу! Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего! Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал! Хотите, не верьте. Это, дескать, ему полезно, хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый — больше ничего! А на что холопу знать по-французски, спрошу я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать? разврат — больше ничего! А по-моему, графин водки выпил — вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык! Небось и вы по-французски: «та-та-та! та-та-та! вышла кошка за кота!» — прибавил Бахчеев, смот-



ря на меня с презрительным негодованием. — Вы, батюшка, человек ученый — а? по ученой части пошли?

— Да... я отчасти интересуюсь...

— Чай, тоже все науки произошли?

— Так-с, то есть нет... Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я все сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке...

— А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-нибудь у себя, коли было где сесть! Нет, батюшка, тут, я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой дядюшка вам не поможет; попадете в аркан! Да я у них похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них похудел? Нет, вы, я вижу, не верите. Что ж, пожалуй, бог с вами, не верьте.

— Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я все еще не понимаю, — отвечал я, теряясь все более и более.

— То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы прыгуны, с вашей ученой-то частью. Вам только бы на одной ножке прыгать да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть; вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться — непотребный народ! Всё фармазоны; неверие распространяют; рюмку водки выпить боится, точно она укусит его — тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рассказывать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в самом деле тебе сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно... А только он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича...

— Да я б его, Видоплясова, — ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, — да я б его, Видоплясова, из-под розог не выпустил. Нарвись-ко он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб! задал бы столько, что в два-ста не складешь.

— Молчать! — крикнул барин, — держи язык за зубами; не с тобой говорят!

— Видоплясов, — сказал я, совершенно сбившись и уже не зная, что говорить, — Видоплясов... скажите, какая странная фамилия?

— А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, ученый! Я потерял терпение.

— Извините, — сказал я, — но за что ж вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело...

— Да вы, батюшка, чего обижаетесь? — отвечал толстяк, — нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите

на меня, что я такой крикса и вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Гришка-то мой, да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная погубила меня — откровенно скажу; а во всем этом Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что погубит! Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест эти дураки с починкой копаются. Хороший человек здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется! Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до единого! И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный какой-нибудь, — продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться, — ну тогда хоть по чину простительно; а то ведь и чинишка-то нет; это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где-то там пострадал, в сорок не в нашем году, так вот и кланяйся ему за то в ножки! черт не брат! Чуть что не по нем — вскочит, завизжит: «Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели; я убогий странник, я и черного хлебца поем». Чуть сядут, он тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем без меня сели за стол? значит, ни во что меня почитают». Словом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что и я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать; на-тка, брат, возьми закуси! Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу! С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в вотчину приехал в отставке полковником. Говорю ему: «Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме! Прольете слезу!» Нет, говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-то), он мне друг; он меня благонравию учит. Ну, думаю, против благонравия не пойдешь! Уж коли благонравию зачал учить — значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы думали, сегодня из-за чего опять поднял историю? Завтра Ильи-пророка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник. Я было думал и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал: немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает — превосходная вещь! (теперь уж не подарю, морген-фри! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит; назад везу). Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать, да Фомка претит: «Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь!» А? каков гусь? восьмилетнему мальчику в тезоименитстве позавидовал! «Так вот нет

же, говорит, и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фо-мин! «Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю я, терплю. Что ж бы вы думали? Ведь они теперь на цыпочках ходят да шепчутся: как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или нет? Не поздравить — обидеться может, а поздравь — пожалуй, и в насмешку примет. Тыфу ты, пропасть! Сели мы обедать... Да ты, батюшка, слушаешь иль нет?

— Помилуйте, слушаю; с особенным даже удовольствием слушаю; потому что через вас я теперь узнал... и... признаюсь...

— То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое удовольствие... Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие-то свое говоришь?

— Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом же вы так... оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова.

— То есть как это, батюшка, записать? — спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно.

— Впрочем, я, может быть, и не запишу... это я так.

— Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь?

— То есть как это обольстить? — спросил я с удивлением.

— Да так. Вот ты теперь меня обольстишь, я тебе все расскажу, как дурак, а ты возьмешь после да и опишешь меня где-нибудь в сочинении.

Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня.

— То-то, не из таких! кто тебя знает! может, и лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать.

— Позвольте спросить, — прервал я, отчасти желая переменить разговор, — скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться?

— Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж так тебя покачнуло; не это скверно, а другое скверно... — прибавил господин Бахчеев в задумчивости. Гм! — про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как мух у варенья; да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу: не люблю бабья! Только слава, что человек, а по правде, так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу: сами увидите; а только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись; а то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать: та тоже завизжит на все село да брыкаться начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух часов не про-

жить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду места потом не отыщет! Так вот он и куролесит теперь, вместе с маменькой и подсовывают ему таковскую... Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил! Я постарше тебя; перебивать старика не годится...

Я извинился.

— Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как человеку ученому, на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может! Вот и вздумал он ко мне придираться, благодетелью тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой толстый? Ну, пристал человек: зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут остроумие? Я с благоразумием ему отвечаю: «Это так уж Бог устроил, Фома Фомич: один толст, а другой тонок; а против всеблагото Провидения смертному восставать невозможно». Благо разумно ведь — как вы думаете? «Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь; надо служить, а ты все дома сидишь да на гармонии играешь». А я и взаправду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю: «А в какую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толстоту-то мою затыну? Надену мундир, затынусь, неравно чихну — все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да, оборони бог, за пашквиль сочтут — что тогда?» Ну, скажите же, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие пошли... то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал: «кошон»<sup>1</sup> говорит. Ну, кошон-то и я понимаю, что значит. «Ах ты, физик проклятый, думаю; полагаешь, я тебе теплоух дался?» Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе и бряк ему: «Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», — сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого пудина: пудин тогда обносили. «Ну вас и с пудином-то!..»

<sup>1</sup> свинья (фр. cochon).

— Извините меня, — сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева, — я, конечно, готов с вами во всем согласиться. Главное, я еще ничего положительного не знаю... Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи.

— Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? — недоверчиво спросил господин Бахчеев.

— Видите ли, — начал я, несколько путаясь, — оно, может быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю: может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича; может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую — кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству. Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскорбило, сразило?.. Понимаете: человек благородный... сознание... а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству и... и, может быть, если примирить его с человечеством... то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная... может быть, даже очень замечательная, и... и... и ведь есть же что-нибудь в этом человеке? Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются?

Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно. По молодости еще можно было простить. Но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух.

— Это Фомка-то такой особенный человек? — спросил он отрывисто.

— Послушайте: я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это так только, в виде догадки...

— А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спросить: обучались вы философии или нет?

— То есть в каком смысле? — спросил я с недоумением.

— Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо, безо всякого смысла отвечайте: обучались вы философии или нет?

— Признаюсь, я намерен изучать, но...

— Ну, так и есть! — вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. — Я, батюшка, еще прежде, чем вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались! Меня не надуешь! морген-фри! За три версты чутьем услышу философа! Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом! Особенного человека нашел! тьфу! прокисай все на свете! Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай! — закричал он кучеру, уж влезавшему на козла исправленного экипажа. — Домой!

Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как наконец он смягчил-

ся; но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория и Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву.

— Позвольте спросить вас, — сказал я, подойдя к коляске, — вы уж более не приедете к дядюшке?

— К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек! Недели не пройдет, а я опять туда поплечусь. А зачем? Вот подите: сам не знаю зачем, а поеду; опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое! За грехи мне Господь этого Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого! Трус я, батюшка, первой руки...

Мы, однакож, расстались по-дружески; он даже пригласил меня к себе обедать.

— Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку мисайловну сочинит, что только пальчики оближешь да в ножки поклонись ему, подлецу. Образованный человек! Я вот только давно не сек его, балуется он у меня... да вот теперь благо напомнили... Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите... Ну, прощайте, батюшка! Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он...

Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкою сильных коней, исчезла в облаках пыли. Поддали и мой тарантас; я сел в него, и мы тотчас же проехали городишко. «Конечно, этот господин привирает, — подумал я, — он слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но опять-таки все, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу... Гм! Женюсь я или нет?» В этот раз я крепко задумался.

### III

#### Дядя

Признаюсь, я даже немного струсил. Романические мечты мои показались мне вдруг чрезвычайно странными, даже как будто и глупыми, как только я въехал в Степанчиково. Это было часов около пяти пополудни. Дорога шла мимо барского сада. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в котором

мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и который много раз потом снился мне во сне, в дортуарах школ, хлопотавших о моем образовании. Я выскочил из повозки и пошел прямо через сад к барскому дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разузнать, выпросить и прежде всего наговориться с дядей. Так и случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на террасу, с которой стеклянную дверью прямо входили во внутренние комнаты. Эта терраса была окружена клумбами цветов и заставлена горшками дорогих растений. Здесь я встретил одного из туземцев, старого Гаврилу, бывшего когда-то моим дядюшкой, а теперь почетного камердинера дядюшки. Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием. Мы виделись с ним два года назад, в Петербурге, куда он приезжал вместе с дядей, а потому он тотчас же теперь узнал меня. С радостными слезами бросился он целовать мои руки, причем очки слетели с его носа на пол. Такая привязанность старика меня очень тронула. Но, взволнованный недавним разговором с господином Бахчевым, я прежде всего обратил внимание на подозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.

— Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-французски? — спросил я старика.

— Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, — печально отвечал Гаврила.

— Сам Фома учит?

— Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.

— Нечего сказать, умник! По разговорам учит?

— По китрадке, батюшка.

— Это что в руках у тебя? А! французские слова русскими буквами — ухитрился! Такому болвану, дураку набитому, в руки даётся — не стыдно ли, Гаврила? — вскричал я, в один миг забыв все великодушные мои предположения о Фоме Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева.

— Где же, батюшка, — отвечал старик, — где же он дурак, коли уж господами нашими так заправляет?

— Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила, — пробормотал я, приостановленный этим замечанием. — Веди же меня к дядюшке!

— Сокол ты мой! да я не могу на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу, горе мычу, да за клумбы сижаю, когда он проходить изволит.

— Да чего же ты боишься?

— Давеча уроку не знал; Фома Фомич на коленки ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей Александрыч, чтоб надо мной такие шутки шутить! Барин осерчать изволил, зачем Фому

Фомича не послушался. «Он, говорит, старый ты хрыч, о твоём же образовании заботится, произношению тебя хочет учить». Вот и хожу, твержу вокабул. Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать.

Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим французским языком была какая-нибудь история, подумал я, которую старик не может мне объяснить.

— Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный, высокого роста?

— Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький такой человек.

— Гм! Подожди, Гаврила; все это еще, может быть, уладится; даже непременно, обещаю тебе, уладится! Но... где же дядюшка?

— А за конюшнями мужичков принимает. С Капитоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что их Фоме Фомичу записывают. Отмолиться хотят.

— Да зачем же за конюшнями?

— Опасается, батюшка...

Действительно, я нашел дядю за конюшнями. Там, на площадке, он стоял перед группой крестьян, которые кланялись и о чем-то усердно просили. Дядя что-то с жаром им толковал. Я подошел и окликнул его. Он обернулся, и мы бросились друг другу в объятия.

Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его доходила до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки... Точно ему возвратили его родного сына, избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как будто я своим приездом избавил и его самого от какой-то смертельной опасности и привез с собою разрешение всех его недоразумений, счастье и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился бы быть счастливым один. После первых порывов восторга он вдруг так захлопотал, что наконец совершенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспросами, хотел немедленно вести меня к своему семейству. Мы было и пошли, но дядя воротился, пожелав представить меня сначала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на большой дороге и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом. Я с наслаждением смотрел на него. Отвечая на торопливые его расспросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а продолжать заниматься науками. Как только дело дошло до наук, дядя вдруг насупил брови и сделал необык-



новенно важное лицо. Узнав, что в последнее время я занимался минералогией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом, как будто он сам, один, без всякой посторонней помощи, открыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал.

— Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную знают! — говорил он мне однажды с сверкающими от восторга глазами. — Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут польза, тут ум, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит... Ну, да наконец, и торговля, промышленность — эти, так сказать, струи... то есть я хочу сказать, что как ни верти, а полезно... Ведь полезно — не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.

— Вот подожди, друг мой, подожди, — начал он, потирая руки и скороговоркою, — увидишь человека! Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки; останется в столетии. А ведь хорошо словечко: «Останется в столетии»? Это мне Фома объяснил... Подожди, я тебя познакомлю.

— Это вы про Фому Фомича, дядюшка?

— Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина. То есть и Фома тоже, и он... Но это я про Коровкина теперь говорил, — прибавил он, неизвестно отчего покраснев и как будто смешавшись, как только речь зашла про Фому.

— Какими же он науками занимается, дядюшка?

— Науками, братец, науками, вообще науками! Я вот только не могу сказать, какими именно, а только знаю, что науками. Как про железные дороги говорит! И знаешь, — прибавил дядя полупшепотом, многозначительно прищуривая правый глаз, — немного, эдак, вольных идей! Я заметил, особенно когда про семейное счастье заговорил... Вот жаль, что я сам мало понял (времени не было), а то бы рассказал тебе все как по нитке. И, вдобавок, благороднейших свойств человек! Я его пригласил к себе погостить. С часу на час ожидаю.

Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и выпуча глаза, как на чудо.

— Послушайте, дядюшка, — прервал я его, — я, кажется, помешал мужичкам. Они, верно, за надобностью. О чем они? Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень бы рад их послушать...

Дядя вдруг захлопотал и заторопился.

— Ах, да! я и забыл! да вот видишь... что с ними делать? Выдумали, — и желал бы я знать, кто первый у них это выдумал, — выдумали, что я отдаю их, всю Капитоновку, — ты помнишь Капитоновку? еще мы туда с покойной Катей все по вечерам гулять ездили, — всю Капитоновку, целых шестьдесят восемь душ, Фоме Фомичу! «Ну, не хотим идти от тебя, да и только!»

— Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему Капитоновки? — вскричал я почти в восторге.

— И не думал; в голове не было! А ты от кого слышал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. И отчего им Фома так не мил? Вот подожди, Сергей, я тебя познакомлю, — прибавил он, робко взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. — Это, брат, такой человек...

— Не хотим, oprичь тебя, никого не хотим! — завопили вдруг мужики целым хором. — Вы отцы, а мы ваши дети!

— Послушайте, дядюшка, — отвечал я, — Фому Фомича я еще не видал, но... видите ли... я кое-что слышал. Признаюсь вам, что я встретил сегодня господина Бахчеева. Впрочем, у меня на этот счет покамест своя идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами поговорим одни, без свидетелей. Я, признаюсь, за тем и приехал...

— Именно, именно, — подхватил дядя, — именно! мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь, эдак, приятельски, дружески, основательно! Ну, — продолжал он скороговоркой, обращаясь к мужикам, — теперь ступайте, друзья мои. И вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и иди во всякое время.

— Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! — закричали еще раз мужики.

— Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!

— А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних, слышь, совсем заучил.

— Так неужели он и вас по-французски учит? — вскричал я почти в испуге.

— Нет, батюшка, покамест еще миловал Бог! — отвечал один из мужиков, вероятно большой говорун, рыжий, с огромной плешью на затылке и с длинной, жиденькой клинообразной бородкой, которая так и ходила вся, когда он говорил, точно она была живая сама по себе. — Нет, сударь, покамест еще миловал Бог.

— Да чему ж он вас учит?

— А учит он, ваша милость, так, что по-нашему выходит золотой ящик купи да медный грош положи.

— То есть как это медный грош?

— Сережа! ты в заблуждении; это клевета! — вскричал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись. — Это они, дураки, не поняли, что он им говорил! Он только так... какой тут медный грош!.. А тебе нечего про все поминать, горло драть, — продолжал дядя, с укоризною обращаясь к мужику, — тебе же, дураку, добра пожелаю, а ты не понимаешь да и кричишь!

— Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?

— Это он для произношения, Сережа, единственно для произношения, — проговорил дядя каким-то просительным голосом. — Он сам это говорил, что для произношения... Притом же тут случилась одна особенная история — ты ее не знаешь, а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обвинять... Обвинять-то легко!

— Да вы-то чего! — закричал я, в запальчивости снова обращаясь к мужикам. — Вы бы ему так все прямо и высказали. Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич, а вот оно как! Ведь есть же у вас язык?

— Где та мышь, чтоб коту звонок привесила, батюшка? «Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста?» Да в поту живет, оттого и нечистая! Не каждый день переменять. С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь.

— А вот анамедни на гумно пришел, — заговорил другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых худеньких лаптишках, и, по-видимому, один из тех, которые вечно чем-нибудь недовольны и всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отравленное слово. До сих пор он хоронился за спинами других мужиков, слушал в мрачном безмолвии и все время не сгонял с лица какой-то двусмысленной, горько-лукавой усмешки. — На гумно пришел: «Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?» А кто его знает? Наука эта не нашенская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак, пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я все Божии планиды узнал».

— Ну, а сказал тебе, сколько до солнца верст? — вмешался дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмигивая, как бы говоря: «Вот посмотри-ка, что будет!»

— Да, сказал сколько-то много, — нехотя отвечал мужик, не ожидавший такого вопроса.

— Ну, а сколько сказал, сколько именно?

— Да вашей милости лучше известно, а мы люди темные.

— Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?

— Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-то много сказал. На трех возах не вывезешь.

— То-то, помни, братец! А ты думал небось с версту будет, рукой достать? Нет, брат, земля — это, видишь, как шар круглый, — понимаешь?.. — продолжал дядя, очертив руками в воздухе подобие шара.

Мужик горько улыбнулся.

— Да, как шар! Она так на воздухе и держится сама собой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте стоит; тебе только кажется, что оно ходит. Вот она штука какая! А открыл это все капитан Кук, мореход... А черт его знает, кто и открыл, — прибавил он полушепотом, обращаясь ко мне. — Сам-то я, брат, ничего не знаю... А ты знаешь, сколько до солнца-то?

— Знаю, дядюшка, — отвечал я, с удивлением смотря на всю эту сцену, — только вот что я думаю: конечно, необразованность есть то же неряшество; но, с другой стороны... учить крестьян астрономии...

— Именно, именно, именно неряшество! — подхватил дядя в восторге от моего выражения, которое показалось ему чрезвычайно удачным. — Благородная мысль! Именно неряшество! Я это всегда говорил... то есть я этого никогда не говорил, но я чувствовал. Слышите, — закричал он мужикам, — необразованность это то же неряшество, такая же грязь! Вот оттого вас Фома и хотел научить. Он вас добру хотел научить — это ничего. Это, брат, уж все равно, тоже служба, всякого чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо, хорошо, друзья мои! Ступайте с богом, а я рад, рад... будьте покойны, я вас не оставляю.

— Защити, отец родной!

— Вели свет видеть, батюшка!

И мужики повалились в ноги.

— Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не мне... Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите ласку... ну и там все... Знаешь, — сказал он, вдруг обращаясь ко мне, только что ушли мужики, и как-то сияя от радости, — любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь, — а? как ты думаешь? Для твоего приезда... Подарить или нет?

— Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благодетельный человек, как я погляжу.

— Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им давно хотел подарить, — прибавил он, как бы извиняясь. — А что тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя увидел, Сережа. Просто-запросто хотел, чтоб и он, мужик, узнал, сколько до солнца, да рот разинул. Весело, брат,

смотреть, когда он рот разинет... как-то эдак радуешься за него. Только знаешь, друг мой, не говори там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся. Я нарочно их за конюшными принял, чтоб не видно было. Оно, брат, как-то нельзя было там: шекотливое дело; да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше и сделал...

— Ну вот, дядюшка, я и приехал! — начал я, переменяя разговор и желая добраться поскорее до главного дела. — Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я...

— Друг мой, ни слова об этом! — перебил дядя, как будто в испуге и даже понизив голос, — после, после это все объяснится. Я, может быть, и виноват перед тобою и даже, может быть, очень виноват, но...

— Передо мной виноваты, дядюшка?

— После, после, мой друг, после! все это объяснится. Да какой же ты стал молодец! Милый ты мой! А как же я тебя ждал! Хотел излить, так сказать... ты ученый, ты один у меня... ты и Коровкин. Надобно заметить тебе, что на тебя здесь все сердятся. Смотри же, будь осторожнее, не оплошай!

— На меня? — спросил я, в удивлении смотря на дядю, не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем незнакомых. — На меня?

— На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич немножко... ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще будь осторожен, почтителен, не противоречь, а главное, почтителен...

— Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка?

— Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю. Действительно он, может быть, человек с недостатками, и даже теперь, в эту самую минуту... Ах, брат Сережа, как это все меня беспокоит! И как бы это все могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны и счастливы!.. Но, впрочем, кто ж без недостатков? Ведь не золотые ж и мы?

— Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он делает...

— Эх, брат! все это только дразги и больше ничего! вот, например, я тебе расскажу: теперь он сердится на меня, и за что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть, я и сам виноват. Лучше я тебе потом расскажу...

— Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет выработалась своя особая идея, — перебил я, торопясь высказать мою идею. Да мы и оба как-то торопились. — Во-первых, он был шутком: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал; и вот вышла натура озлобленная, болезненная, мстящая, так сказать, всему

человечеству... Но если примирить его с человеком, если возвратить его самому себе...

— Именно, именно! — вскричал дядя в восторге, — именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, неблагородно было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах, друг мой, ты меня понимаешь; ты мне отраду привез! Только бы там-то уладилось! Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется!

— Дядюшка, если так... — начал было я, смутясь от такого признания.

— Ни-ни-ни! ни за что в свете! — закричал он, схватив меня за руки. — Ты мой гость, и я так хочу!

Все это чрезвычайно меня удивляло.

— Дядюшка, скажите мне сейчас же, — начал я настойчиво, — для чего вы меня звали? чего от меня надеетесь и, главное, в чем передо мной виноваты?

— Друг мой, и не спрашивай! после, после! все это после объяснится! Я, может быть, и во многом виноват, но я хотел поступить как честный человек, и... и... и ты на ней женишься! Ты женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства! — прибавил он, весь покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. — Но довольно, ни слова больше! Все сам скоро узнаешь. От тебя же будет зависеть... Главное, чтоб ты теперь там понравился, произвел впечатление. Главное, не сконфузься.

— Но послушайте, дядюшка, кто ж у вас там? Я, признаюсь, так мало бывал в обществе, что...

— Что, немножко трусишь? — прервал дядя сулыбкою. — Э, ничего! все свои, ободрись! главное, ободрись, не бойся! Я все как-то боюсь за тебя. Кто там у нас, спрашиваешь? Да кто ж у нас... Во-первых, мамаша, — начал он торопливо. — Ты помнишь мамашу или не помнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка; без претензий — это можно сказать; старого покроя немножко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда такие фантазии, скажет эдак как-то; на меня теперь сердится, да я сам виноват... знаю, что виноват! Ну, наконец, она ведь что называется *grande dame*, генеральша... превосходнейший человек был ее муж: во-первых, генерал, человек образованнейший, состояния не оставил, но зато весь был изранен; словом — стяжал уважение! Потом девица Перепелицына. Ну эта... не знаю... в последнее время она как-то того... характер такой... А, впрочем, нельзя же всех и осуждать... Ну, да бог с ней... Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь.

Она, брат, сама подполковничья дочь. Наперсница маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья Ильинична. Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья немного, но зато сердце какое! — ты, главное, на сердце смотри — пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры строит, хочет присвататься. Ты, однако, молчи; чур: секрет! Ну, кто же еще из наших? про детей не говорю: сам увидишь. Илюшка завтра именинник... Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван Иванович Мизинчиков, тебе будет троюродный брат, кажется; да, именно троюродный! он недавно в отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще молодой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промотался, что уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у него ничего почти и не было; но все-таки промотался, наделал долгов... Теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем; сам приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный, почтительный. Слыхал ли от него здесь кто и слово? все молчит. Фома, в насмешку, прозвал его «молчаливый незнакомец» — ничего: не сердится. Фома доволен; говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем, Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддакивает. Гм! Забитый он такой... Ну, да бог с ним! сам увидишь. Есть городские гости: Павел Семенович Обноскин с матерью; молодой человек, но высочайшего ума человек; что-то зрелое, знаешь, незыблемое... Я вот только не умею выразиться; и, вдобавок, превосходной нравственности; строгая мораль! Ну, и наконец, гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй, еще будет нам дальняя родственница — ты ее не знаешь, — девица, немолодая — в этом можно признаться, но... с приятностями девица; богата, братец, так, что два Степанчикова купит; недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат Сережа, пожалуйста, остерегись: она такая болезненная... знаешь, что-то фантасмагорическое в характере. Ну, ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастья. Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай... все это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души — понимаешь?

Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился.

— Послушайте, дядюшка, — сказал я, — я вас так люблю... простите откровенный вопрос: женитесь вы на ком-нибудь здесь или нет?

— Да ты от кого слышал? — отвечал он, покраснев, как ребенок. — Вот видишь, друг мой, я тебе все расскажу: во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица и, главное, Фома Фомич, которого маменька обожает, — и за дело, за дело: он много для нее сделал, — все они хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне, из благоразумия, то есть для всего семейства. Конечно, мне же добра желают — я ведь это понимаю; но я ни за что не женюсь — я уж дал себе такое слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать: ни да, ни нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда так случается. Они и подумали, что я соглашаюсь, и непременно хотят, чтоб завтра, для семейного праздника, я объяснился... и потому завтра такие хлопоты, что я даже не знаю, что предпринять! К тому же Фома Фомич, неизвестно почему, на меня рассердился; маменька тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал тебя да Коровкина... хотел излить, так сказать...

— Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?

— Поможет, друг мой, поможет, — это, брат, уж такой человек; одно слово: человек науки! Я на него как на каменную гору надеюсь: побеждающий человек! Про семейное счастье как говорит! Я, признаюсь, и на тебя тоже надеялся; думал: ты их урезонишь. Сам рассуди: ну, положим, я виноват, действительно виноват — я понимаю все это; я не бесчувственный. Ну, да все же меня можно простить когда-нибудь! Тогда бы мы вот как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя Сашурка, хоть сейчас к венцу! Илюшка мой какой стал! завтра именинник. За Сашурку-то я боюсь — вот что!..

— Дядюшка! где мой чемодан? Я переоденусь и мигом явлюсь, а там...

— В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заранее велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб никто не видал. Именно, именно переоденься! Это хорошо, прекрасно, прекрасно! А я покамест там всех понемногу приготовлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит пить сейчас как проснется; оно, знаешь, и лучше... Ну, так я пойду, а ты уж поскорей за мной, не оставляй меня одного: неловко, брат, как-то мне одному-то... Да! постой! вот еще к тебе просьба: не кричи на меня там, как давеча здесь кричал, — а? разве уж потом, если захочешь, что заметить, так, наедине, здесь и заметишь; а до тех пор как-нибудь скрепись, подожди! Я, видишь ли, там уж и так накутил. Они сердятся...

— Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел, мне кажется, что вы...



— Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! — перебил он меня совсем неожиданно. — Что ж, брат, делать! Я уж и сам это знаю. Ну, так ты придешь? Как можно скорее приходи, пожалуйста!

Взойдя на верх, я поспешно открыл чемодан, помня приказание дяди сойти вниз как можно скорее. Одеваясь, я заметил, что еще почти ничего не узнал из того, что хотел узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это меня поразило. Одно только было для меня несколько ясно: дядя все еще настойчиво хотел, чтоб я женился; следовательно, все противоположные слухи, именно, что дядя влюблен в ту же особу сам, — неуместны. Помню, что я был в большой тревоге. Между прочим, мне пришло на мысль, что я приездом моим и молчанием перед дядей почти произнес обещание, дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно, — думал я, — нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки по рукам и ногам. А я еще не видал и невесты!» И опять-таки: с чего это вражда против меня целого семейства? Почему именно все они должны смотреть на мой приезд, как уверяет дядя, враждебно? И что за странную роль играет сам дядя здесь, в своем собственном доме? Отчего происходит его таинственность? отчего все эти испуги и муки? Признаюсь, что все это представилось мне вдруг чем-то совершенно бессмысленным; а романические и героические мечты мои совсем вылетели из головы при первом столкновении с действительностью. Только теперь, после разговора с дядей, мне вдруг представилась вся нескладность, вся эксцентричность его предложения, и я понял, что подобное предложение, и в таких обстоятельствах, способен был сделать один только дядя. Понял я также, что и я сам, прискакав сюда сломя голову, по первому его слову, в восторге от его предложения, очень походил на дурака. Я одевался поспешно, занятый тревожными моими сомнениями, так что и не заметил сначала прислуживавшего мне слугу.

— Аделаидина цвета извольте галстух надеть или этот, с мелкими клетками? — спросил вдруг слуга, обращаясь ко мне с какою-то необыкновенною, приторною учтивостью.

Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже достоин был любопытства. Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно бе-

лый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напояжены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Все это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву *р*, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, — словом, он весь был пропитан деликатностью, subtilностью и необыкновенным чувством собственного достоинства. Последнее обстоятельство, неизвестно почему, мне, сгоряча, не понравилось.

— Так этот галстух аделаидина цвета? — спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.

— Аделаидина-с, — отвечал он с невозмутимой деликатностью.

— А графенина цвета нет?

— Нет-с. Такого и быть не может-с.

— Это почему?

— Неприличное имя Аграфена-с.

— Как неприличное? почему?

— Известно-с: Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут называть всякую последнюю бабу-с.

— Да ты с ума сошел или нет?

— Никак нет-с, я при своем уме-с. Все — конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами; но разговором моим многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-с.

— Да тебя как зовут?

— Видоплясов.

— А! так это ты Видоплясов?

— Точно так-с.

— Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь.

«Однако здесь что-то похоже на бедлам», — подумал я про себя, сходя вниз.

#### IV ЗА ЧАЕМ

Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные предвещения дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом все общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно вылетел на середину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следовательно, и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не dokonчил, покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку.

— Здравствуйте, дядюшка, — проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но, совсем неожиданно, сказав только «здравствуйте».

— Здравствуй, здравствуй, братец, — отвечал страдавший за меня дядя, — ведь мы уж здоровались. Да не конфузья, пожалуйста, — прибавил он шепотом, — это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту ж пору!.. Ну, а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать: вот наш молодой человек; он немного сконфузился, но вы его верно полюбите. Племянник мой, Сергей Александрович, — добавил он, обращаясь ко всем вообще.

Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно все общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа.

Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, — которого я так желал видеть и который, я уже тогда же чувствовал это, был полномочным владыкою всего дома, — не было: он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого взгляда: как ни был я сам в ту минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть ли не так же, как я,

хотя он и употреблял все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимою непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился: все в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм его, несмотря на шик, был как-то потерт и скуден; в лице его было что-то как будто тоже потерятое. Белобрысые, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая борода, очевидно, предназначены были предъявлять человека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищурился, улыбался с какою-то выделанною язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный братец, Мизинчиков. Действительно, он был чрезвычайно молчалив. За чаем во все время он не сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; но я вовсе не заметил в нем никакой «забитости», которую видел в нем дядя; напротив, взгляд его светло-карих глаз выражал решимость и какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив; одет очень прилично — на дядин счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну, по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, — о которой будет особая речь впоследствии, — но не рядом, а несколько сзади, из почтительности; поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей покровительнице. Две-три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядом у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется, нарумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то почерневшие и обломанные кусочки; это, однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька. Смирная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала чай. Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Все здесь, казалось, было под каким-то запретом. Возле нее сидела прехорошенькая, черноглазая пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня пристально, с детским любопытством, — моя кузина Саша. Наконец,

и, может быть, всех более, выдавалась на вид одна престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере лет тридцати пяти. Лицо у ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же она беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое. Она всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детски-веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничьего внимания, точно наперед все в этом условились. Я догадался, что это была Татьяна Ивановна, та самая, в которой, по выражению дяди, было нечто фантазмагорическое, которую навязывали ему в невесты и за которой почти все в доме ухаживали за ее богатство. Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие; и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих «героинь» моего рассказа, я скажу после подробнее: биография ее примечательна. Минут пять после моего появления в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой кузен Илюша, завтрашний именинник, у которого теперь оба кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь. За ним вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пытливym, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Помню, что у меня невольно стукнуло сердце: я догадался, что это была та самая гувернантка... Помню тоже, что дядя при ее появлении вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Сашеньку, чтоб познакомить ее со мной, но та только встала и молча, с серьезною важностью, мне присела. Это, впрочем, мне понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту добрая тетушка, Прасковья Ильинична, не вытерпела, бросила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня; но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый го-

лос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что «видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку (генеральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы и не наливаете-с, а они ждут-с», и Прасковья Ильинична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим обязанностям.

Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом кружке и перед которой все ходили по струнке, была тощая и злая старуха, вся одетая в траур, — злая, впрочем, больше от старости и от потери последних (и прежде еще небогатых) умственных способностей; прежде же она была вздорная. Генеральство сделало ее еще глупее и надменнее. Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол все, что перед ней ни поставили. Другая манера была совершенно противоположная: красноречивая. Начиналось обыкновенно тем, что бабушка — она ведь была мне бабушка — погружалась в необыкновенное уныние, ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт. Разумеется, открывалось, что она все давно уж заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силою молчать в «этом доме». «Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то» и т. д. и т. д.; все это немедленно поддакивалось стаей приживалок, девицей Перепелицыной и, наконец, торжественно скреплялось Фомой Фомичом. В ту минуту, как я представлялся ей, она ужасно гневалась, и, кажется, по первому способу, молчаливому, самому страшному. Все смотрели на нее с боязнью. Одна только Татьяна Ивановна, которой спускалось решительно все, была в превосходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже с некоторым торжеством, подвел меня к бабушке; но та, сделав кислую гримасу, со злостью оттолкнула от себя свою чашку.

— Это тот вол-ти-жер? — проговорила она сквозь зубы и нараспев, обращаясь к Перепелицыной.

Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку. Не понимаю, отчего она назвала меня вольтижером? Но такие вопросы ей были еще нипочем. Перепелицына нагнулась и пошептала ей что-то на ухо; но старуха злобно махнула рукой. Я стоял с разинутым ртом и вопросительно смотрел на дядю. Все переглянулись, а Обноскин даже оскалил зубы, что ужасно мне не понравилось.

— Она, брат, иногда заговаривается, — шепнул мне дядя, тоже отчасти потерявшийся, — но это ничего, она это так; это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри.

— Да, сердце! сердце! — раздался внезапно звонкий голос Татьяны Ивановны, которая все время не сводила с меня своих глаз и отчего-то не могла спокойно усидеть на месте: вероятно, слово «сердце», сказанное шепотом, долетело до ее слуха.

Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось что-то высказать. Сконфузилась ли она, или что другое, только она вдруг замолчала, покраснела ужасно, быстро нагнулась к гувернантке, пошептала ей что-то на ухо и вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного. Я, конечно, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец мне подали чаю, и я несколько оправился. Не знаю почему, но мне вдруг показалась, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами.

— Вы правду сказали, дядюшка, — начал я, — предостерегая меня давеча, что можно сконфузиться. Я откровенно признаюсь — к чему скрывать? — продолжал я, обращаясь с заискивающей улыбкой к мадам Обноскиной, — что до сих пор совсем почти не знал дамского общества, и теперь, когда мне случилось так неудачно войти, мне показалось, что моя поза среди комнаты была очень смешна и отзывалась несколько тюфяком, — не правда ли? Вы читали «Тюфяка»? — заключил я, теряясь все более и более, краснея за свою заискивающую откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина, который, скаля зубы, все еще оглядывал меня с головы до ног.

— Именно, именно! — вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренно обрадовавшись, что разговор кое-как завязался и я поправляюсь. — Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться. Ну, сконфузился, да и концы в воду! А я, брат, для первого моего дебюта даже соврал — веришь или нет? Нет, ей-богу, Анфиса Петровна, это, я вам скажу, интересно послушать. Только что поступил в юнкера, приезжаю в Москву, отправляюсь к одной важной барыне с рекомендательным письмом — то есть надменнойшая женщина была, но, в сущности, право, предобрая, что б ни говорили. Вхожу — принимают. Гостиная полна народу, преимущественно тузы. Раскланялся, сел. Со второго слова она мне: «А есть ли, батюшка, деревеньки?» То есть ни курицы не было, — что отвечать? Сконфузился в прах. Все на меня смотрят (ну, что, юнкеришка!). Ну, почему бы

не сказать: нет ничего; и благородно бы вышло, потому что правду бы сказал. Не выдержал! «Есть, говорю, сто семнадцать душ». И к чему я тут эти семнадцать приплел? уж коли врать, так и врал бы круглым числом — не правда ли? Чрез минуту, по рекомендательному же моему письму, оказалось, что я гол как сокол и, вдобавок, соврал! Ну, что было делать? Удрал во все лопатки и с тех пор ни ногой. Ведь у меня тогда еще ничего не было. Это все, что теперь: триста душ от дядюшки Афанасья Матвенча да двести душ, с Капитоновкой, еще прежде, от бабушки Акулины Панфиловны, итого пятьсот с лишком. Это хорошо! Только я с тех пор закаялся врать и не вру.

— Ну, я бы на вашем месте не закаивался. Бог знает что может случиться, — заметил Обноскин, насмешливо улыбаясь.

— Ну, да, это правда, правда! Бог знает что может случиться, — простодушно поддакнул дядя.

Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на спинку кресла; его маменька улыbnулась; как-то особенно гадко захихикала и девица Перепелицына; захохотала и Татьяна Ивановна, не зная чему, и даже забила в ладоши, — словом, я видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни во что. Сашенька, злобно сверкая глазками, пристально смотрела на Обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась. Дядя удивился.

— А что? что случилось? — повторил он, с недоумением озирая всех нас.

Во все это время братец мой, Мизинчиков, сидел поодаль, молча, и даже не улыбнулся, когда все засмеялись. Он усердно пил чай, философически смотрел на всю публику и несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки, порывался засвистать, вероятно, по старой привычке, но вовремя останавливался. Обноскин, задиравший дядю и покушавшийся на меня, как будто не смел и взглянуть на Мизинчикова: я это заметил. Заметил я тоже, что молчаливый братец мой часто посматривал на меня, и даже с видимым любопытством, как будто желая в точности определить, что я за человек.

— Я уверена, — зашебетала вдруг мадам Обноскина, — я совершенно уверена, *monsieur Serge*<sup>1</sup>, — ведь так, кажется? — что вы, в вашем Петербурге, были небольшим обожателем дам. Я знаю, там много, очень много развелось теперь молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это все вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь на это смотреть, как на не-

---

<sup>1</sup> мсье Серж (фр.).



простительное вольнодумство. И признаюсь вам, меня это удивляет, удивляет, молодой человек, просто удивляет!..

— Совершенно не был в обществе, — отвечал я с необыкновенным одушевлением. — Но это... я, по крайней мере, думаю, ничего-с... Я жил, то есть я вообще нанимал квартиру... но это ничего, уверяю вас. Я буду знаком; а до сих пор я все сидел дома...

— Занимался науками, — заметил, приосанившись, дядя.

— Ах, дядюшка, вы все с своими науками!.. Вообразите, — продолжал я с необыкновенною развязностью, любезно осклабясь и обращаясь снова к Обноскиной, — мой дорогой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то чудодейственного, практического философа, господина Коровкина; и первое слово сегодня ко мне, после стольких лет разлуки, было, что он ждет этого феноменального чудодея с каким-то судорожным, можно сказать, нетерпением... из любви к науке, разумеется...

И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех в похвалу моему остроумию.

— Кто такой? про кого он? — резко проговорила генеральша, обращаясь к Перепелицыной.

— Гостей-с Егор Ильич приглашали-с, ученых-с; по большим дорогам ездят, их собирают-с, — с наслаждением пропищала девица.

Дядя совсем растерялся.

— Ах, да! я и забыл! — вскричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор, — жду Коровкина. Человек науки, человек останется в столетии...

Он осекся и замолчал. Генеральша махнула рукой и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее волнение.

— Это она всегда, как рассердится, возьмет да и бросит что-нибудь на пол, — шептал мне сконфуженный дядя. — Но это только — когда рассердится... Ты, брат, не смотри, не замечай, гляди в сторону... Зачем ты об Коровкине-то заговорил?..

Но я и без того смотрел в сторону: в эту минуту я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на меня был какой-то упрек; что-то даже презрительное; румянец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким желанием моим сделать дядю смешным, чтоб хоть немного снять смешного с себя, я не очень выиграл в расположении этой девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно!

— А я с вами все о Петербурге, — залилась опять Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой, утихло. — Я с таким, можно сказать, наслаждением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице... Мы были очень близко знакомы тогда с одним домом — помнишь, Польша? генерал Половицын... Ах, какое очаровательное, очаровательное существо было генеральша! Ну, знаете, этот аристократизм, beau monde!<sup>1</sup> Скажите: вы, вероятно, встречались... Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда: я надеялась от вас многое, многое узнать о петербургских друзьях наших...

— Мне очень жаль, что я не могу... извините... Я уже сказал, что очень редко был в обществе, и совершенно не знаю генерала Половицына; даже не слыхивал, — отвечал я с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние духа.

— Занимался минералогией! — с гордостью подхватил неисправимый дядя. — Это, брат, что камушки там разные рассматривает, минералогия-то?

— Да, дядюшка, камни...

— Гм... Много есть наук, и все полезных! А я ведь, брат, по правде, и не знал, что такое минералогия! Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом — еще так и сяк, а в науках глуп — откровенно каюсь!

— Откровенно каетесь? — подхватил, ухмыляясь, Обноскин.

— Папочка! — вскрикнула Саша, с укуризной смотря на отца.

— Что, душка? Ах, боже мой, я ведь все прерываю вас, Анфиса Петровна, — спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. — Извините, ради Христа!

— О, не беспокойтесь! — отвечала с кисленькою улыбочкой Анфиса Петровна. — Впрочем, я уже все сказала вашему племяннику и заключу разве тем, monsieur Serge, — так, кажется? — что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки, искусства... ваяние, например... ну, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою о-ба-я-тельную сторону, но они не заменят дам!.. Женщины, женщины, молодой человек, формируют вас, и потому без них невозможно, невозможно, молодой человек, невозможно!

— Невозможно, невозможно! — раздался снова несколько крикливый голос Татьяны Ивановны. — Послушайте, — начала она, как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев, — послушайте, я хочу вас спросить...

---

<sup>1</sup> высший свет... (фр.)

— Что прикажете-с? — отвечал я, внимательно в нее взгляды-  
ваясь.

— Я хотела вас спросить: надолго вы приехали или нет?

— Ей-богу, не знаю-с; как дела...

— Дела! Какие у него могут быть дела?.. О безумец!..

И Татьяна Ивановна, краснея донельзя и закрываясь веером, нагнулась к гувернантке и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши.

— Пойдите! пойдите! — вскричала она, отрываясь от своей  
конфидантки и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто бо-  
ясь, чтоб я не ушел, — послушайте, знаете ли, что я вам скажу?  
вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека, о-ча-ро-  
ва-тельного молодого человека!.. Сашенька, Настенька, помни-  
те? Он ужасно похож на того безумца — помнишь, Сашенька! еще  
мы катались и встретили... верхом и в белом жилете... еще он на-  
вел на меня свой лорнет, бесстыдник! Помните, я еще закрылась  
вуалью, но не утерпела, высунулась из коляски и закричала ему:  
«бесстыдник!», а потом бросила на дорогу мой букет... Помнишь,  
Настенька?

И полупомешанная на амурах девица вся в волнении закрыла  
лицо руками; потом вдруг вскочила с своего места, порхнула к окну,  
сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из  
комнаты. Только ее и видели! В этот раз произошло даже некото-  
рое замешательство, хотя генеральша, как и в первый раз, была  
совершенно спокойна. Анфиса Петровна, например, была не удив-  
лена, но как будто чем-то вдруг озабочена, и с тоской посмотрела  
на своего сына; барышни покраснели, а Поль Обноскин, с какою-  
то непонятною тогда для меня досадою, встал со стула и подошел  
к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое  
лицо вошло в комнату и привлекло на себя всеобщее внимание.

— А! вот и Евграф Ларионыч! легок на помине! — закричал  
дядя, нелицемерно обрадовавшись. — Что, брат, из города?

«Ну, чудачки! их как будто нарочно собирали сюда!» — подумал  
я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что происходило  
перед моими глазами, не подозревая и того, что и сам я, кажется,  
только увеличил коллекцию этих чудачков, являсь между ними.

## V

### ЕЖЕВИКИН

В комнату вошла, или лучше сказать, как-то протеснилась  
(хотя двери были очень широкие), фигурка, которая еще в дверях  
сгибалась, кланялась и скалила зубы, с чрезвычайным любопыт-

ством оглядывая всех присутствовавших. Это был маленький старичок, рябой, с быстрыми и вороватыми глазками, с плешью и с лысиной и с какой-то неопределенной, тонкой усмешкой на довольно толстых губах. Он был во фраке, очень изношенном и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица висела на ниточке; двух или трех совсем не было. Дырявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали с его жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетчатый платок, весь засморканный, которым он обтирал пот со лба и висков. Я заметил, что гувернантка немного покраснела и быстро взглянула на меня. Мне показалось даже, что в этом взгляде было что-то гордое и вызывающее.

— Прямо из города, благодетель! прямо оттуда, отец родной! все расскажу, только позвольте сначала честь заявить, — проговорил вошедший старичок и направился прямо к генеральше, но остановился на полдороге и снова обратился к дяде:

— Вы уж извольте знать мою главную черту, благодетель: подлец, настоящий подлец! Ведь я, как вхожу, так уж тотчас же главную особу в доме ищу, к ней первой и стопы направляю, чтоб таким образом, с первого шагу, милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель! Позвольте, матушка барыня, ваше превосходительство, платьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу, золотую, генеральскую замараю.

Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, довольно благосклонно.

— И вам, красавица наша, поклон, — продолжал он, обращаясь к девице Перепелицыной. — Что делать, сударыня-барыня: подлец! еще в тысяча восемьсот сорок первом году было решено, что подлец, когда из службы меня исключили, именно тогда, как Валентин Игнатьич Тихонцов в высокоблагородные попал: ассессора дали; его в ассессоры, а меня в подлецы. А уж я так откровенно создан, что во всем признаюсь. Что делать! пробовал честно жить, пробовал, теперь надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, — продолжал он, обходя стол и пробираясь к Сашеньке, — позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями. Имениннику наше почтение; лук и стрелу вам, батюшка, привез, сам целое утро делал; ребятишки мои помогали; вот ужо и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите, турке голову срубите. Татьяна Ивановна... ах, да их нет, благодетельницы! а то б и у них платьице поцеловал. Прасковья Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то только к вам не могу, а то б не только ручку, даже и ножку бы вашу поцеловал — вот как-с! Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую.

Еще сегодня за вас Бога молил, благодетельница, на коленках, со слезами, Бога молил и за сыночка вашего тоже, чтоб ниспослал ему всяких чинов и талантов: особенно талантов! Кстати уж и Ивану Ивановичу Мизинчикову наше всенижайшее. Пошли вам Господь все, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь, сударь, чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие такие-с... Здравствуй, Настя; вся моя мелюзга тебе кланяется; каждый день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину большой поклон. Из города, ваше высочорodie, прямехонько из города. А это, верно, племянничек ваш, что в ученом факультете воспитывался? Почтение наше всенижайшее, сударь; пожалуйте ручку.

Раздался смех. Понятно было, что старик играл роль какого-то добровольного шута. Приход его развеселил общество. Многие и не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел. Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал просто Настей, краснела и хмурилась. Я было отдернул руку: того только, кажется, и ждал старикашка.

— Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка, если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, покамест еще только пожать. Вы, благодетель, верно, меня за барского шута принимаете? — проговорил он, смотря на меня с насмешкою.

— Н... нет, помилуйте, я...

— То-то, батюшка! Коли я шут, так и другой кто-нибудь тут! А вы меня уважайте: я еще не такой подлец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут. Я — раб, моя жена — рабыня, к тому же, польсти, польсти! вот оно что: все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятишкам на молочишко. Сахару, сахару-то побольше во все подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорю; может, и вам понадобится. Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут.

— Хи-хи-хи! Ах, проказник этот старичок! вечно-то он рассмешит! — пропищала Анфиса Петровна.

— Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком-то лучше на свете проживешь! Знал бы, так с раннего молоду в дураки б записался, авось теперь был бы умный. А то как рано захотел быть умником, так вот и вышел теперь старый дурак.

— Скажите, пожалуйста, — ввязался Обноскин (которому, верно, не понравилось замечание про таланты), как-то особенно независимо развалясь в кресле и рассматривая старика в свое стеклышко, как какую-нибудь козявку, — скажите, пожалуйста... все я забываю вашу фамилию... как бишь вас?..

— Ах, батюшка! да фамилья-то моя, пожалуй что и Ежевикин, да что в том толку? Вот уж девятый год без места сижу — так и живу себе, по законам природы. А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холмских! Точно как по пословице: у богатого — телята, а у бедного — ребята...

— Ну, да... телята... это, впрочем, в сторону. Ну, послушайте, я давно хотел вас спросить: зачем вы, когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно.

— Зачем оглядываюсь? А все мне кажется, батюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как муху, оттого и оглядываюсь. Мономан я стал, батюшка.

Опять засмеялись. Гувернантка привсталала с места, хотела было идти и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-то больное, страдающее, несмотря на краску, заливавшую ее щеки.

— Это, брат, знаешь кто? — шепнул мне дядя, — ведь это *ее* отец!

Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилия Ежевикин совершенно вылетела у меня из головы. Я геройствовал, всю дорогу мечтал о своей предполагаемой суженой, строил для нее великодушные планы и совершенно позабыл ее фамилию или, лучше сказать, не обратил на это никакого внимания с самого начала.

— Как отец? — отвечал я тоже шепотом. — Да ведь, я думал, она сирота?

— Отец, братец, отец. И знаешь, пречестнейший, преблагороднейший человек, и даже не пьет, а только так из себя шута строит. Бедность, брат, страшная, восемь человек детей! Настенькиным жалованьем и живут. Из службы за язычок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой — ни за что не возьмет. Давал, много раз давал, — не берет! Озлобленный человек!

— Ну что, брат Евграф Ларионыч, что там у вас нового? — спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш разговор.

— А что нового, благодетель? Валентин Игнатьич вчера объяснение подавали-с по Тришина делу. У того в бунта́х недoves муки оказался. Это, барыня, тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, изволите помнить? Вот Валентин-то Игнатьич и пишет про Тришина: «Уж если, — говорит он, — часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, — а та с офицером прошлого года сбежала, — так где же, говорит, было ему уберечь казенные вещи?» Это он в бумаге своей так и поместил — ей-богу, не вру-с.

— Фи! Какие вы истории рассказываете! — закричала Анфиса Петровна.

— Именно, именно, именно! Зарапортовался ты, брат Евграф, — поддакнул дядя. — Эй, пропадешь за язык! Человек ты прямой, благородный, благоденный — могу заявить, да язык-то у тебя ядовитый! И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь! Люди они, кажется, добрые, простые...

— Отец и благодетель! да простого-то человека я и боюсь! — вскричал старик с каким-то особенным одушевлением.

Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежевикину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику мое сочувствие. А может быть, кто знает! может быть, мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны. Но из движения моего ровно ничего не вышло путного.

— Позвольте спросить вас, — сказал я, по обычаю моему покраснев и заторопившись, — слыхали вы про иезуитов?

— Нет, отец родной, не слыхал; так разве что-нибудь... да где нам! А что-с?

— Так... я было, кстати, хотел рассказать... Впрочем, напомните мне при случае. А теперь, будьте уверены, что я вас понимаю и... умею ценить...

И, совершенно смешавшись, я еще раз схватил его за руку.

— Непременно, батюшка, напомню, непременно напомню! Золотыми литерами запишу. Вот, позвольте, и узелок завяжу, для памяти.

И он действительно завязал узелок, отыскав сухой кончик на своем грязном, табачном платке.

— Евграф Ларионыч, берите чаю, — сказала Прасковья Ильинична.

— Тотчас, раскрасавица барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня! Это вам за чаек. Степана Алексеича Бахчеева встретил дорогой, сударыня. Такой развеселый, что на тебе! Я уж подумал, не жениться ли собираются? Польсти, польсти! — проговорил он полушепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь. — А что же благодетеля-то главного не видать, Фомы Фомича-с? разве не придут к чаю?

Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул на генеральшу.

— Уж я, право, не знаю, — отвечал он нерешительно, с каким-то странным смущением. — Звали его, да он... Не знаю, право, может быть, не в расположении духа. Я уже посылал Видоплясова и... разве, впрочем, мне самому сходить?

— Заходил я к ним сейчас, — таинственно проговорил Ежевикин.

— Может ли быть? — вскрикнул дядя в испуге. — Ну, что ж?

— Наперед всего заходил-с, почтение свидетельствовал. Сказали, что они в уединении чаю напьются, а потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой могут быть сыты, да-с.

Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом.

— Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионыч, ты б рассказал, — проговорил наконец дядя, смотря на старика с тоской и упреком.

— Говорил-с, говорил-с.

— Ну?

— Долго не изволили мне отвечать-с. За математической задачей какой-то сидели, определяли что-то; видно, головоломная задача была. Пифагоровы штаны при мне начертили — сам видел. Три раза повторял; уж на четвертый только подняли головку и как будто впервые меня увидали. «Не пойду, говорят, там теперь *ученый* приехал, так уж где нам быть подле такого светила». Так и изволили выразиться, что подле светила.

И старикашка искоса, с насмешкою, взглянул на меня.

— Ну, так я и ждал! — вскричал дядя, всплеснув руками, — так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что «*ученый*». Ну, что теперь делать?

— Признаюсь, дядюшка, — отвечал я, с достоинством пожимая плечами, — по-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать и внимания, и я, право, удивляюсь вашему смущению.

— Ох, братец, не знаешь ты ничего! — вскрикнул он, энергически махнув рукой.

— Да уж теперь нечего горевать-с, — ввязалась вдруг девица Перепелицына, — коли все причины злые от вас самих спервоначалу произошли-с, Егор Ильич-с. Снявши голову, по волосам не плачут-с. Послушали бы маменьку-с, так теперь бы и не плакали-с.

— Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь Бога! — проговорил дядя умоляющим голосом, как будто спрашиваясь на объяснение.

— Я Бога боюсь, Егор Ильич; а происходит все оттого, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с, — с достоинством отвечала девица Перепелицына. — Отчего вам было, спервоначалу, воли их не уважать-с? Они вам мать-с. А я вам неправды не стану говорить-с. Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в разговор единственно с тою целию, чтоб объявить всем нам, и особенно мне, новоприбывшему, что она сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

— Оттого, что он оскорбляет мать свою, — грозно проговорила наконец сама генеральша.



— Маменька, помилосердуйте! Где же я вас оскорбляю?

— Оттого, что ты мрачный эгоист, Егорушка, — продолжала генеральша, все более и более одушевляясь.

— Маменька, маменька! где же я мрачный эгоист? — вскричал дядя почти в отчаянии, — пять дней, целых пять дней вы сердитесь на меня и не хотите со мной говорить! А за что? за что? Пусть же судят меня, пусть целый свет меня судит! Пусть, наконец, услышат и мое оправдание. Я долго молчал, маменька; вы не хотели слушать меня: пусть же теперь люди меня услышат. Анфиса Петровна! Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! Сергей, друг мой! ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить...

— Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь, — вскрикнула Анфиса Петровна, — не убивайте маменьку!

— Я не убью маменьку, Анфиса Петровна; но вот грудь моя — разите! — продолжал дядя, разгоряченный до последней степени, что бывает иногда с людьми слабохарактерными, когда их выведут из последнего терпения, хотя вся горячка их походит на огонь от зажженной соломы, — я хочу сказать, Анфиса Петровна, что я никого не оскорблю. Я и начну с того, что Фома Фомич благороднейший, честнейший человек и, вдобавок, человек высших качеств, но... но он был несправедлив ко мне в этом случае.

— Гм! — промычал Обноскин, как будто желая подразнить еще более дядю.

— Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бесчувственный столб? Ведь я вижу, ведь я понимаю, со слезами сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразумения от излишней любви его ко мне происходят. Но, воля ваша, он, ей-богу, несправедлив в этом случае. Я все расскажу. Я хочу рассказать теперь эту историю, Анфиса Петровна, во всей ее ясности и подробности, чтоб видели, с чего дело вышло и справедливо ли на меня сердится маменька, что я не угодил Фоме Фомичу. Выслушай и ты меня, Сережа, — прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во все продолжение рассказа, как будто бы боясь других слушателей и сомневаясь в их сочувствии, — выслушай и ты меня и реши: прав я или нет. Вот видишь, вот с чего началась вся история: неделю назад — да, именно не больше недели, — проезжает через наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, с супругою и свояченицею. Останавливаются на время. Я поражен. Спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет. То есть благороднейший человек, я тебе скажу; блещит добродетелями и, вдобавок, вельмо-

жа! Свояченицу свою благодетельствовал; одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека (теперь стряпчим в Малинове; еще молодой человек, но с каким-то, можно сказать, универсальным образованием!) — словом, из генералов генерал! Ну, у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикасеи; музыку выпи-сываю. Я, разумеется, рад и смотрю именинником! Не понравилась Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником! Сидел за столом — помню еще, подавали его любимый киселек со сливками, — молчал-молчал да как вскочит: «Обижают меня, обижают!» — «Да чем же, говорю, тебя, Фома Фомич, обижают?» — «Вы теперь, говорит, мною пренебрегаете; вы генералами теперь занимаетесь; вам теперь генералы дороже меня!» Ну, разумеется, я теперь все это вкратце тебе передаю; так сказать, одну только сущность; но если бы ты знал, что он еще говорил... словом, потряс всю мою душу! Что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом; фраппировало меня это, можно сказать; хожу как мокрый петух. Наступает торжественный день. Генерал присылает сказать, что не может: извиняется — значит, не будет. Я к Фоме: «Ну, Фома, успокойся! Не будет!» Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только! «Обидели, говорит, меня, да и только!» Я и так и сяк. «Нет, говорит, ступайте к своим генералам; вам генералы дороже меня; вы узы дружества, говорит, разорвали». Друг ты мой! ведь я понимаю, за что он сердится. Я не столб, не баран, не тунеядец какой-нибудь! Ведь это он из излишней любви ко мне, так сказать, из ревности делает — он это сам говорит, — он ревнует меня к генералу, расположение мое боится потерять, испытывает меня, хочет узнать, чем я для него могу пожертвовать. «Нет, говорит, я сам для вас все равно, что генерал, я сам для вас ваше превосходительство! Тогда помирюсь с вами, когда вы мне свое уважение докажете». — «Чем же я тебе докажу мое уважение, Фома Фомич?» — «А называйте, говорит, меня целый день: ваше превосходительство; тогда и докажете уважение». Упадаю с облаков! Можешь представить себе мое удивление! «Да послужит это, говорит, вам уроком, чтоб вы не восхищались вперед генералами, когда и другие люди, может, еще почище ваших всех генералов!» Ну, тут уж я не вытерпел, каюсь! открыто каюсь! «Фома Фомич, говорю, разве это возможное дело? Ну, могли ли я решиться на это? Разве я могу, разве я вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну, как я скажу тебе: ваше превосходительство? Да ведь это, так сказать, посягнувие на величие судеб! Да ведь генерал служит украшением отечеству: генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил! Как же я тебе-то скажу: ваше превосходительство?» Не унимается, да и только!

«Что хочешь, говорю, Фома, все для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них мало патриотизма, — я сбрил, поморщился, а сбрил. Мало того, сделаю все, что тебе будет угодно, только откажись от генеральского сана!» — «Нет, говорит, не помирюсь до тех пор, пока не скажут: ваше превосходительство! Это, говорит, для нравственности вашей будет полезно: это смирит ваш дух!» — говорит. И вот теперь уж неделю, целую неделю говорить не хочет со мной; на всех, кто ни придет, сердится. Про тебя услышал, что ученый, — это я виноват: погорячился, разболтал! — так сказал, что нога его в доме не будет, если ты в дом войдешь. «Значит, говорит, уж я теперь для вас не ученый». Вот беда будет, как узнает теперь про Коровкина! Ну помилуй, ну посуди, ну чем же я тут виноват? Ну неужели ж решиться сказать ему «ваше превосходительство»? Ну можно ли жить в таком положении? Ну за что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал? Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии; да ведь и я не сочинил астрономии, да ведь и ты не сочинил астрономии... Ну за что, за что?

— А за то, что ты завистлив, Егорушка, — промямлила опять генеральша.

— Маменька! — вскричал дядя в совершенном отчаянии, — вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы чужие речи переговариваете, маменька! Я, наконец, столбом, тумбой, фонарем делаюсь, а не вашим сыном!

— Я слышал, дядюшка, — перебил я, изумленный до последней степени рассказом, — я слышал от Бахчеева — не знаю, впрочем, справедливо или нет, — что Фома Фомич позавидовал именинам Илюши и утверждает, что и сам он завтра именинник. Признаюсь, эта характеристическая черта так меня изумила, что я...

— Рожденье, братец, рожденье, не именины, а рожденье! — скороговоркою перебил меня дядя. — Он не так только выразился, а он прав: завтра его рожденье. Правда, брат, прежде всего...

— Совсем не рожденье! — крикнула Сашенька.

— Как не рожденье? — крикнул дядя, оторопев.

— Вовсе не рожденье, папочка! Это вы просто неправду говорите, чтоб самого себя обмануть да Фоме Фомичу угодить. А рожденье его в марте было, — еще, помните, мы перед этим на богомолье в монастырь ездили, а он сидеть никому не дал покойно в карете: все кричал, что ему бок *раздавила* подушка, да щипался; тетушку со злости два раза ущипнул! А потом, когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассердился, зачем не было камелий в нашем букете. «Я, говорит, люблю камелии, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжерее

нарвать». И целый день киснул да куксился, с нами говорить не хотел...

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание — и кого же? — девочки, которой даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии. Генеральша, немая от изумления и от бешенства, привстала, выпрямилась и смотрела на дерзкую внучку свою, не веря глазам. Дядя обмер от ужаса.

— Экую волю дают! уморить хотят бабыньку-с! — крикнула Перепелицына.

— Саша, Саша, опомнись! что с тобой, Саша? — кричал дядя, бросаясь то к той, то к другой, то к генеральше, то к Сашеньке, чтоб остановить ее.

— Не хочу молчать, папочка! — закричала Саша, вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками, — не хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича, из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы Фомича! Потому что Фома Фомич всех нас погубит, потому что ему то и дело толкуют, что он умница, великодушный, благородный, ученый, смесь всех добродетелей, попури какое-то, а Фома Фомич, как дурак, всему и поверил! Столько сладких блюд ему нанесли, что другому бы совестно стало, а Фома Фомич скушал все, что перед ним ни поставили, да и еще просит. Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему папочка! Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу, никого не боюсь! Он глуп, капризен, замарашка, неблагодарный, жестокосердый, тиран, сплетник, лгунишка... Ах, я бы непременно, непременно, сейчас же прогнала его со двора, а папочка его обожает, а папочка от него без ума!..

— Ах!.. — вскрикнула генеральша и покатила в изнеможении на диван.

— Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел мой! — кричала Анфиса Петровна, — возьмите мой флакон! Воды, скорее воды!

— Воды, воды! — кричал дядя, — маменька, маменька, успокойтесь! на коленях умоляю вас успокоиться!..

— На хлеб на воду вас посадить-с, да из темной комнаты не выпускать-с... человекоубийцы вы эдакие! — прошипела на Сашеньку дрожавшая от злости Перепелицына.

— И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! — кричала Сашенька, в свою очередь пришедшая в какое-то самозабвение. — Я папочку защищаю, потому что он сам себя защитить не умеет. Кто он такой, кто он, ваш Фома Фомич, перед папочкою? У папочки хлеб ест да папочку же унижает, неблагодарный! Да я б его разо-

рвала в куски, вашего Фому Фомича! На дуэль бы его вызвала да тут бы и убила из двух пистолетов...

— Саша! Саша! — кричал в отчаянии дядя. — Еще одно слово — и я погиб, безвозвратно погиб!

— Папочка! — вскричала Саша, вдруг стремительно бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обвив его своими ручками, — папочка! ну вам ли, доброму, прекрасному, веселому, умному, вам ли, вам ли так себя погубить? Вам ли подчиняться этому скверному, неблагодарному человеку, быть его игрушкой, на смех себя выставлять? Папочка, золотой мой папочка!..

Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Девушка Перепелицына увивалась около них и бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна смачивала виски генеральши водою и возилась с своим флаконом. Прасковья Ильинична трепетала и заливалась слезами; Ежевикин искал уголка, куда бы забиться, а гувернантка стояла бледная, совершенно потерявшись от страха. Один только Мизинчиков оставался совершенно по-прежнему. Он встал, подошел к окну и принялся пристально смотреть в него, решительно не обращая внимания на всю эту сцену.

Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпрямилась и обмерила меня грозным взглядом.

— Вон! — крикнула она, притопнув на меня ногою.

Я должен признаться, что этого совершенно не ожидал.

— Вон! вон из дому; вон! Зачем он приехал? чтоб и духу его не было! вон!

— Маменька! маменька, что вы! да ведь это Сережа, — бормотал дядя, дрожа всем телом от страха. — Ведь он, маменька, к нам в гости приехал.

— Какой Сережа? вздор! не хочу ничего слышать; вон! Это Коровкин. Я уверена, что это Коровкин. Меня предчувствие не обманывает. Он приехал Фому Фомича выживать; его и выписали для этого. Мое сердце предчувствует... Вон, негодяй!

— Дядюшка, если так, — сказал я, захлебываясь от благородного негодования, — если так, то я... извините меня... — И я схватился за шляпу.

— Сергей, Сергей, что ты делаешь?.. Ну, вот теперь этот... Маменька! ведь это Сережа!.. Сергей, помилуй! — кричал он, гоняясь за мной и силясь отнять у меня шляпу, — ты мой гость, ты останешься — я хочу! Ведь это она только так, — прибавил он шепотом, — ведь это она только когда рассердится... Ты только

теперь, первое время, спрячься куда-нибудь... побудь где-нибудь — и ничего, все пройдет. Она тебя простит — уверяю тебя! Она добрая, а только так, заговаривается... Слышишь, она принимает тебя за Коровкина, а потом простит, уверяю тебя... Ты чего? — закричал он дрожавшему от страха Гавриле, вошедшему в комнату.

Гаврила вошел не один; с ним был дворовый парень, мальчик лет шестнадцати, прехорошенький собой, взятый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его Фалалеем. Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту позументом, с золотым галунным поясом, в черных плисовых шароварах и в козловых сапожках, с красными отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральши. Мальчик прегорько рыдал, и слезы одна за другой катились из больших голубых глаз его.

— Это еще что? — вскричал дядя, — что случилось? Да говори же, разбойник!

— Фома Фомич велел быть сюда; сами вослед идут, — отвечал скорбный Гаврила, — мне на экзамент, а он...

— А он?

— Плясал-с, — отвечал Гаврила плачевным голосом.

— Плясал! — вскрикнул в ужасе дядя.

— Пля-сал! — проревел Фалалей всхлипывая.

— Комаринского?

— Ко-ма-ринского!

— А Фома Фомич застал?

— Зас-тал!

— Дорезали! — вскрикнул дядя, — пропала моя голова! — и обеими руками схватил себя за голову.

— Фома Фомич! — возвестил Видоплясов, входя в комнату.

Дверь отворилась, и Фома Фомич сам, своею собственною особою, предстал перед озадаченной публикой.

## VI

### ПРО БЕЛОГО БЫКА И ПРО КОМАРИНСКОГО МУЖИКА

Но прежде, чем я буду иметь честь лично представить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фалалее и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фалалей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, чтоб

Фома Фомич, переселяясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остался вверху, при господах: настояла в этом сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду — он все считал за обиду — и отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фалалей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им, как хорошенькой, редкой игрушкой; и еще неизвестно, кого она больше любила: свою ли маленькую, курчавенькую собачку Ами или Фалалея? Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было счесть дурачком. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда барыня падает в обморок или когда уж слишком забранят его барина. Он сочувствует всякому несчастью. Иногда подходит к генеральше, целует ее руки и просит, чтоб она не сердилась, — и генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добр и незлобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок. Со стола ему подают подачку.

Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его своими крепкими, белыми, как молоко, зубами, и неописанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике.

Долго гневался Фома Фомич; но, рассудив наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решил быть благодетелем Фалалею. Разбранив сперва дядю за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, он решил немедленно обучать бедного мальчика нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как! — говорил он, защищая свою нелепую мысль (мысль, приходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему свидетелем пишущий эти строки), — как! он всегда вверху при своей госпоже; вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, донне муа мон мушуар<sup>1</sup> — он должен и тут найтись и тут услужить!»

---

<sup>1</sup> подайте мне мой платок (фр.).

Но оказалось, что не только нельзя было Фалалея выучить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку! Фалалей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того: из этого даже вышла история. Дворовые стали дразнить Фалалея французом, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он, в наказание, заставил учиться по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господина Бахчеева. Насчет манер было еще хуже: Фома решительно не мог образовать по-своему Фалалея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны, что Фома Фомич, с своей стороны, находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за все это прежде всех доставалось дяде.

— Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал? — кричит, бывало, Фома, для большего эффекта выбрав время, когда все в сборе. — Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше систематическое баловство? Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом, и, знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда, поди сюда, нелепая душа, поди сюда, идиот, румяная ты рожа!..

Фалалей подходит плача, утирая обеими руками глаза.

— Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех! Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

— Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пирога, как Мартын мыла!» Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более в высшем? Сказал ты это или нет? говори!

— Ска-зал!.. — подтверждает Фалалей, всхлипывая.

— Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.

— Я тебя спрашиваю, — пристает Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек — кто-нибудь должен же быть. Ответчай!

— Дво-ро-вый че-ло-век, — отвечает наконец Фалалей, продолжая плакать.



— Чей? чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах.

Как нарочно случилось так, что на другой же день после истории с Мартыновым мылом Фалалей, принеся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и Мартына и все вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще не доставало! Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его за неприличие сна, виденного его Фалалеем. В этот раз были приняты строгие меры: Фалалей был наказан; он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые, мужицкие сны. «Я за что сержусь, — говорил Фома, — кроме того, что он по-настоящему не должен бы сметь и подумать лезть ко мне со своими снами, тем более с белым быком; кроме этого — согласитесь сами, полковник, — что такое белый бык, как не доказательство грубости, невежества, мужицтва вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли, таковы и сны. Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет и что не следовало оставлять его сверху, при господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную, простонародную душу во что-нибудь возвышенное, поэтическое. Разве ты не можешь, — продолжал он, обращаясь к Фалалею, — разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающих в прекрасном саду?» Фалалей обещал непременно увидеть в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду.

Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом Бога и долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть проклятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивы. Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка и не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть, и самим полковником, чтоб сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру захворала; весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью, ночь, непременно увидит что-нибудь

из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую Божию ночь, Фалалей постоянно видел белого быка, и одного только белого быка! О высшем обществе нечего было и думать.

Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог догадаться солгать: просто — сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и Фомой Фомичом; тем более что солгать, в таком крайнем случае, было даже не так и грешно. Но Фалалей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же мгновение и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым. Фалалей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и sprыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогало!

— Да пусто б его взяло, треклятого! — рассказывал Фалалей, — каждую ночь снится! каждый раз с вечера молюсь: «Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка!» А он тут как тут, проклятый, стоит передо мной, большой, с рогами, тупогубый такой, у-у-у!

Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка: у него случились другие дела, другие заботы; другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фалалею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем; даже белый бык начал появляться реже и реже, хотя все еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, все бы пошло хорошо, если б не было на свете комаринского.

Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал; это была его главная способность, даже нечто вроде призвания; он плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он комаринского мужика. Не то чтоб ему уж так очень нравились легкомысленные и во всяком случае необъяснимые поступки этого ветреного мужика — нет, ему нравилось плясать комаринского единственно потому, что слушать комаринского и не плясать под

эту музыку было для него решительно невозможно. Иногда, по вечерам, два-три лакея, кучера, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дворовых дам собирались в кружок, где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подалее от Фомы Фомича; начинались музыка, танцы и под конец торжественно вступал в свои права и комаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся фореитор Митюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с Фалалеем: он плясал до забвенья самого себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши; он плясал, как будто увлекаемый постороннею, непостижимою силою, с которой не мог совладать и упрямо силился догнать все более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения; и все бы это шло хорошо и весело, если б слух о комаринском не достиг наконец Фомы Фомича.

Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником.

— Я хотел от вас только об одном узнать, полковник, — начал Фома, — совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота или не совершенно? В первом случае я тотчас же отстранюсь; если же не совершенно, то я...

— Да что такое? что случилось? — вскричал испуганный дядя.

— Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет комаринского?

— Ну... ну что ж?

— Как ну что ж? — взвизгнул Фома. — И говорите это вы — вы, их барин и даже, в некотором смысле, отец! Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое комаринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только пол кабака! Да понимаете ли, что вы оскорбили меня, благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это иль нет?

— Но, Фома... Да ведь это только песня, Фома...

— Как только песня! И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню — вы, член благородного общества, отец благонаравных и невинных детей и, вдобавок, полковник! Только песня! Но я уверен, что эта песня взята с истинного события! Только песня! Но какой же порядочный человек может, не сгорев от сты-

да, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?

— Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал в простоте души сконфуженный дядя.

— Как! я знаю? я... я... то есть я!.. Обидели! — вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа.

Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и *ненаходчивость* своего ответа. Но с тех пор Фома Фомич дал себе клятву: поймать на месте преступления Фалалея, танцующего комаринского. По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст он в случае успеха всему дому и в особенности полковнику. Наконец неусыпные труды его увенчались успехом: он застал комаринского! Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего Фалалея и услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича, так неожиданно и в такую хлопотливую минуту представшего перед нами своею собственною особою.

## VII

### ФОМА ФОМИЧ

Я с напряженным любопытством рассматривал этого господина. Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким человечком. Фома был мал ростом, белобрысый и с проседью, с горбатым носом и с мелкими морщинками по всему лицу. На подбородке его была большая бородавка. Лет ему было под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педантской фигурке. К удивлению моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки шлафроке и, вдобавок, в туфлях. Воротничок его рубашки, не подвязанный галстухом, был отложен *à l'enfant*<sup>1</sup>; это придавало Фоме Фомичу чрезвычайно глупый вид. Он подошел к незанятому креслу, придвинул его к столу и сел, не сказав никому ни слова. Мгновенно исчезли вся суматоха, все волнение, бывшие за минуту назад. Все притихло так, что

<sup>1</sup> по фасону детских рубашек (*фр.*).

можно было расслышать пролетевшую муху. Генеральша присмирела, как агнец. Все подобострастие этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагледелась на свое нёщечко, впиалась в него глазами. Девица Перепелицына, осклабяясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно захлопотал.

— Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще. Ведь тебе послаще, Фома?

— Не до чаю мне теперь! — проговорил Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув рукой. — Вам бы все, что послаще!

Эти слова и смешной донельзя, по своей педантской важности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне любопытно было узнать, до чего, до какого забвения приличий дойдет наконец наглость этого зазнавшегося господинчика.

— Фома! — крикнул дядя, — рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

— Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, — проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания. — Вам о деле говорят, а вы — бог знает о чем... *трактуете*... Видели вы Фалалея?

— Видел, Фома...

— А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели. Можете полюбоваться на ваше произведение... в нравственном смысле. Поди сюда, идиот! поди сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся!

Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

— С намерением назвал я его голландской рожей, Павел Семеныч, — заметил он, развалясь в кресле и слегка поворотясь к сидевшему рядом Обноскину, — да и вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в каком случае. Правда должна быть правдой. А чем ни прикрывайте грязь, она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться, смягчать? себя и людей обманывать! Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий. Скажите — беру вас судьей, — находите вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное, возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?

Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым равнодушием.

— В нем прекрасное? — отвечал Обноскин с какою-то нахальною небрежностью. — Мне кажется, это просто порядочный кусок ростбифа — и ничего больше...

— Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него, — продолжал Фома, торжественно пропуская местоимение *я*. — Далеко не считаю себя красавцем, но поневоле пришел к заключению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь Фалалея. Это мысль, это жизнь, это ум в этом глазе! Не хвалюсь именно собой. Говорю вообще о нашем сословии. Теперь, как вы думаете: может ли быть хоть какой-нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок души в этом живом бифстексе? Нет, в самом деле, заметьте, Павел Семеныч, как у этих *людей*, совершенно лишенных мысли и идеала и едящих одну говядину, как у них всегда отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо свеж! Угодно вам узнать степень его мышления? Эй, ты, статуя! подойди же поближе, дай на себя полюбоваться! Что ты рот разинул? кита, что ли, проглотить хочешь? Ты прекрасен? Отвечай: ты прекрасен?

— Прек-ра-сен! — отвечал Фалалей с заглушенными рыданиями.

Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что начинаю дрожать от злости.

— Вы слышали? — продолжал Фома, с торжеством обращаясь к Обноскину. — То ли еще услышите! Я пришел ему сделать экзамен. Есть, видите ли, Павел Семеныч, люди, которым желательно развратить и погубить этого жалкого идиота. Может быть, я строго сужу, ошибаюсь; но я говорю из любви к человечеству. Он плясал сейчас самый неприличный из танцев. Никому здесь до этого нет и дела. Но вот сами послушайте. Отвечай: что ты делал сейчас? отвечай же, отвечай немедленно — слышишь?

— Пля-сал... — проговорил Фалалей, усиливая рыдания.

— Что же ты плясал? какой танец? говори же!

— Комаринского...

— Комаринского! А кто этот комаринский? Что такое комаринский? Разве я могу понять что-нибудь из этого ответа? Ну же, дай нам понятие: кто такой твой комаринский?

— Му-жик...

— Мужик! только мужик? Удивляюсь! Значит, замечательный мужик! значит, это какой-нибудь знаменитый мужик, если о нем уже сочиняются поэмы и танцы? Ну, отвечай же!

Тянуть жилы была потребность Фомы. Он заигрывал с своей жертвой, как кошка с мышкой; но Фалалей молчит, хнычет и не понимает вопроса.

— Отвечай же! — настаивает Фома, — тебя спрашивают: какой это мужик? говори же!.. господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический? Много есть мужиков...

— Э-ко-но-ми-ческий...

— А, экономический! Слышите, Павел Семеныч? новый исторический факт: комаринский мужик — экономический. Гм!.. Ну, что же сделал этот экономический мужик? за какие подвиги его так воспевают и... выплясывают?

Вопрос был щекотливый, а так как относился к Фалалею, то и опасный.

— Ну... вы... однако ж... — заметил было Обноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? капризы Фомы Фомича считались законами.

— Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого дурака, ведь он... Слышите, до чего он добирается? Фалалей что-нибудь соврет, уверяю вас... — шепнул я дяде, который потерялся и не знал, на что решиться.

— Ты бы, однако ж, Фома... — начал он, — вот я рекомендую тебе, Фома, мой племянник, молодой человек, занимался минералогией...

— Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего не знаете, а может быть, и *другие* тоже. Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо того чтобы трудиться для блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал по улице. В этом, как известно, и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Не беспокойтесь, он *теперь* знает, что ему отвечать. Ну, отвечай же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в рот положил. Я именно от самого тебя хочу слышать, что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу, что его уже воспевают трубадуры? Ну?

Несчастный Фалалей в тоске озирался кругом и в недоумении, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась, вытасченный из воды на песок.

— Стыдно ска-зать! — промычал он, наконец, в совершенном отчаянии.

— А! стыдно сказать! — подхватил Фома, торжествуя. — Вот этого-то я и добивался, полковник! Стыдно сказать, а не стыдно делать? Вот нравственность, которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь... поливаете. Но нечего терять слова! Ступай теперь на кухню, Фалалей. Теперь я тебе ничего не скажу из уважения к публике; но сегодня же, сегодня же ты будешь жесто-

ко и больно наказан. Если же нет, если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оставайся здесь и утешай своих господ комаринским, а я сегодня же выйду из этого дома! Довольно! Я сказал. Ступай!

— Ну уж вы, кажется, строго... — промямлил Обноскин.

— Именно, именно, именно! — крикнул было дядя, но оборвался и замолчал. Фома мрачно на него покосился.

— Удивляюсь я, Павел Семеныч, — продолжал он, — что ж делают после этого все эти современные литераторы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на то, какие песни поет русский народ и под какие песни пляшет русский народ? Что ж делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны? Удивляюсь! Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки! Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления и не бросят свои незабудочки? Это социальный вопрос! Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях — я и на это согласен, — но преисполненного добродетелями, которым — я это смело говорю — может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает: потому и говорю это. Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душевной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам богач, в умилении души, принесет ему наконец свое золото; пусть даже при этом случае произойдет соединение добродетели мужика с добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи. Селянин и вельможа, столь разъединенные на ступенях общества, соединяются, наконец, в добродетелях — это высокая мысль! А то что мы видим? С одной стороны, незабудочки, а с другой — выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем любоваться? где ум? где грация? где нравственность? Недоумеваю!

— Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие слова! — проговорил Ежевикин с восхищенным видом.

— А ведь черта лысого с меня и получит, — прошептал он мне потихоньку. — Польсти, польсти!

— Ну, да... это вы хорошо изобразили, — промямлил Обноскин.

— Именно, именно, именно! — вскрикнул дядя, слушавший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с торжеством.



— Тема-то какая завязалась! — шепнул он, потирая руки. — Многосторонний разговор, черт возьми! Фома Фомич, вот мой племянник, — прибавил он от избытка чувств. — Он тоже занимался литературой, — рекомендую.

Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего внимания на рекомендацию дяди.

— Ради бога, не рекомендуйте меня более! я вас серьезно прошу, — шепнул я дяде с решительным видом.

— Иван Иваныч! — начал вдруг Фома, обращаясь к Мизинчикову и пристально смотря на него, — вот мы теперь говорили: какого вы мнения?

— Я? вы меня спрашиваете? — с удивлением отозвался Мизинчиков, с таким видом, как будто его только что разбудили.

— Да, вы-с. Спрашиваю вас потому, что дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которые умны потому только, что их *беспрестанно рекомендуют* за умников, за ученых, а иной раз и нарочно выписывают, чтоб показать их в балагане или вроде того.

Камень был пущен прямо в мой огород. И, однако ж, не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня, чтоб ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага петербургского ученого, умника. Я, по крайней мере, не сомневался в этом.

— Если вы хотите знать мое мнение, то я... я с вашим мнением согласен, — отвечал Мизинчиков вяло и нехотя.

— Вы все со мной согласны! даже тошно становится, — заметил Фома. — Скажу вам откровенно, Павел Семеныч, — продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь к Обноскину, — если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрола Силина»: это высокий эпос! это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!

— Именно, именно, именно! высокая *эпоха*! Фрол Силин, благодетельный человек! Помню, читал; еще выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, — поддакнул дядя, сияя от удовольствия.

Бедный дядя! Он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в *ученый* разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал.

— Впрочем, и теперь пишут занимательно, — осторожно вмешалась Анфиса Петровна. — Вот, например, «Брюссельские тайны».

— Не скажу-с, — заметил Фома, как бы с сожалением. — Читал я недавно одну из поэм... Ну, что! «Незабудочки»! А если хотите, из новейших мне более всех нравится «Переписчик» — легкое перо!

— «Переписчик»! — вскрикнула Анфиса Петровна, — это тот, который пишет в журнал письма? Ах, как это восхитительно! какая игра слов!

— Именно, игра слов. Он, так сказать, играет пером. Необыкновенная легкость пера!

— Да; но он педант, — небрежно заметил Обноскин.

— Педант, педант — не спорю; но милый педант, но грациозный педант! Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики; но увлекаешься легкостью! Пустослов — согласен; но милый пустослов! Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья?

— Поместья? — подхватил дядя, — это хорошо! Которой губернии?

Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном:

— Ну, скажите ради здравого смысла: для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместья? Есть — так поздравляю вас с этим! Но как мило, как это шутливо описано! Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит! Это какой-то Нарзан остроумия! Да, вот как надо писать! Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах...

— Может, и лучше еще-с, — почтительно заметил Ежевикин.

— Даже что-то мелодическое в слоге! — поддакнул дядя.

Фома Фомич, наконец, не вытерпел.

— Полковник, — сказал он, — нельзя ли вас попросить — конечно, со всевозможною деликатностью — не мешать нам и позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете! Не расстроивайте же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но... оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас!

Это уже превышало верх всякой дерзости! Я не знал, что подумать.

— Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое, — с тоскою произнес сконфуженный дядя.

— Так-с. Но я говорил с знанием дела, я говорил кстати; а вы?

— Да-с, мы-то с умом говорили-с, — подхватил Ежевикин, увиваясь около Фомы Фомича. — Ума-то у нас так немножко-с,

занимать приходится, разве-разве что на два министерства хватит, а нет, так мы и с третьим управимся, — вот как у нас!

— Ну, значит, опять соврал! — заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкою.

— По крайней мере, сознаетесь, — заметил Фома.

— Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что ты, как друг, меня останавливаешь, как родной брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом! Это дельно, дельно! Это для моей же пользы! Благодарю и воспользуюсь!

Терпение мое истощалось. Все, что я до сих пор по слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же, когда я увидел все сам, на деле, изумлению моему не было пределов. Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной стороны, и такого добровольного рабства, такого легковерного добродушия — с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен такою дерзостью. Это было видно... Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему поазартнее, — а там что бы ни было! Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся: Фома решительно не хотел замечать меня.

— Правду, правду ты говоришь, Фома, — продолжал дядя, всеми силами стараясь понравиться и хоть чем-нибудь замять неприятность предыдущего разговора. — Это ты правду режешь, Фома, благодарю. Надо знать дело, а потом уж и рассуждать о нем. Каюсь! Я уже не раз бывал в таком положении. Представь себе, Сергей, я один раз даже экзаменовал... Вы смеетесь! Ну вот, подите! Ей-богу, экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаменаторами, так, для почету, лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх какой-то напал: решительно ни одной науки не знаю! Что делать! Вот-вот, думаю, самого к доске потянут! Ну, а потом — ничего, обошлось; даже сам вопросы задавал, спросил: кто был Ной? Вообще превосходно отвечали; потом завтракали и за процветание пили шампанское. Отличное заведение!

Фома Фомич и Обноскин покатались со смеху.

— Да я и сам потом смеялся, — крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. — Нет, Фома, уж куда ни шло! распотешу я вас всех, расскажу, как я один раз срезался... Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске...

— Позвольте вас спросить, полковник: долго вы будете рассказывать вашу историю? — перебил Фома.

— Ах, Фома! да ведь это чудеснейшая история; просто лопнуть со смеху можно. Ты только послушай: это хорошо, ей-богу, хорошо. Я расскажу, как я срезался.

— Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом роде, — проговорил Обноскин, зевая.

— Нечего делать, приходится слушать, — решил Фома.

— Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу рассказать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске ( начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой и торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публики). Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропаткина; потом еще с штаб-ротмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес и опустили... То есть бестия был этот Зверков, и попить и в картины заняться, и не то чтобы пьяница, а так, готов с товарищами разделить минуту. Но как запьет настоящим образом, так уж тут все забыл: где живет, в каком государстве, как самого зовут? — словом, решительно все; но в сущности превосходнейший малый... Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым ... Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, шесть мы уж не видались. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь, слышал недавно, — уже действительный статский; в статскую службу перешел, до больших чинов дослужился... Ну, разумеется, обрадовались. То да се. А рядом с нами в ложе сидят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не производил... После узнал: превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа... Ну-с, вот я, как дурак, и бряк Корноухову: «Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехала?» — «Которая это?» — «Да эта». — «Да это моя двоюродная сестра». Тьфу, черт! Судите о моем положении! Я, чтоб поправиться: «Да нет, говорю, не эта. Эх у тебя глаза! Вот та, которая оттуда сидит: кто эта?» — «Это моя сестра». Тьфу ты пропасть! А сестра его, как нарочно, розанчик-розанчиком, премилушка; так разодета: брошки, перчаточки, браслетики, — словом сказать, сидит херувимчиком; после вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина; она с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь все это как следует: и богато живут; отцы не нарадуются!.. Ну-с, вот. «Да нет! — кричу, а сам не знаю, куда провалиться, — не эта!» — «Вот в середине-то которая?» — «Да, в середине». — «Ну, брат, это жена моя»... Между нами: объединение, а не

дамочка! то есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия... «Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же: руби, не жалеи!» Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал, проказник. Что-то очень смеялись! И, признаюсь, никогда еще так весело не проводил время. Так вот как иногда, брат Фома, можно срезаться! Ха-ха-ха-ха!

Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое молчание было ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии, а за ним и все; только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме.

— Кончили ль вы? — спросил он наконец с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику.

— Кончил, Фома.

— И рады?

— То есть как это рад, Фома? — с тоскою отвечал бедный дядя.

— Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие?

— Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а ты...

— Развеселить? — вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась, — но вы способны навести уныние, а не развеселить. Развеселить! Но знаете ли, что ваша история была почти безнравственна? Я уже не говорю: неприлична, — это само собой... Вы объявили сейчас, с редкою грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, оттого только, что она не имела чести вам понравиться. И нас же, нас хотели заставить смеяться, то есть поддакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и все потому только, что вы хозяин этого дома! Воля ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов, партнеров, можете даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту, в ущерб прямоту и откровенному благородству души; но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим! В чем другом, а уж в этом я вас заверяю!..

— Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!

— Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь понимаю! Вас гложет самое неограниченное самолюбие; вы с претензиями на недостижимую остроту ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы...

— Да полно же, Фома, ради бога! Постыдись хоть людей!..

— Да ведь грустно же видеть все это, полковник, а видя, — невозможно молчать. Я беден, я *проживаю* у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я льщу вам моим молчанием; а я не хочу, чтоб какой-нибудь молокосос мог принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, входя сюда давеча, даже нарочно усилил мою правдивую откровенность, нарочно принужден был пойти даже до грубости, именно потому, что вы сами ставите меня в такое положение. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могут счесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие унижать меня перед *незнакомыми*, тогда как я вам равен, слышите ли? равен во всех отношениях. Может быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу у вас, а не вы мне. Меня унижают; следственно, я сам должен себя хвалить — это естественно! Я не могу не говорить, я должен говорить, должен немедленно протестовать, и потому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменально завистливы! Вы видите, например, что человек в простом, дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус: так вот уж вам и досадно, вам и нейдет: «Дай же и я свои познания и вкус выкажу!» А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смыслите столько — извините меня, полковник, — сколько смыслит, например, хоть бык в говядине! Это резко, грубо — сознаюсь, по крайней мере, прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник.

— Эх, Фома!

— То-то: «эх, Фома!» Видно, правда не пуховик. Ну, хорошо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и мне немного повеселить публику. Не все же вам одним отличаться. Павел Семенович! видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь в него: ведь он съест меня хочет, так-таки живьем, целиком!

Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как запекали его барина.

— Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семеныч. — Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! — Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. — Ну, француз, мусью шематон, — терпеть не может, когда говорят ему: мусью шематон, — знаешь урок?

— Вытвердил, — отвечал, повесив голову, Гаврила.

— А парле-ву-франсе?

— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе...<sup>1</sup>

Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиною, или предугадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись, но только все так и покатались со смеху, лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился экзамен, не выдержал, плюнул и с укоризною произнес: «Вот до какого сраму дожил на старости лет!»

Фома Фомич встрепенулся.

— Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?

— Нет, Фома Фомич, — с достоинством отвечал Гаврила, — не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ Божий на себе носит, образ Его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никитичем, — дай бог им царство небесное — Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья Матвеича, не в пример другим был почтен: камердином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой не видывал!

И с последним словом Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством.

— Ну, полно, полно, Гаврила! — вскричал он, — нечего распространяться; полно!

— Ничего, ничего, — проговорил Фома, слегка побледнев и улыбаясь с натуги. — Пусть поговорит; это ведь все ваши плоды...

— Все расскажу, — продолжал Гаврила с необыкновенным одушевлением, — ничего не потаю! Руки свяжут, язык не завяжут! Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобою выхожу человек, одно слово: раб, а и мне в обиду! Услугой и подобострастьем я перед тобой завсегда обязан, для того, что рабски рожден и всякую обязанность во страхе и трепете происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я докучного обязан к тебе не допускать, для того — это настоящая должность моя выходит. Прислужить, что понадобится, — с моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости лет по-заморски лаять да перед людьми сраму набираться!

<sup>1</sup> А говоришь ты по-французски? — Да, сударь, немного (*фр.*: Parlez-vous français? — Oui, monsieur, je le parle un peu).

Да я в людскую теперь не могу сойти: «Француз ты, говорят, француз!» Нет, сударь, Фома Фомич, не один я, дурак, а уж и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали, а что барин наш перед вами все одно, что малый ребенок; что вы хоть породой и енаральский сын и сами, может, немного до енарала не дослужили, но такой злющий, как то есть должен быть настоящий фурий.

Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападения Гаврилы; как будто он в эту минуту еще соображал: в какой степени должно ему рассердиться? Наконец воспоследовал взрыв.

— Как! он смел обругать меня, — меня! да это бунт! — завизжал Фома и вскочил со стула.

За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу.

— В кандалы его, в кандалы! — кричала генеральша. — Сейчас же его в город и в солдаты отдай, Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения. Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай!

— Как, — кричал Фома, — раб! халдей! хамлет! осмелился обругать меня! он, он, обтирка моего сапога! он осмелился назвать меня фурией!

Я выступил вперед с необыкновенною решимостью.

— Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы, — сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения.

Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим.

— Это еще что? — вскрикнул он наконец, накидываясь на меня в иступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Да ты кто такой?

— Фома Фомич... — заговорил было совершенно потерявшийся дядя, — это Сережа, мой племянник...

— Ученый! — завопил Фома, — так это он-то ученый? Либерте-эгалите-фратерните!<sup>1</sup> Журналь де деба!<sup>2</sup> Нет, брат, врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петербург, не надуешь! Да плевать мне на твой де деба! У тебя де деба, а по-нашему выходит: «Нет, брат, слаба!» Ученый! Да ты сколько знаешь, я всемеро столько забыл! вот какой ты ученый!

<sup>1</sup> Свобода-равенство-братство! (фр.: *liberté, égalité, fraternité*)

<sup>2</sup> «Газета прений» (фр.: «*Journal de Débats*»).



Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками.

— Да он пьян, — проговорил я, с недоумением озираясь кругом.

— Кто? Я? — прикрикнул Фома не своим голосом.

— Да, вы!

— Пьян?

— Пьян.

Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто его начали резать, и бросился вон из комнаты. Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой Фомичом. За ней побежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежевика. Он улыбался и потирал себе руки.

— Про иезуитика-то давеча обещались, — проговорил он вкрадчивым голосом.

— Что? — спросил я, не понимая, в чем дело.

— Про иезуитика давеча рассказать обещались... анекдотец-с...

Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кругом...

## VIII

### ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и крайне недовольный собой, обдумывая: что мне теперь делать? Солнце садилось. Вдруг, на повороте в одну темную аллею, я встретился лицом к лицу с Настенькой. В глазах ее были слезы, в руках платок, которым она утирала их.

— Я вас искала, — сказала она.

— А я вас, — отвечал я ей. — Скажите: я в сумасшедшем доме или нет?

— Вообще не в сумасшедшем доме, — проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня.

— Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь ушел дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил: может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите.

— Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.

— Да где они?

— А кто знает? Может быть, опять в огород побежали, — проговорила она раздражительно.

— В какой огород?

— Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород, достал в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились: не с ума ли сошел? «Вот, говорит, чтоб не попрекнули меня потом, что я даром хлеб ел, буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня довели!» А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях стоят, заступ у него отнимают; а он-то копает; всю репу только перекопал. Сделали раз поблажку — вот он, может быть, и теперь повторяет. От него станется.

— И вы... и вы рассказываете это так хладнокровно! — вскричал я в сильнейшем негодовании.

Она взглянула на меня сверкавшими глазами.

— Простите мне; я уж и не знаю, что говорю! Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?

— Н...нет, — отвечала она, покрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице.

— Вы извините меня, — продолжал я, — я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом... особенно с вами... Но все равно! По-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь... то есть я хотел сказать... вы знаете намерения дядюшки? Он приказал мне искать вашей руки...

— О, какой вздор! Не говорите этого, пожалуйста! — сказала она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув.

Я был озадачен.

— Как вздор? Но он ведь писал ко мне.

— Так он таки вам писал? — спросила она с живостью. — Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!

— Простите меня, — пробормотал я, не зная, что говорить, — может быть, я поступил неосторожно, грубо... но ведь такая минута! Сообразите: мы окружены бог знает чем...

— Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите: я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь... Ах, какая досада! так он таки вам писал! Вот этого-то я пуще всего боялась! Боже мой, какой это человек! А вы и поверили и прискакали сюда сломя голову? Вот надо было!

Она не скрывала своей досады. Положение мое было непривлекательно.

— Признаюсь, я не ожидал, — проговорил я в самом полном смущении, — такой оборот... я, напротив, думал...

— А, так вы думали? — произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. — А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал?

— Хорошо-с.

— Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь; и без того много горя! — сказала она просящим голосом, а между тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хорошеньких губках.

— Ох, пожалуйста, не принимайте меня за дурака! — вскричал я с горячностью. — Но, может быть, вы предубеждены против меня? может быть, вам кто-нибудь на меня насаждал? может быть, вы потому, что я там теперь срезался? Но это ничего — уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной! Я не знаю, что говорю... А все это оттого, что мне эти проклятые двадцать два года!

— О боже мой! Так что ж?

— Как так что ж? Да ведь кому двадцать два года, у того это на лбу написано, как у меня, например, когда я давеча на середину комнаты выскочил или как теперь перед вами... Распроклятый возраст!

— Ох, нет, нет! — отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. — Я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и, право, я искренно говорю это! Но... вы только очень самолюбивы. От этого еще можно исправиться.

— Мне кажется, я самолюбив сколько нужно.

— Ну, нет. А давеча, когда вы сконфузились — и отчего ж? оттого, что споткнулись при входе!.. Какое право вы имели выставлять на смех вашего доброго, вашего великодушного дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смешное, когда сами были смешны? Это было дурно, стыдно! Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне очень противны в ту минуту — вот вам!

— Это правда! Я был болван! Даже больше: я сделал подлость! Вы заметили ее — и я уже наказан! Браните меня, смейтесь надо мной, но послушайте: может быть, вы перемените наконец ваше мнение, — прибавил я, увлекаемый каким-то странным чувством, — вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда... может быть...

— Ради бога, оставим этот разговор! — вскричала Настенька с видимым нетерпением.

— Хорошо, хорошо, оставимте! Но... где я могу вас видеть?

— Как где видеть?

— Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами сказали последнее слово, Настасья Евграфовна! Ради бога, назначьте мне свиданье, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уж смеркается. Ну так,

если только можно, завтра утром, пораньше; я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пруда, есть беседка. Я ведь помню; я знаю дорогу. Я ведь здесь жил маленький.

— Свидание! Но зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим.

— Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна. Я сперва все узнаю от дядюшки. Ведь должен же он наконец мне все рассказать, и тогда я, может быть, скажу вам что-нибудь очень важное ...

— Нет, нет! не надо, не надо! — вскричала Настенька, — кончимте все разом теперь, так, чтоб потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно: уверяю вас, я не приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор — я серьезно прошу вас...

— Так, значит, дядя поступил со мною, как сумасшедший! — вскричал я в припадке нестерпимой досады. — Зачем же он вызывал меня после этого?.. Но слышите, что это за шум?

Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались визг и какие-то необыкновенные крики.

— Боже мой! — сказала она побледнев, — опять! Я так и предчувствовала!

— Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаюсь предложить вам этот последний вопрос для общего блага. Скажите — и это умрет во мне — скажите откровенно: дядя влюблен в вас или нет?

— Ах! выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз навсегда! — вскричала она, вспыхнув от гнева. — И вы тоже! Кабы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас, — прибавила она с горькою улыбкою. — И с чего, с чего это взяли? Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики?

— Но... это Фома Фомич...

— Да, конечно, Фома Фомич; но теперь из-за меня идет дело, потому что они то же говорят, что и вы, ту же бессмыслицу; тоже подозревают, что он влюблен в меня. А так как я бедная, ничтожная, а так как замарать меня ничего не стоит, а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтоб он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит; даже Фому Фомича разорвать готов. Вот они теперь и кричат об этом; уж я предчувствую, что об этом.

— Так это все правда! Так, значит, он непременно женится на этой Татьяне?

— На какой Татьяне?

— Ну, да на этой дуре.

— Вовсе не дура! Она добрая. Не имеете вы права так говорить! У нее благородное сердце, благороднее, чем у многих других. Она не виновата тем, что несчастная.

— Простите. Положим, вы в этом совершенно правы; но не ошибаетесь ли вы в главном? Как же, скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего отца? Ведь если б они до такой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него бы сердились и его бы худо принимали.

— А разве вы не видите, что делает для меня мой отец! Он шут перед ними вертится! Его принимают именно потому, что он успел подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутком, так ему и лестно, что и у него теперь есть шуты. Как вы думаете: для кого это отец делает? Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо; он для себя никому не поклонится. Он, может, и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек! Он думает, бог знает почему — и вовсе не потому, что я здесь жалованье хорошее получаю — уверяю вас; он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно. Он и приехал, чтоб взять меня, и, если крайность до того дойдет, так хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего дошло: они меня съесть хотят, и я знаю наверное, что они там теперь кричат обо мне. Они растерзают *его* из-за меня, они погубят *его*! А *он* мне все равно, что отец, — слышите, даже больше, чем мой родной отец! Я не хочу дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же, завтра же уеду! Кто знает: может, чрез это они отложат хоть на время и свадьбу его с Татьяной Ивановной... Вот я вам все теперь рассказала. Расскажите же это и ему, потому что я теперь и говорить-то с ним не могу: за нами следят, и особенно эта Перепелицына. Скажите, чтоб он не беспокоился обо мне, что я лучше хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиною его здешних мучений. Я бедная и должна жить как бедная. Но, боже мой, какой шум! какой крик! Что там делается? Нет, во что бы ни стало сейчас пойду туда! Я выскажу им всем все это прямо в глаза, сама, что бы ни случилось! Я должна это сделать. Прощайте!

Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая все смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть, и совершенно недоумевая, чем все это теперь разрешится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он все еще держал свою тетрадку в руке.

— Пожалуйте к дяденьке! — проговорил он унылым голосом. Я очнулся.

— К дяде? А где он? Что с ним теперь делается?

- В чайной. Там же, где чай изволили давеча кушать.  
— Кто с ним?  
— Одни. Дожидаются.  
— Кого? меня?  
— За Фомой Фомичом послали. Прошли наши красные деньки! — прибавил он, глубоко вздыхая.  
— За Фомой Фомичом? Гм! А где другие? где барыня?  
— На своей половине. В омрак упали, а теперь лежат в бесчувствии и плачут.

Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действительно был один, в той же комнате, где произошло мое побоище с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах горели свечи. Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух; руки его тряслись, и нервическая дрожь пробежала, временем, по всему его телу.

## IX

### ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

— Друг мой! все кончено, все решено! — проговорил он каким-то трагическим полусшепотом.

— Дядюшка, — сказал я, — я слышал какие-то крики.

— Крики, братец, крики; всякие были крики! Маменька в обмороке, и все это теперь вверх ногами. Но я решился и настою на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер, — и покажу! И вот нарочно послал за тобой, чтоб ты помог мне им показать... Сердце мое разбито, Сережа... но я должен, я обязан поступить со всею строгостью. Справедливость неумолима!

— Но что же такое случилось, дядюшка?

— Я расстаюсь с Фомой, — произнес дядя решительным голосом.

— Дядюшка! — закричал я в восторге, — ничего лучше вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то... располагайте мною во веки веков.

— Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь уж все решено. Жду Фому; я уже послал за ним. Или он, или я! Мы должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю все и поступаю опять в гусары! Примут; дадут дивизион. Прочь всю эту систему! Теперь все по-новому! На что это у тебя французская тетрадка? — с яростию закричал он, обращаясь к Гавриле. — Прочь ее! Сожги, растопчи, разорви! Я твой гос-

подин, и я приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не смеешь меня не слушаться, потому что я твой господин, а не Фома Фомич!..

— Слава те господи! — пробормотал про себя Гаврила. Дело, очевидно, шло не на шутку.

— Друг мой! — продолжал дядя с глубоким чувством, — они требуют от меня невозможного! Ты будешь судить меня; ты теперь станешь между ним и мною, как беспристрастный судья. Ты не знаешь, ты не знаешь, чего они от меня требовали, и, наконец, формально потребовали, все высказали! Но это противно человекулюбю, благородству, чести... Я все расскажу тебе, но сперва...

— Я уж все знаю, дядюшка! — вскричал я, перебивая его, — я угадываю... Я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфовной.

— Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом! — торопливо прервал он меня, как будто испугавшись. — Потом я все сам расскажу тебе, но покамест... Что ж? — закричал он вошедшему Видоплясову, — где же Фома Фомич?

Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич «не желают прийти и находят требование явиться до несовместности грубым-с, так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться-с».

— Веди его! тащи его! сюда его! силою притащи его! — закричал дядя, топая ногами.

Видоплясов, никогда не выдавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился.

«Надо же быть чему-нибудь слишком важному, — подумал я, — если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и до таких решений».

Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою.

— Ты, впрочем, не рви тетрадку, — сказал он наконец Гавриле. — Подожди и сам будь здесь: ты, может быть, еще понадобишься. — Друг мой! — прибавил он, обращаясь ко мне, — я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Сережа: не лучше ли будет, если б ты ушел отсюда? Тебе все равно. Я тебе потом все сам расскажу — а? как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста.

— Вы боитесь, дядюшка? вы раскаиваетесь? — сказал я, пристально смотря на него.

— Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь! — вскричал он с удвоенным одушевлением. — Я уж теперь ничего больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные! Ты не знаешь,

ты не можешь себе вообразить, чего они от меня потребовали! Неужели ж я должен был согласиться? Нет, я докажу! Я восстал и докажу! Когда-нибудь я должен же был доказать! Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал: Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, а все-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания, пожалуй, еще такое тяпну, сдуру-то, что и сам потом не рад буду. Все же он для меня много сделал... Уйди, мой друг... Но вот уже его ведут, ведут! Сережа, прошу тебя, выйди! Я тебе все потом расскажу. Выйди, ради Христа!

И дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но каюсь: я не ушел; я решил остаться на террасе, где было очень темно и, следовательно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решил подслушивать!

Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть: двери были стеклянные. Теперь я прошу вообразить Фому Фомича, которому *приказали* явиться, угрожая силою в случае отказа.

— Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? — возопил Фома, входя в комнату. — Так ли мне передано?

— Твои, твои, Фома, успокойся, — храбро отвечал дядя. — Сядь; поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же, Фома.

Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно, затрудняясь, с чего начать речь.

— Именно братски, — повторил он. — Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький; я тоже не маленький — словом, мы оба в летах... Гм! Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах... да, именно в некоторых пунктах, и потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому... Но что долго толковать! Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в том всеми святыми! Вот пятнадцать тысяч рублей серебром: это все, брат, что есть за душой, последние крохи наскреб, своих обобрал. Смело бери! Я должен, я обязан тебя обеспечить! Тут все почти ломбардными и очень немного наличными. Смело бери! Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за все, что ты для меня сделал. Да, да, именно, я это чувствую, хотя теперь, в главнейшем-



то пункте, мы расходимся. Завтра или послезавтра... или когда тебе угодно... разъедемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома, всего десять верст; там есть домик за церковью, в первом переулке, с зелеными ставнями, премиленький домик вдовы-попадьи; как будто для тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег. Поселись-ка там, подле нас. Занимайся литературой, науками: приобретешь славу... Чиновники там, все до одного, благородные, радушные, бескорыстные; протопоп ученый. К нам будешь приезжать гостить по праздникам — и мы заживем, как в раю! Желаете иль нет?

«Так вот на каких условиях изгоняли Фому! — подумал я, — дядя скрыл от меня о деньгах».

Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда.

— Деньги! — проговорил наконец Фома каким-то выделанно-слабым голосом, — где же они, где эти деньги? Давайте их, давайте сюда скорее!

— Вот они, Фома: последние крохи, ровно пятнадцать, все, что было. Тут и кредитными и ломбардными — сам увидишь... вот!

— Гаврила! возьми себе эти деньги, — кротко проговорил Фома, — они, старик, могут тебе пригодиться. — Но нет! — вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то необыкновенного визга и вскакивая с кресла, — нет! дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила! дай мне их! дай мне их! дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их!.. Мне, мне предлагают деньги! подкупают меня, чтоб я вышел из этого дома! Я ли это слышал? я ли дожил до этого последнего бесчестия? Вот, вот, они, ваши миллионы! Смотрите: вот, вот, вот и вот! Вот как поступает Фома Опискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник!

И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал и не оплевал ни одного билета, как похвалялся сделать; он только немного помял их, но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину.

Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь, он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома между тем поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волнения.

— Ты возвышенный человек, Фома! — вскричал наконец дядя, очнувшись, — ты благороднейший из людей!

— Это я знаю, — отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством.

— Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!

— Да, передо мной, — поддакнул Фома.

— Фома! не твоему благородству я удивляюсь, — продолжал дядя в восторге, — но тому, как я мог быть до такой степени груб, слеп и подл, чтобы предложить тебе деньги при таких условиях? Но, Фома, ты в одном ошибся: я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома, а просто-запросто я хотел, чтоб и у тебя были деньги, чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе! На коленях, на коленях готов просить у тебя прощения, Фома, и если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени... если только хочешь...

— Не надо мне ваших колен, полковник!..

— Но, боже мой! Фома, посуди: ведь я был разгорячен, фразирован, я был вне себя... Но назови же, скажи, чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изреки...

— Ничем, ничем, полковник! И будьте уверены, что завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома.

И Фома начал подыматься с кресла. Дядя, в ужасе, бросился его снова усаживать.

— Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя! — кричал дядя. — Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома! Ты не уйдешь, или я пойду за тобой на край света, и все буду идти за тобой до тех пор, покамест ты не простишь меня... Клянусь, Фома, я так сделаю!

— Вас простить? вы виноваты? — сказал Фома. — Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли, что вы стали виноваты передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме? Вы попрекнули меня сейчас этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного мною; вы мне доказали теперь, что я жил как раб в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов! А между тем я, в чистоте моего сердца, думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг и как брат! Не сами ль, не сами ль вы змеинными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал, как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами толкнули меня? Зачем не поразили вы меня разом, еще прежде, одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху, за то... ну, хоть, например, только за то, что он не несет яиц? Да, именно так! Я стою за это

сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собою тривиальный тон современной литературы; потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших; ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу неснесением яиц! Помилуйте, полковник! разве платят другу или брату деньгами — и за что же? главное, за что же? «На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе: ты даже спасал мне жизнь: на тебе несколько иудиных сребреников, но только убирайся от меня с глаз долой!» Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку! Давно-давно, полковник, я уже предвидел все это, — вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом! вот почему меня давили ваши перины, давили, а не лелеяли! вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для меня кайенским перцем, а не конфетами! Нет, полковник! живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбною дорогою, с мешком на спине. Так и будет, полковник!

— Нет, Фома, нет! так не будет, так не может быть! — простонал совершенно уничтоженный дядя.

— Да, полковник, да! именно так будет, потому что так должно быть. Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами — и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта самая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души! Я сказал и доказал! Прощайте, полковник. Прощайте, полковник!..

И Фома начал вновь подыматься с кресла.

— Прости, прости, Фома! забудь!.. — повторял дядя умоляющим голосом.

— «Прости»! Но к чему вам мое прощение? Ну, хорошо, положим, что я вас и прощу: я христианин; я не могу не простить; я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами: сообразно ли будет хоть сколько-нибудь с здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме? Ведь вы выгоняли меня!

— Сообразно, сообразно, Фома! уверяю тебя, что сообразно!

— Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благо-

родством, а вы раздавили сами себя своим унижительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете.

— Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя...

— И это тот самый человек, — продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, — тот самый человек, для которого я столько раз не спал по ночам! Сколько раз, бывало, в бессонные ночи мои я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе: «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя. Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него; авось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как думал Фома в свои бессонные ночи, полковник! и вот как заплатил ему этот полковник! Но довольно, довольно!

— Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу — клянись тебе!

— Заслужите? а где же гарантия? Как христианин, я прощу и даже буду любить вас; но как человек, и человек благородный, я поневоле буду вас презирать. Я должен, я обязан вас презирать; я обязан во имя нравственности, потому что — повторяю вам это — вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Ну, кто *из ваших* сделает подобный поступок? Кто из них откажется от такого несметного числа денег, от которых отказался, однако ж, нищий, презираемый всеми Фома, из любви к величию? Нет, полковник, чтоб сравниться со мной, вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне *вы*, как своему равне, а говорите *ты*, как слуге?

— Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе *ты!* — возопил дядя. — Я не знал, что тебе неприятно... Боже мой! но если б я только знал...

— Вы, — продолжал Фома, — вы, который не могли или, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне, как генералу, «ваше превосходительство»...

— Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посягновение, Фома.

— Высшее посягновение! Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай! Но знаете ли вы, что вы осрамили, обесчестили меня отказом сказать мне «ваше превосходительство», обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным желтого дома! Ну неужели

я не понимаю, что я бы сам был смешон, если б захотел именоваться превосходительством, я, который презираю все эти чины и земные величия, ничтожные сами по себе, если они не освящаются добродетелью? За миллион не возьму генеральского чина без добродетели! А между тем вы считали меня за безумного! Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что *вы*, вы могли считать меня за безумного, вы и ваши *ученые*! Единственно для того, чтоб просветить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула. Я именно хотел, чтоб вы не почитали впредь генералов самыми высшими светилами на всем земном шаре; хотел доказать вам, что чин — ничто без великодушия и что нечего радоваться приезду вашего генерала, когда, может быть, и возле вас стоят люди, озаренные добродетелью! Но вы так постоянно чванились передо мною своим чином полковника, что вам уже трудно было сказать мне «ваше превосходительство». Вот где причина! вот где искать ее, а не в посягновении каких-то судеб! Вся причина в том, что вы полковник, а я просто Фома...

— Нет, Фома, нет! уверяю тебя, что это не так. Ты ученый, ты не просто Фома... я почитаю...

— Почитаете! хорошо! Так скажите же мне, если почитаете, как, по вашему мнению: достоин я или нет генеральского сана? Отвечайте решительно и немедленно: достоин иль нет? Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие.

— За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души — достоин! — с гордостью проговорил дядя.

— А если достоин, так для чего же вы не скажете мне «ваше превосходительство»?

— Фома, я, пожалуй, скажу...

— А я требую! А я теперь требую, полковник, настаиваю и требую! Я вижу, как вам тяжело это, потому-то и требую. Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига, потому что — не забудьте это — вы должны сделать целый ряд подвигов, чтоб сравняться со мною; вы должны пересилить самого себя, и тогда только я уверю в вашу искренность...

— Завтра же скажу тебе, Фома, «ваше превосходительство»!

— Нет, не завтра, полковник, завтра само собой. Я требую, чтоб вы теперь, сейчас же, сказали же, сказали мне «ваше превосходительство».

— Изволь, Фома, я готов... Только как же это так, сейчас, Фома?..

— Почему же не сейчас? или вам стыдно? В таком случае мне обидно, если вам стыдно.

— Ну, да пожалуй, Фома, я готов... я даже горжусь... Только как же это, Фома, ни с того ни с сего: «здравствуйте, ваше превосходительство»? Ведь это нельзя...

— Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш тон!

— Да ты не шутишь, Фома?

— Во-первых, я не *ты*, Егор Ильич, а *вы* — не забудьте это; и не Фома, а Фома Фомич.

— Да ей-богу же, Фома Фомич, я рад! Я всеми силами рад... Только что ж я скажу!

— Вы затрудняетесь, что прибавить к слову «ваше превосходительство» — это понятно. Давно бы вы объяснились! Это даже извинительно, особенно если человек *не сочинитель*, если выразиться поучтивее. Ну, я вам помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной: «ваше превосходительство!..»

— Ну, «ваше превосходительство».

— Нет, не: «*ну*, ваше превосходительство», а просто: «ваше превосходительство»! Я вам говорю, полковник, перемените ваш тон! Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских обществах и все знаю... Ну-с: «ваше превосходительство».

— Ваше превосходительство...

— Как я несказанно обрадован, что имею наконец случай просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Смею уверить, что впредь не пощажу слабых сил моих на пользу общую... Ну, довольно с вас!

Бедный дядя! Он должен был повторить всю эту галиматью, фразу за фразой, слово за словом! Я стоял и краснел, как виноватый. Злость душила меня.

— Ну, не чувствуете ли вы теперь, — проговорил истязатель, — что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в душу к вам слетел ангел?.. Чувствуете ли вы присутствие этого ангела?.. отвечайте мне!

— Да, Фома, действительно, как-то легче сделалось, — отвечал дядя.

— Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее?

— Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло.

— Как будто по маслу? Гм... Я, впрочем, не про масло вам говорил... Ну, да все равно! Вот что значит, полковник, исполненный долг! Побеждайте же себя. Вы самолюбивы, необъятно самолюбивы!

— Самолюбив, Фома, вижу, — со вздохом отвечал дядя.

— Вы эгоист и даже мрачный эгоист...

— Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу; с тех пор, как тебя узнал, так и это узнал.

— Я сам говорю теперь, как отец, как нежная мать... вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет.

— Правда и это, Фома!

— Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание, что порядочный человек от вас за тридевять земель убежать готов!

Дядя еще раз глубоко вздохнул.

— Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к другим, забудьте себя для других, тогда вспомнят и о вас. Живи и жить давай другим — вот мое правило! Терпи, трудись, молись и надейся — вот истины, которые бы я желал внушить разом всему человечеству! Подражайте же им, и тогда я первый раскрою вам мое сердце, буду плакать на груди вашей... если понадобится... А то я да я, да милость моя! Да ведь надоест же наконец, ваша милость, с позволения сказать.

— Сладкогласный человек! — проговорил в благоговении Гаврила.

— Это правда, Фома; я все это чувствую, — поддакнул растроганный дядя. — Но не всем же и я виноват, Фома: так уж меня воспитали; с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать. Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион, просто плакали, говорили, что такого, как я, не нажить!.. Я и подумал тогда, что и я, может быть, еще не совсем человек погибший.

— Опять эгоистическая черта! опять я ловлю вас на самолюбии! Вы хвалитесь и мимоходом попрекнули меня слезами гусар. Что ж я не хваюсь ничьими слезами? А было бы чем; а было бы, может быть, чем.

— Это так с языка сорвалось, Фома, не утерпел, вспомнил старое хорошее время.

— Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю, разве одним дуракам, верхоплясам, *ученым*, кото-

рых не щажу и не хочу щадить. Не люблю дураков! И что такое эти ученые? «Человек науки!» — да наука-то выходит у него надувательная штука, а не наука. Ну что он давеча говорил? Давайте его сюда! давайте сюда всех ученых! Все могу опровергнуть; все положения их могу опровергнуть! Я уж не говорю о благородстве души...

— Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается?

— Давеча, например, я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание современных литератур; я показал и блестящим образом развернул, как из какого-нибудь комаринского может вдруг составиться высокая тема для разговора у человека талантливого. Что ж? Оценил ли кто-нибудь из них меня по достоинству? Нет, отворотились! Я ведь уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданта перед ними сидел, и только тем виноват, что беден и находится в неизвестности... Нет, это им не пройдет!.. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?

— Это, Фома, человек умный, человек науки... Я его жду. Это, верно, уж будет хороший, Фома!

— Гм! сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник, сердца в них нет! А что и ученость без добродетели?

— Нет, Фома, нет! Как о семейном счастье говорил! так сердце и вникает само собою, Фома!

— Гм! Посмотрим; проэкзаменуем и Коровкина. Но довольно, — заключил Фома, подымаясь с кресла. — Я не могу еще вас совершенно простить, полковник: обида была кровавая; но я помолюсь, и, может быть, Бог ниспошлет мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом, а теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб...

— Ах, Фома! — захолопотал дядя, — ведь ты в самом деле устал! Знаешь что? не хочешь ли подкрепиться, закусить чего-нибудь? Я сейчас прикажу.

— Закусить! Ха-ха-ха! Закусить! — отвечал Фома с презрительным хохотом. — Сперва напоят тебя ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить? Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибочками или мочеными яблочками! Какой вы жалкий материалист, полковник!

— Эх, Фома, я ведь, ей-богу, от чистого сердца...

— Ну, хорошо. Довольно об этом. Я ухожу, а вы немедленно идите к вашей родительнице: падите на колени, рыдайте, плачьте, но вымолите у нее прощение, — это ваш долг, ваша обязанность!



— Ах, Фома, я все время об этом только и думал; даже теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях. Но подумай, Фома, чего от меня и требуют? Ведь это несправедливо, ведь это жестоко, Фома! Будь великодушен вполне, осчастливь меня совершенно, подумай, реши — и тогда... тогда... клянусь!..

— Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело, — отвечал Фома. — Вы знаете, что я во все это нимало не вмешиваюсь, то есть вы, положим, и убеждены, что я всему причиною, но, уверяю вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы, а она, разумеется, вам желает добра... Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце во гнев вашем! а я... а я буду всю ночь за вас молиться. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич! Прощайте! Прощаю и тебя, старик, — прибавил он, обращаясь к Гавриле. — Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости же и ты мне, если я обидел тебя... Прощайте, прощайте, прощайте все, и благослови вас Господь!..

Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату.

— Ты подслушивал? — вскричал дядя.

— Да, дядюшка, я подслушивал! И вы, и вы могли сказать ему «ваше превосходительство»!..

— Что ж делать, братец? Я даже горжусь... Это ничего для высокого подвига; но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек! Сергей — ты ведь слышал... И как мог я тут соваться с этими деньгами, то есть просто не понимаю! Друг мой! я был увлечен; я был в ярости; я не понимал его; я его подозревал, обвинял... но нет! он не мог быть моим противником — это я теперь вижу... А помнишь, какое у него было благородное выражение в лице, когда он отказался от денег?

— Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно, а я еду: терпения нет больше! Последний раз говорю, скажите: чего вы от меня требуете? зачем вызвали и чего ожидаете? И если все кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ! Сегодня же еду!

— Друг мой... — засуетился по обыкновению своему дядя, — подожди только две минуты: я, брат, иду теперь к маменьке... там надо кончить... важное, великое, громадное дело!.. А ты покамест уйди к себе. Вот Гаврила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний флигель? это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымолю прощение, решусь на одно дело — я теперь уж знаю, как сделать, — и тогда мигом к тебе, и тогда все, все, все до последней черты расскажу, всю душу вы-

ложу пред тобою. И... и... и настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни! Две минуты, только две минутки, Сергей!

Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать, пришлось опять отправляться с Гаврилой.

## Х

### МИЗИНЧИКОВ

Флигель, в который привел меня Гаврила, назывался «новым флигелем» только по старой памяти, но выстроен был уже давно, прежними помещиками. Это был хорошенький, деревянный домик, стоявший в нескольких шагах от старого дома, в самом саду. С трех сторон его обступали высокие старые липы, касавшиеся своими ветвями кровли. Все четыре комнаты этого домика были недурно меблированы и предназначались к приезду гостей. Войдя в отведенную мне комнату, в которую уже перенесли мой чемодан, я увидел на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Все вместе составляло премиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещенным благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, — все труды мои остались тщетными: это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что Видоплясов находится в каком-то бедственном положении, просит моего содействия, в чем-то очень на меня надеется, «по причине моего просвещения» и, в заключение, просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него «моею машиною», как буквально изображено было в конце этого послания. Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел Мизинчиков.

— Надеюсь, что вы позволите с вами познакомиться, — сказал он развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку. — Давеча я не мог вам сказать двух слов, а между тем с первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче.

Я тотчас же отвечал, что и сам рад и прочее, хотя и находился в самом отвратительном расположении духа. Мы сели.

— Что это у вас? — сказал он, взглянув на лист, который я держал еще в руке. — Уж не вопли ли Видоплясова? Так и есть! Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал такой же точно лист, с теми же воплями; а вас он уже давно ожидает

и, вероятно, заранее приготавлился. Вы не удивляйтесь: здесь много странного, и, право, есть над чем посмеяться.

— Только посмеяться?

— Ну да, неужели же плакать? Если хотите, я вам расскажу биографию Видоплясова, и уверен, что вы посмеетесь.

— Признаюсь, теперь мне не до Видоплясова, — отвечал я с досадою.

Мне очевидно было, что и знакомство господина Мизинчикова и любезный его разговор — все это предпринято им с какою-то целью и что господин Мизинчиков просто во мне нуждается. Давеча он сидел нахмуренный и серьезный; теперь же был веселый, улыбающийся и готовый рассказывать длинные истории. Видно было с первого взгляда, что этот человек отлично владел собой и, кажется, знал людей.

— Проклятый Фома! — сказал я, со злостью стукнув кулаком по столу. — Я уверен, что он источник всякого здешнего зла и во всем замешан! Проклятая тварь!

— Вы, кажется, уж слишком на него рассердились, — заметил Мизинчиков.

— Слишком рассердился! — вскрикнул я, мгновенно разгорячившись. — Конечно, я давеча слишком увлекся и, таким образом, дал право всякому осуждать меня. Я очень хорошо понимаю, что я выскочил и срезался на всех пунктах, и, я думаю, нечего было это мне объяснять!.. Понимаю тоже, что так не делается в порядочном обществе; но, сообразите, была ли какая возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший дом, если хотите знать! и... и... наконец... я просто уеду отсюда — вот что!

— Вы курите? — спокойно спросил Мизинчиков.

— Да.

— Так, вероятно, позвольте и мне закурить. Там не позволяют, и я почти стосковался. Я согласен, — продолжал он, закурив папироску, — что все это похоже на сумасшедший дом, но будьте уверены, что я не позволю себе осуждать вас, именно потому, что на вашем месте я, может, втрое более разгорячился и вышел из себя, чем вы.

— А почему же вы не вышли из себя, если действительно были тоже раздосадованы? Я, напротив, припоминаю вас очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже странно было, что вы не заступились за бедного дядю, который готов благодетельствовать... всем и каждому!

— Ваша правда: он многим благодетельствовал; но заступаться за него я считаю совершенно бесполезным: во-первых, это и для него бесполезно и даже унижительно как-то; а во-вторых, меня

бы завтра же выгнали. А вам откровенно скажу: мои обстоятельства такого рода, что я должен дорожить здешним гостеприимством.

— Но я нисколько не претендую на вашу откровенность насчет обстоятельств... Мне бы, впрочем, хотелось спросить, так как вы здесь уже месяц живете...

— Сделайте одолжение, спрашивайте: я к вашим услугам, — торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая стул.

— Да вот, например, объясните: сейчас Фома Фомич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его руках, — я видел это собственными глазами.

— Как это? Неужели? — вскрикнул Мизинчиков. — Расскажите, пожалуйста!

Я рассказал, умолчав о «вашем превосходительстве». Мизинчиков слушал с жадным любопытством; он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч.

— Ловко! — сказал он, выслушав рассказ. — Я даже не ожидал от Фомы.

— Однако ж отказался от денег! Чем это объяснить? Неужели благородством души?

— Отказался от пятнадцати тысяч, чтоб взять потом тридцать. Впрочем, знаете что? — прибавил он, подумав, — я сомневаюсь, чтоб у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический; это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... гм! Видите ли: он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться. Это, я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая размазня, и все это при самом неограниченном самолюбии!

Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему очень досадно, даже как будто завидно. Я с любопытством вглядывался в него.

— Гм! Надо ожидать больших перемен, — прибавил он, задумываясь. — Теперь Егор Ильич готов молиться Фоме. Чего доброго, пожалуй, и женится, из умиления души, — прибавил он сквозь зубы.

— Так вы думаете, что непременно состоится — этот гнусный, противоестественный брак с этой помешанной дурой?

Мизинчиков пытливо взглянул на меня.

— Подлецы! — вскричал я запальчиво.

— Впрочем, у них идея довольно основательная: они утверждают, что он должен же что-нибудь сделать для семейства.

— Мало он для них сделал! — вскричал я в негодовании. — И вы, и вы можете говорить, что это основательная мысль — жениться на пошлой дуре!

— Конечно, и я согласен с вами, что она дура... Гм! Это хорошо, что вы так любите дядюшку; я сам сочувствую... хотя на ее деньги можно бы славно округлить имение! Впрочем, у них и другие резоны: они боятся, чтоб Егор Ильич не женился на той гувернантке... помните, еще такая интересная девушка?

— А разве... разве это вероятно? — спросил я в волнении. — Мне кажется, это клевета. Скажите, ради бога, меня это крайне интересует...

— О, влюблен по уши! Только, разумеется, скрывает.

— Скрывает! Вы думаете, он скрывает? Ну, а она? Она его любит?

— Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей все выгоды за него выйти: она очень бедна.

— Но какие данные вы имеете для вашей догадки, что они любят друг друга?

— Да ведь этого нельзя не заметить; притом же они, кажется, имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она с ним в непозволительной связи. Вы только, пожалуйста, не рассказывайте. Я вам говорю под секретом.

— Возможно ли этому поверить? — вскричал я, — и вы, и вы признаетесь, что этому верите?

— Разумеется, я не верю вполне, я там не был. Впрочем, очень может и быть.

— Как может быть! Вспомните благородство, честь дяди!

— Согласен; но можно и увлечься, с тем чтоб непременно потом завершить законным браком. Так часто увлекаются. Впрочем, повторяю, я нисколько не стою за совершенную достоверность этих известий, тем более что ее здесь очень уж размарали; говорили даже, что она была в связи с Видоплясовым.

— Ну, вот видите! — вскричал я, — с Видоплясовым! Ну, возможно ли это? Ну, не отвратительно ль даже слышать это? Неужели ж вы и этому верите?

— Я ведь вам говорю, что я этому не совсем верю, — спокойно отвечал Мизинчиков, — а впрочем, могло и случиться. На свете все может случиться. Я же там не был, и притом я считаю, что это не мое дело. Но так как, я вижу, вы берете во всем этом большое участие, то считаю себя обязанным прибавить, что действительно мало вероятия насчет этой связи с Видоплясовым. Это вседелки Анны Ниловны, вот этой Перепелицыной; это она распустила здесь эти слухи, из зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Егора Ильича — ей-богу! — на том основании, что она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесится. Впрочем, я, кажется, уж все рассказал вам об этих

делах и, признаюсь, ужасно не люблю сплетен, тем более что мы только теряем драгоценное время. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой просьбой.

— С просьбой? Помилуйте, все, чем могу быть полезен...

— Понимаю и даже надеюсь вас несколько заинтересовать, потому что, вижу, вы любите вашего дядюшку и принимаете большое участие в его судьбе насчет брака. Но перед этой просьбой я имею к вам еще другую просьбу, предварительную.

— Какую же?

— А вот какую: может быть, вы и согласитесь исполнить мою главную просьбу, может быть, и нет, но во всяком случае прежде изложения я бы попросил вас покорнейше сделать мне величайшее одолжение дать мне честное и благородное слово дворянина и порядочного человека, что все, услышанное вами от меня, останется между нами в глубочайшей тайне и что вы ни в каком случае, ни для какого лица не измените этой тайне и не воспользуетесь для себя той идеей, которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить. Согласны иль нет?

Предисловие было торжественное. Я дал согласие.

— Ну-с?.. — сказал я.

— Дело в сущности очень простое, — начал Мизинчиков. — Я, видите ли, хочу увезти Татьяну Ивановну и жениться на ней; словом, будет нечто похожее на Гретна-Грин — понимаете?

Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза и некоторое время не мог выговорить слова.

— Признаюсь вам, ничего не понимаю, — проговорил я наконец, — и кроме того, — продолжал я, — ожидая, что имею дело с человеком благоразумным, я, с своей стороны, никак не ожидал...

— Ожидая не ожидали, — перебил Мизинчиков, — в переводе это будет, что я и намерение мое глупы, — не правда ли?

— Вовсе нет-с... но...

— О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях! Не беспокойтесь; вы мне даже сделаете этим большое удовольствие, потому что эдак ближе к цели. Я, впрочем, согласен, что все это с первого взгляда может показаться даже несколько странным. Но смею уверить вас, что мое намерение не только не глупо, но даже в высшей степени благоразумно; и если вы будете так добры, выслушайте все обстоятельства...

— О, помилуйте! я с жадностью слушаю.

— Впрочем, рассказывать почти нечего. Видите ли: я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица лет девятнадцати, сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете, средств. В этом виноват отчасти и я. Получили мы в наслед-

ство сорок душ. Нужно же, чтоб меня именно в это время произвели в корнеты. Ну сначала, разумеется, заложил, а потом прокутил и остальным образом. Жил глупо, задавал тону, корчил Бурцова, играл, пил — словом, глупо, даже и вспоминать стыдно. Теперь я одумался и хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями. А так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства: или украсть, или жениться на богатой. Пришел я сюда почти без сапог, пришел, а не приехал. Сестра дала мне свои последние три целковых, когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну Ивановну, и тотчас же у меня родилась мысль. Я немедленно решился пожертвовать собой и жениться. Согласитесь, что все это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это более для сестры... ну, конечно, и для себя...

— Но, позвольте, вы хотите сделать формальное предложение Татьяне Ивановне?

— Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас бы выгнали, да и она сама не пойдет; а если предложить ей увоз, побег, то она тотчас пойдет. В том-то и дело: только чтоб было что-нибудь романтическое и эффектное. Разумеется, все это немедленно завершится между нами законным браком. Только бы выманить-то ее отсюда!

— Да почему ж вы так уверены, что она непременно с вами убежит?

— О, не беспокойтесь! в этом я совершенно уверен. В том-то и состоит основная мысль, что Татьяна Ивановна способна завести амурное дело решительно со всяким встречным, словом, со всяким, кому только придет в голову ей отвечать. Вот почему я и взял с вас предварительное честное слово, чтоб вы тоже не воспользовались этой идеей. Вы же, конечно, поймете, что мне бы даже грешно было не воспользоваться таким случаем, особенно при моих обстоятельствах.

— Так, стало быть, она совсем сумасшедшая... ах! извините, — прибавил я, спохватившись. — Так как вы теперь имеете на нее виды, то...

— Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас. Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Как вам ответить? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сумасшедшем доме; притом же в этой мании к амурным делам я, право, не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка честная. Видите ли: она до прошлого года была в ужасной бедности,

с самого рождения жила под гнетом у благодетельниц. Сердце у ней необыкновенно чувствительное; замуж ее никто не просил — ну, понимаете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц — все это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. И вдруг она получает богатство: согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь в ней ищут, за ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Давеча она рассказала про франта в белом жилете: это факт, случившийся буквально так, как она говорила. По этому факту можете судить и об остальном. На вздохи, на записочки, на стишки вы ее тотчас приманите; а если ко всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать с ней все, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впрочем, теперь я покамест приостановился до благоприятного времени. Но дня через четыре надо ее увезти, непременно. Накануне я начну подпускать лясы, вздыхать; я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свиданье в беседке, а к рассвету коляска будет готова; я ее выманю, сядем и уедем. Вы понимаете, что тут никакого риска: она совершеннолетняя, и, кроме того, во всем ее добрая воля. А уж если она раз бежала со мной, то уж, конечно, значит, вошла со мной в обязательства... Привезу я ее в благородный, но бедный дом — здесь есть, в сорока верстах, — где до свадьбы ее будут держать в руках и никого до нее не допустят; а между тем я времени терять не буду: свадьбу уладим в три дня — это можно. Разумеется, прежде нужны деньги; но я рассчитал, нужно не более пятисот серебром на всю интермедию, и в этом я надеюсь на Егора Ильича: он даст, конечно, не зная, в чем дело. Теперь поняли?

— Понимаю, — сказал я, поняв, наконец, все в совершенстве. — Но, скажите, в чем же я-то вам могу быть полезен?

— Ах, в очень многом, помилуйте! Иначе я бы и не просил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно почтенное, но бедное семейство. Вы же мне можете помочь и здесь, и там, и, наконец, как свидетель. Признаюсь, без вашей помощи я буду как без рук.

— Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня для вашей доверенности, меня, которого вы еще не знаете, потому что я всего несколько часов как приехал?

— Вопрос ваш, — отвечал Мизинчиков с самою любезною улыбкою, — вопрос ваш, признаюсь откровенно, доставляет мне много удовольствия, потому что представляет мне случай высказать мое особое к вам уважение.

— О, много чести!



— Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал. Вы, положим, и пылки и... и... ну и молоды; но вот в чем я совершенно уверен: если уж вы дали мне слово, что никому не расскажете, то уж, наверно, его сдержите. Вы не Обноскин — это первое. Во-вторых, вы честны и не воспользуетесь моей идеей для себя, разумеется, кроме того случая, если захотите вступить со мной в дружелюбную сделку. В таком случае я, может быть, и согласен буду уступить вам мою идею, то есть Татьяну Ивановну, и готов ревностно помогать в похищении, но с условием: через месяц после свадьбы получить от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, в чем, разумеется, вы мне заранее дали бы обеспечение в виде заемного письма, без процентов.

— Как? — вскричал я, — так вы ее уж и мне предлагаете?

— Естественно, я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но... идея принадлежит мне, а ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому же скоро Успенский пост, и венчать не станут. Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете?

— Совершенно, и еще раз обещаюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности; но товарищем вашим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам немедленно.

— Почему же?

— Как почему ж? — вскричал я, давая наконец волю накопившимся во мне чувствам. — Да неужели вы не понимаете, что такой поступок даже неблагороден? Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и на несчастной мании этой девицы; но ведь уж это одно и должно было бы удержать вас, как благородного человека! Сами же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на то что смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтоб вытянуть от нее сто тысяч! Вы, конечно, не будете ее настоящим мужем, исполняющим свои обязанности: вы непременно ее покинете... Это так неблагородно, что, извините меня, я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши сотрудники!

— Фу ты, боже мой, какой романтизм! — вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. — Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы просто, кажется, не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне... Рассудите только!

— Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то, пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело, женись на Татьяне Ивановне, — отвечал я с саркастической улыбкою.

— А то как же? именно так, именно самое великодушное дело! — вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою очередь. — Рассудите только: во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем, — ведь это же стоит чего-нибудь? Во-вторых, несмотря на то что у ней есть верных тысяч сто серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе слово не брать у ней ни копейки больше во всю мою жизнь, хотя бы и мог, — это опять чего-нибудь стоит! Наконец, вникните: ну, может ли она прожить свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт, с эспаньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами, вроде Обноскина, который сманит ее, женится на ней, оберет ее дочиста и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом, а ведь и держат ее только потому, что спекулируют на ее денежки. От этих шансов ее нужно избавить, спасти. Ну, а понимаете, как только она выйдет за меня — все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в том, что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство — это не то, о котором я говорил: это другое семейство; при ней будет постоянно находиться моя сестра; за ней будут смотреть в оба глаза. Денег у ней останется тысяч двести пятьдесят, а может, и триста ассигнациями: на это можно, знаете, как прожить! Все удовольствия ей будут доставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она может даже мечтать об амурах; только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу: мечтай сколько хочешь, а на деле ни-ни! Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто: она жена моя, она Мизинчикова, а я свое имя на поруганье не отдам-с! Это одно чего стоит? Натурально, я с нею не буду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге. В этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело начистоту. Но что ж до этого, что мы будем жить врознь? Сообразите, приглядитесь к ее характеру: ну способна ли она быть женой и жить вместе с мужем? Разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомысленнейшее создание в свете! Ей необходима непрерывная перемена; она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой. Да я сделаю ее несчастною вконец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Натурально, я буду к ней приезжать раз в год или чаще, и не за деньгами — уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч ассигнациями у ней не возьму, и не возьму! В денежном отношении я поступаю с ней в высшей степени бла-

городным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку: я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романически и буду вести с ней потом любовную переписку. Да она в восторге будет от такого романического, влюбленного и веселого мужа! По-моему, это рационально: так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствии, и, следуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего ж ей больше желать? скажите! Да ведь это рай, а не жизнь!

Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте и даже в величии своего проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо.

— Вспомнили ли вы, — сказал я, — что она уже почти невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду; вы увезете ее почти накануне свадьбы и, сверх того, у него же возьмете займы для совершения этого подвига!

— А вот тут-то я вас и ловлю! — с жаром вскричал Мизинчиков. — Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но, во-первых и главное: дядя еще предложения не делал; следственно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты; притом же, прошу заметить, что я еще три недели назад замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях; а потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении, и даже, если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой — заметьте это — я уж имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позвольте: не вы ли сами были в исступлении, что дядюшку вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне, а теперь вдруг заступаете за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести! Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение: спасаю его — вы должны это понять! Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же любит другую девицу! Ну, какая ему жена Татьяна Ивановна? да и она с ним будет несчастна, потому что, как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала розанами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так уж тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не сделают. Возвратить такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благодеяние Егору Ильичу?

Признаюсь, это последнее рассуждение на меня сильно подействовало.

— А что, если он завтра сделает предложение? — сказал я, — ведь уж тогда будет несколько поздно: она будет формальная невеста его.

— Натурально, поздно! Но тут-то и надо работать, чтоб этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложения. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае; я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь.

— Еще один, последний вопрос: вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия?

Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу.

— Признаюсь вам, — отвечал он, — этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже открыл мою мысль... словом, сваял ужаснейшего дурака! И как бы вы думали, кому? Обноскину! так что я даже сам не верю себе. Не понимаю, как и случилось! Он все здесь вертелся; я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке; а так как я тогда же понял, что мне нужен помощник; то и обратился к Обноскину... Непростительно, непростительно!

— Ну, что ж Обноскин?

— С восторгом согласился, а на другой же день, рано утром, исчез. Дня через три является опять, с своей маменькой. Со мной ни слова, и даже избегает, как будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая прощельга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей все рассказал. Я молчу и жду; они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении... Оттого-то я и тороплюсь.

— Чего ж именно вы от них опасаетесь?

— Многого, конечно, не сделают, а что напакостят — так это наверное. Потребуют денег за молчание и за помощь: я того и жду... Только я много не могу им дать, и не дам — я уж решил: больше трех тысяч ассигнациями невозможно. Рассудите сами: три тысячи сюда, пятьсот серебром свадьба, потому что дяде все сполна нужно отдать; потом старые долги; ну, сестре хоть что-нибудь, так, хоть что-нибудь. Много ль из ста-то тысяч останется? Ведь это разоренье!.. Обноскины, впрочем, уехали.

— Уехали? — спросил я с любопытством.

— Сейчас после чаю; да и черт с ними! а завтра увидите, опять явятся. Ну, так как же, согласны?

— Признаюсь, — отвечал я, съезживаясь, — не знаю, как и сказать. Дело щекотливое... Конечно, я сохраню все в тайне; я не Обноскин; но... кажется, вам на меня надеяться нечего.

— Я вижу, — сказал Мизинчиков, вставая со стула, — что вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка и что вы, хоть и любите вашего доброго, благородного дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый... Но терпение! Побудете завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал — понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет; надо бы сегодня решиться!

— Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать... не знаю как-то...

— Знаем! Ну, подождем до завтра, — решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. — *La nuit porte conseil*<sup>1</sup>. До свидания. Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте...

Он повернулся и вышел, что-то насвистывая.

Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не восходил; ночь была темная, воздух теплый и удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и десяти шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то восходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окликнул его. Дядя был с Видоплясовым.

## XI

### КРАЙНЕЕ НЕДОУМЕНИЕ

— Дядюшка! — сказал я, — наконец-то я вас дождался.

— Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта. Много надо тебе рассказать.

— Как, еще с Видоплясовым! Да бросьте вы его, дядюшка.

— Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, и я совершенно твой. Видишь: дело.

— Да он, верно, с глупостями, — проговорил я с досадою.

<sup>1</sup> Утро вечера мудреней (*фр.*).

— Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек, когда лезть с своими пустяками! Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб? Ну, что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец. Ведь я, так сказать, изнурен вами, съеден живьем, целиком! Мочи моей нет с ними, Сергей!

И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски.

— Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя? А мне бы так нужно, дядюшка...

— Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь! Пожалуй, еще завтра пожалуется на меня, что я не выслушал, и тогда...

И дядя опять махнул рукой.

— Ну, так кончайте же с ним поскорее! Пожалуй, и я помогу. Взойдемте наверх. Что он такое? чего ему? — сказал я, когда мы вошли в комнаты.

— Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия, переменить просит. Каково тебе это покажется?

— Фамилия? Как так?.. Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у вас в доме могут совершаться такие чудеса, — проговорил я, расставив руки от изумления.

— Эх, брат! эдак-то и я расставить руки умею, да толку-то мало! — с досадою проговорил дядя. — Поди-ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне...

— Неосновательная фамилия-с! — отозвался Видоплясов.

— Да почему ж неосновательная? — спросил я его с удивлением.

— Так-с. Изображает собою всякую гнусность-с.

— Да почему же гнусность? Да и как ее переменить? Кто переменяет фамилии?

— Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с?

— Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная, — продолжал я в совершенном недоумении, — но ведь что ж теперь делать? Ведь и у отца твоего была такая ж фамилия?

— Это подлинно-с, что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти-с, — отвечал Видоплясов.

— Бьюсь об заклад, дядюшка, что тут не без Фомы Фомича! — вскричал я с досадою.

— Ну, нет, братец, ну, нет; ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует. Он взял его к себе в секретари; в этом и

вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души, так что он даже, в некотором отношении, прозрел... Вот видишь, я тебе все расскажу...

— Это точно-с, — перебил Видоплясов, — что Фома Фомич мои истинные благодетели-с, и, бымши истинные мне благодетели, они меня вразумили моему ничтожеству, каков я есмь червяк на земле, так что чрез них я в первый раз свою судьбу предузнал-с.

— Вот видишь, Сережа, вот видишь, в чем все дело, — продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. — Жил он сначала в Москве, с самых почти детских лет, у одного учителя чистописания в услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился писать: и красками, и золотом, и кругом, знаешь, купидонов наставит, — словом, артист! Илюша у него учится; полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома ездит; тоже платят. Видишь, как одевается! К тому же пишет стихи.

— Стихи! Этого еще недоставало!

— Стихи, братец, стихи, и ты не думай, что я шучу, настоящие стихи, так сказать, версификация, и так, знаешь, складно на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант! Маменьке к именинам такую рацею соорудил, что мы только рты разинули: и из мифологии там у него, и музы летают, так что даже, знаешь, видна эта... как бишь ее? округленность форм, — словом, совершенно в рифму выходит. Фома поправлял. Ну я, конечно, ничего и даже рад, с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не накуролесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь как отец говорю. Проведал об этом Фома, посмотрел стихи, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком, — словом, образовал. Это он правду говорит, что благодетельствовал. Ну, эдак, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился и чувство независимости, — мне все это Фома объяснял, да я уж, правда, и позабыл; только я, признаюсь, хотел и без Фомы его на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то!.. Да Фома против этого; говорит, что он ему нужен, полюбил он его; да сверх того говорит: «Мне же, барину, больше чести, что у меня между собственными людьми стихотворцы; что так какие-то бароны где-то жили и что это en grand»<sup>1</sup>. Ну, en grand так en grand! Я, братец, уж стал его уважать — понимаешь?.. Только бог знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того перед всей дворней после стихов нос

<sup>1</sup> на широкую ногу (фр.).

задрал, что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Григорий, я тебе как отец говорю. Обещался он еще прошлой зимой жениться: есть тут одна дворовая девушка, Матрена, и премилая, знаешь, девушка, честная, работающая, веселая. Так вот нет же теперь: не хочу, да и только; отказался. Возмечтал ли он о себе, или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки...

— Более по совету Фомы Фомича-с, — заметил Видоплясов, — так как они истинные мои доброжелатели-с...

— Ну, да уж как можно без Фомы Фомича! — вскричал я невольно.

— Эх, братец, не в том дело! — поспешно прервал меня дядя, — только видишь: ему теперь и проходу нет. Та девка бойкая, задорная, всех против него подняла: дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают...

— Более через Матрену-с, — заметил Видоплясов, — потому что Матрена истинная дура-с и, бымши истинная дура-с, притом же невоздержная характером женщина, через нее я таким манером-с пошел жизнь мою претерпевать-с.

— Эх, брат Григорий, говорил я тебе, — продолжал дядя, с укоризною посмотрев на Видоплясова, — сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне, жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозвучия...

— Необлагороженная фамилия-с, — ввернул Видоплясов.

— Ну, да уж ты молчи, Григорий! Фома тоже одобрил... то есть не то чтоб одобрил, а видишь, какое соображение: что если, на случай, придется стихи печатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит, — не правда ли?

— Так он стихи напечатать хочет, дядюшка?

— Печатать, братец. Это уж решено — на мой счет, и будет выставлено на заглавном листе: крепостной человек такого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за образование. Посвящено Фоме. Фома сам предисловие пишет. Ну, так представь себе, если на заглавном-то листе будет написано: «Сочинения Видоплясова»...

— «Вопли Видоплясова-с», — поправил Видоплясов.

— Ну, вот видишь, еще и вопли! Ну, что за фамилия Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает; так и Фома говорил. А все эти критики, говорят, такие задорные, насмешники; Брамбеус, например... Им ведь все нипочем! Просмеют за одну только фамилию; так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся, —



не правда ли? Вот я и говорю: по мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на стихах — псевдоним, что ли, называется — уж не помню: какой-то *ним*. Да нет, говорит, прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и здесь навеки новым именем звали, так чтоб у меня, сообразно таланту, и фамилия была облагороженная...

— Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка.

— Я, брат Сережа, чтоб уж только с ними не спорить: пускай себе! Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор, что неделя, то фамилия, и все такие нежные выбирает: Олеандров, Тюльпанов... Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтоб тебя называли «Верный» — «Григорий Верный»; потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный». Ты жаловался; балбеса наказали. Ты две недели придумывал новую фамилию — сколько ты их перебрал, — наконец надумался, пришел просить, чтоб тебя звали «Уланов». Ну, скажи мне, братец, ну что может быть глупее Уланова? Я и на это согласился, вторичное приказание отдал о перемене твоей фамилии в Уланова. Так только, братец, — прибавил дядя, обращаясь ко мне, — чтоб уж только отвяжаться. Три дня ходил ты «Уланов». Ты все стены, все подоконники в беседке перепортил, расчеркиваясь карандашом: «Уланов». Ведь ее потом перекрашивали. Ты целую десть<sup>1</sup> голландской бумаги извел на подписи: «Уланов, проба пера; Уланов, проба пера». Наконец, и тут неудача: прибрали тебе рифму: «болванов». Не хочу болванова — опять перемена фамилии! Какую ты там еще прибрал, я уж и позабыл?

— Танцев-с, — отвечал Видоплясов. — Если уж мне суждено через фамилию мою плясуна собою изображать-с, так уж пусть было бы облагорожено по-иностранному: Танцев-с.

— Ну да, Танцев; согласился я, брат Сергей, и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя! Сегодня опять приходит, опять выдумал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть наготове новая фамилия. Есть иль нет, Григорий, признавайся!

— Я действительно давно уж хотел повергнуть к вашим стопам новое имя-с, облагороженное-с.

— Какое?

— Эссбукетов.

— И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий? фамилия с помадной банки! А еще умный человек называешься! Думал-то, должно быть, сколько над ней! Ведь это на духах написано.

<sup>1</sup> 24 листа.

— Помилуйте, дядюшка, — сказал я полушепотом, — да ведь это просто дурак, набитый дурак!

— Что ж делать, братец? — отвечал тоже шепотом дядя, — уверяют кругом, что умен и что это все в нем благородные свойства играют...

— Да развяжитесь вы с ним, ради бога!

— Послушай, Григорий! ведь мне, братец, некогда, помилуй! — начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и Видоплясова. — Ну, рассуди, ну, где мне жалобами твоими теперь заниматься! Ты говоришь, что тебя опять они чем-то обидели? Ну, хорошо: вот тебе честное слово даю, что завтра все разберу, а теперь ступай с богом... Пстой! что Фома Фомич?

— Почивать ложились-с. Сказали, что если будет кто об них спрашивать, так отвечать, что они на молитве сию ночь долго стоять намерены-с.

— Гм! Ну, ступай, братец, ступай! Видишь, Сережа, ведь он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да и дворня-то его потому и не любит, что он все о них Фоме переносит. Вот теперь ушел, а, пожалуй, завтра и нафискалит о чем-нибудь! А уж я, братец, там все так уладил, даже спокоен теперь... К тебе спешил. Наконец-то я опять с тобой! — проговорил он с чувством, пожимая мне руку. — А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя посылал. Ну, слава богу, теперь! А давеча-то, Гаврила-то каково? да и Фалалей, и ты — все одно к одному! Ну, слава богу! наконец-то наговорюсь с тобой досыта. Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай: ты один у меня, ты и Коровкин...

— Но, позвольте, что ж вы там такое уладили, дядюшка, и чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит!

— А у меня цела, что ли? Она, брат, у меня уж полгода теперь вальсирует, голова-то моя! Но, слава богу! теперь все уладилось. Во-первых, меня простили, совершенно простили, с разными условиями, конечно; но уж я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то, Саша-то, давеча-то... горячее сердечко! увлеклась немного, но золотое сердечко! Я горжусь этой девочкой, Сережа! Да будет над нею всегдашнее благословение Божие. Тебя тоже простили, и даже, знаешь как? Можешь делать все, что тебе угодно, ходить по всем комнатам и в саду, и даже при гостях, — словом, все, что угодно; но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме Фомиче, — это неперемное условие, то есть решительно ни полслова, — я уж обещался за тебя, — а только

будешь слушать, что старшие... то есть я хотел сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод. Ты, Сергей, не обижайся; ведь ты и в самом деле еще молод... Так и Анна Ниловна говорит...

Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях.

— Послушайте, дядюшка, — вскричал я, чуть не задыхаясь, — скажите мне только одно и успокойте меня: я в настоящем сумасшедшем доме или нет?

— Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику! Уж и не можешь никак утерпеть, — отвечал опечаленный дядя. — Всего не в сумасшедшем, а так только, погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя? Помнишь, что ты ему отмочил, — человеку, так сказать, почтенных лет?

— Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка.

— Ну уж это ты, брат, перескакнул! Это уж вольнодумство! Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь, но уж это, брат, из мерки выскочило, то есть удивил ты меня, Сергей.

— Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но виноват перед вами. Что же касается до вашего Фомы Фомича...

— Ну, вот уж и *вашего!* Эх, брат Сергей, не суди его строго: мизантропический человек — и больше ничего, болезненный! С него нельзя строго спрашивать. Но зато какой благородный, то есть просто благороднейший из людей! Да ведь ты сам давеча был свидетелем, просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так на это нечего смотреть. Ну, с кем этого не случается?

— Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается?

— Эх, наладил одно! Добродушия в тебе мало, Сережа; простить не умеешь!..

— Ну, хорошо, дядюшка, хорошо! Оставим это. Скажите, видели вы Настасью Евграфовну?

— Эх, брат, о ней-то все дело шло. Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное: мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения, Фому-то, потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается; так-таки и пойдем всем кагалом, еще перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, — словом, польстит. Ах, кабы и ты его, Сережа, вместе с нами, тут же поздравил! Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо было, если б вы помирились! Забудь, брат, обиду, Сережа, ведь ты и сам его обидел... Наидостойнейший человек!

— Дядюшка! дядюшка! — вскричал я, теряя последнее терпение, — я с вами о деле хочу говорить, а вы... Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовной?

— Как же, братец, что ты! чего ты кричишь? Из-за нее-то и поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтоб тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь представить себе мое положение... Ну, да слава богу! теперь все это уладилось. Они, видишь ли, — уж признаюсь тебе во всем, — думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели: они это мне там объяснили... так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Все это маменька, а пуще всех Анна Ниловна. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки, что и затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается, хоть не совсем, так, еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна все еще ворчит! Уж и не знаю, что выдумать, чтоб ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой Анне Ниловне?

— Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка! Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтоб ее увезти? что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключение велела вам кланяться, — знаете ли вы это или нет?

Дядя, как был, так и остался передо мной с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его.

Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом; объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, — словом, не скрыл ничего; даже нарочно преувеличил все, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтоб допытаться от него решительных мер, — и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову.

— Где она, не знаешь ли? где она теперь? — проговорил он наконец, побледнев от испуга. — А я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойный, думал, все уж уладилось, — прибавил он в отчаянии.

— Не знаю, где теперь, только давеча, как начались эти крики, она пошла к вам: она хотела все это выразить вслух, при всех. Вероятно, ее не допустили.

— Еще бы допустили! что б она там наделала! Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет, куда? куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему ж она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради бога, чего ж ты стоишь?

— Помилосердствуйте, дядюшка! да разве можно задавать такие вопросы?

— Но ведь невозможно ж и это! Ты должен, должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье! Теперь ее гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница, — не прогонят. А то куда она пойдет? что с ней будет? В гувернантки? Но ведь это только бессмысленный вздор, в гувернантки-то! Ведь пока место найдет, чем дома жить? У старика их девятiero на плечах; сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры, и она, и отец. Да и каково таким образом выйти — ужас! Здесь уж будет скандал — я знаю. А жалованье ее уж давно вперед забрано на семейные нужды: ведь она их питает. Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантки, найду такую честную и благородную фамилию... да ведь черта с два! где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то благородных людей? Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что Бога гневить! но, друг мой, ведь опасно: можно ли положиться на людей? к тому же бедный человек подозрителен; ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями! Они оскорбят ее; она гордая, и тогда... да уж что тогда? А что, если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется?.. Она плюнет на него, — я знаю, что плюнет, — но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец! все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозрение, и тогда... Голова трещит на плечах! Ах ты, боже мой!

— Дядюшка! простите меня за один вопрос, — сказал я торжественно, — не сердитесь на меня, поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить; я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка!

— Что, что такое? Какой вопрос?

— Скажите, как перед Богом, откровенно и прямо: не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте: ведь из-за этого-то ее здесь и гонят.

Дядя сделал самый энергичный жест самого судорожного нетерпения.

— Я? влюблен? в нее? Да они все белены объелись или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал, как не для того, чтоб доказать им всем, что они белены объелись? Да для чего же я тебя-то к ней сватаю? Я? влюблен? в нее? Рехнулись они все, да и только!

— А если так, дядюшка, то позвольте уж мне все высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и — дай Бог этого! дай вам Бог любовь и совет!

— Но, помилуй, что ты говоришь! — вскричал дядя почти с ужасом. — Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокровно... и... вообще ты, брат, все куда-то торопишься, — я замечаю в тебе эту черту! Ну, не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе, даже грешно! Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супружеством! Она, пожалуй, из благодарности и не отказала бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю! Да я бы душу мою ей отдал, деточка она моя! Все равно как Сашу люблю, даже больше, признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила; она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал: и по-французски говорить, и на фортепьяно, и книги, и все... Улыбочка какая у ней! заметил ты, Сережа? как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не смеется, а, напротив, любит... Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение; они и уверятся, что я не имею видов на нее, и перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли... я бы вас так любил, так любил! жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами; всюду за вами! Ах, как бы мы могли быть счастливы! И зачем это люди все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга? Так бы, так бы взял да и растолковал бы им все! Так бы и выложил перед ними всю сердечную правду! Ах ты, боже мой!

— Да, дядюшка, да, это все так, а только она вот отказала мне...

— Отказала! Гм!.. А знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе, — сказал он в задумчивости. — Но нет! —

вскрикнул он, — я не верю! это невозможно! Но ведь в таком случае все расстроится! Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил еще, может быть; пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать... Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей!

Я повторил еще раз все в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся.

— Спаси! — сказал он, — спаси до завтрашнего утра!

— Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? — вскричал я в испуге.

— А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали завтра? Завтра же делаю предложение; формально обещался.

— И вы решились, дядюшка?

— Что ж делать, братец, что ж делать! Это раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение; свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему; оно, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе, так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят: «для детей богатство!» Конечно, для детей чего не сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не все же тунеядцем сидеть!

— Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! — вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось.

— Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая, а так, испытала, знаешь, несчастья... Что ж делать, братец, и рад бы с умом... А впрочем, и с умом-то какие бывают! А какая она добрая, если бы ты знал, благородная какая!

— Но, боже мой! он уж и мирится с этою мыслью! — сказал я в отчаянии.

— А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уж я предчувствовал, что, рано ли, поздно ли, а не отвертишься: заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, все откровенно скажу: я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился, по крайней мере, с плеч долой, — спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя! А главное, в выигрыше то, что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим условием. А тут она сама бежать хочет! Да не будет же этого! — вскрикнул дядя, топнув ногою. — Послушай, Сергей, — прибавил он с решительным видом, — подожди меня здесь, никуда не ходи; я мигом к тебе ворочусь.

— Куда вы, дядюшка?

— Может быть, я ее увижу, Сергей: все объяснится, поверь, что все объяснится, и... и... и женишься же ты на ней — даю тебе честное слово!

Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.

## ХИ

### КАТАСТРОФА

Я остался один. Положение мое было нестерпимое: мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложение не выходили у меня из головы. Во что бы ни стало дядю надо было спасти! Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему все. Но куда, однако ж, пошел дядя? Он сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове, и пренеприятное чувство ущемило мое сердце. Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь... Подумав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения. Дядя не мог обманывать: это очевидно. Беспокойство мое возросло каждую минуту. Бессознательно вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся заблудиться. Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу одряхлевшего, покрытого тиной пруда, я вдруг остановился как вкопанный: мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, какое странное чувство досады овладело мною! Я был уверен, что это дядя и Настенька, и продолжал подходить, успокаивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался ясно звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов, и тотчас же вслед за этим — пронзительный женский крик. В то же мгновение женщина в белом платье выбежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтоб не быть узнанной: вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление, когда в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалере я узнал Обноскина, — Обноскина, который, по словам Мизинчикова, давно уж уехал! С своей стороны, и Обноскин, увидав меня, чрезвычайно смутился: все нахальство его исчезло.

— Извините меня, но... я никак не ожидал с вами встретиться, — проговорил он, улыбаясь и заикаясь.



— А я с вами, — отвечал я насмешливо, — тем более что я слышал, вы уж уехали.

— Нет-с... это так... я проводил только недалеко маменьку. Но могу ли я обратиться к вам как к благороднейшему человеку в мире?

— С чем это?

— Есть случаи, — и вы сами согласитесь с этим, — когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого, истинно благородного человека... Надеюсь, вы понимаете меня...

— Не надейтесь: ничего решительно не понимаю.

— Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседе?

— Видел, но не узнал.

— А, не узнали!.. Эту даму я назову скоро моею женою.

— Поздравляю вас. Но чем же я могу быть вам полезен?

— Только одним: сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой.

«Кто ж бы это? — подумал я, — уж не...»

— Право, не знаю-с, — отвечал я Обноскину. — Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слова...

— Нет, ради бога, пожалуйста, — умолял Обноскин. — Поймите мое положение: это секрет. Вы тоже можете быть женихом, тогда и я, с своей стороны...

— Тс! кто-то идет!

— Где?

Действительно, шагах в тридцати от нас, чуть приметно, промелькнула тень проходившего человека.

— Это... это, верно, Фома Фомич! — прошептал Обноскин, трепеща всем телом. — Я узнаю его по походке. Боже мой! и еще шаги, с другой стороны! Слышите... Прощайте! благодарю вас и... умоляю вас...

Обноскин скрылся. Чрез минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли.

— Это ты? — окрикнул он меня. — Все пропало, Сережа! все пропало!

Я заметил, что он дрожал всем телом.

— Что пропало, дядюшка?

— Пойдем! — сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить. Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно; он был бледен, как мертвый. Я немедленно

спрыснул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь очень ужасное, — думал я, — когда с таким человеком делается обморок».

— Дядюшка, что с вами? — спросил я наконец.

— Все пропало, Сережа! Фома застал меня в саду вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее!

— Поцеловали! в саду! — вскричал я, смотря в изумлении на дядю.

— В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб непременно ее увидеть. Хотел ей все высказать, урезонить ее, насчет тебя то есть. А она меня уж целый час дожидалась, там, у сломанной скамейки, за прудом... Она туда часто приходит, когда надо поговорить со мной.

— Часто, дядюшка?

— Часто, братец! Последнее время почти каждую ночь сряду сходились. Только они нас, верно, и выследили, — уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна все работала. Мы на время и прервали; дня четыре уж ничего не было; а вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нужда была: без этого как же бы я ей сказал? Прихожу, в надежде застать, а она уж там целый час сидит, меня дожидается: тоже надо было кое-что сообщить...

— Боже мой, какая неосторожность! ведь вы знали, что за вами следят?

— Да ведь критический случай, Сережа; многое надо было взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на нее не смею: она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и наговоримся...

— Ну, что ж, дядюшка?

— Не успел я двух слов сказать, знаешь, сердце у меня заколотилось, из глаз слезы выступили; стал я ее уговаривать, чтоб за тебя вышла; а она мне: «Верно, вы меня не любите, верно, вы ничего не видите», и вдруг как бросится мне на шею, обвила меня руками, заплакала, зарыдала! «Я, говорит, одного вас люблю и ни за кого не выйду. Я вас уж давно люблю, только и за вас не выйду, а завтра же уеду и в монастырь пойду».

— Боже мой! неужели она так и сказала? Ну, что ж дальше, дальше, дядюшка?

— Смотрю, а перед нами Фома! и откуда он взялся? Неужели за кустом сидел да этого греха выжидал?

— Подлец!

— Я обмер. Настенька бежать, а Фома Фомич молча прошел мимо нас, да пальцем мне и пригрозил, — понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет?

— Ну, да уж как не понять!

— Понимаешь ли ты, — вскричал он в отчаянии, вскакивая со стула, — понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить, осрамить, обесчестить; ищут предлога, чтоб бесчестие на нее всклепать и за это выгнать ее; а вот теперь и нашелся предлог! Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет! ведь они, подлецы, говорили, что она с Видоплясовым имеет! Это все Анна Ниловна говорила. Что теперь будет? что завтра будет? Неужели расскажет Фома?

— Непременно расскажет, дядюшка.

— А если расскажет, если только расскажет... — проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки, — но нет, не верю! он не расскажет, он поймет... это человек высочайшего благородства! Он пощадит ее...

— Пощадит иль не пощадит, — отвечал я решительно, — но во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасье Евграфовне.

Дядя смотрел на меня неподвижно.

— Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите девушку, если разнесется эта история? Понимаете ли вы, что вам надо предупредить беду как можно скорее; что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он заикнется против нее?

— Друг мой! — вскричал дядя, — я об этом думал, идя сюда!

— И как же решили?

— Неизменно! Я уж решился, прежде чем начал тебе рассказывать!

— Браво, дядюшка!

И я бросился обнимать его.

Долго мы говорили. Я выставил перед ним все резоны, всю немолимую необходимость жениться на Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня. Но красноречие мое было возбуждено. Я радовался за дядю. Долг подстрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом же, перед обязанностью он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своею обязанностью; но мне как-то не верилось, чтоб у него достало силы восстать против своих домашних. И потому я старался как можно более подстрекнуть и направить его и работал со всею юношескою горячностью.

— Тем более, тем более, — говорил я, — что теперь уже все решено и последние сомнения ваши исчезли! Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели и все прежде вас

заметили: Настасья Евграфовна вас любит! Неужели же вы попустите, — кричал я, — чтоб эта чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор?

— Никогда! Но, друг мой, неужели ж я буду наконец так счастлив? — вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. — И как это она полюбила меня, и за что? за что? кажется, во мне нет ничего такого... Я старик перед нею: вот уж не ожидал-то! ангел мой, ангел!.. Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал, не влюблен ли я в нее: имел ты какую-нибудь идею?

— Я видел только, дядюшка, что вы ее любите, как больше любить нельзя: любите и между тем сами про это не знаете. Помилуйте! выписываете меня, хотите женить меня на ней, единственно для того, чтоб она вам стала племянницей и чтоб иметь ее всегда при себе...

— А ты... а ты прощаешь меня, Сергей?

— Э, дядюшка!..

И он снова обнял меня.

— Смотрите же, дядюшка, все против вас: надо восстать и пойти против всех, и не далее, как завтра.

— Да... да, завтра! — повторил он несколько задумчиво, — и, знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силой характера... именно с силой характера!

— Не сробейте, дядюшка!

— Не сробею, Сережа! Одно: не знаю, как начать, как приступить!

— Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день все решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фома заговорит — немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок.

— А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил: завтра же пойду к нему, чем свет, все расскажу, вот как с тобой говорил: не может быть, чтоб он не понял меня; он благороден, он благороднейший из людей! Но вот что меня беспокоит: что, если маменька предведомила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении? Ведь это уж худо!

— Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка.

И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове.

— Фантазмагорическое лицо! истинно фантазмагорическое лицо! — вскричал он. — Бедная! Они подъезжают к ней, хотят воспользоваться ее простотою! Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал... Странно, ужасно странно! Я поражен, Сережа... Это

завтра же надо исследовать и принять меры... Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Ивановна?

Я отвечал, что хотя и не видел в лицо, но по некоторым причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна.

— Гм! Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна? Не Даша ли, садовника дочь? пролазливая девочка! Замечена, потому и говорю, что замечена. Анна Ниловна выследила... Да нет же, однако! Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно! Странно!

Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю. «Завтра, завтра, — повторял он, — все решится, — прежде чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски, открою ему все, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа. Ложись, ты устал; а я уж, верно, во всю ночь глаз не сомкну».

Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный донельзя. День был трудный. Нервы мои были расстроены, и, прежде чем заснул, я несколько раз вздрагивал и просыпался. Но как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

### I

#### ПОГОНЯ

Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день; в окна ярко заглядывало солнце. На кровати моей, или, лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчеев.

Сомневаться было невозможно: это был он. Высвободив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека.

— Он еще и смотрит! — вскричал толстяк. — Да ты что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай! полчаса бужу; продирай глаза-то!

— Да что случилось? который час?

— Час, батюшка, еще ранний, а Февронья-то наша и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!

— Какая Февронья?

— Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до свету улепетнула! Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа! Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника! — прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе.

— Да про кого и про что вы говорите? — сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. — Уж не Татьяна ль Ивановна?

— А как же? она и есть! Я говорил, предрекал — не хотели слушать! Вот она тебя и поздравила теперь с праздником! На амуре помешана, а амур-то у нее крепко в голове засел! Тьфу! А тот-то, тот-то каков? с бороденкой-то?

— Неужели с Мизинчиковым?

— Тьфу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, отрезись хоть маленько, хоть для великого Божьего праздника! Знать,

тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь еще бродит! С каким Мизинчиковым? С Обноскиным, а не с Мизинчиковым. А Иван Иванович Мизинчиков человек благонаправный и теперь с нами же в погоню собирается.

— Что вы говорите? — вскричал я, даже привскакнув на постели, — неужели с Обноскиным?

— Тыфу ты, досадный человек! — отвечал толстяк, вскакивая с места, — я к нему как к образованному человеку пришел оказию сообщить, а он еще сомневается! Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать: и без того золотое время с тобой потерял!

И он вышел в чрезвычайном негодовании.

Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем, я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскоро, в каком-то утреннем пеньюаре иль шлафроке. Волосы ее были в беспорядке: видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях.

— Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Обноскиным? — торопливо спросила она прерывавшимся голосом, бледная и испуганная.

— Говорят, что правда. Я ишу дядюшку; мы хотим в погоню.

— О! привезите ее скорее! Она погибнет, если вы ее не воротите.

— Но где же дядюшка?

— Верно, там, у конюшен; там коляску закладывают. Я его здесь поджидала. Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня же; я совсем решилась. Отец возьмет меня; я еду сейчас, если можно будет. Все погибло теперь! все потеряно!

Говоря это, она сама глядела на меня как потерянная и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика.

— Успокойтесь! — умолял я ее, — ведь это все к лучшему — вы увидите... Что с вами, Настасья Евграфовна?

— Я... я не знаю... что со мною, — говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. — Скажите ему...

В эту минуту за дверью направо раздавался какой-то шум.

Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убежала вверх по лестнице.

Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева и Мизинчикова, на заднем дворе, у конюшен. В коляску Бахчеева впрягали свежих лошадей. Все было готово к отъезду: ждали только меня.

— Вот и он! — закричал дядя при моем появлении. — Слышал, брат? — прибавил он с каким-то странным выражением в лице.

Испуг, растерянность и вместе с тем как будто надежда выразилась в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот.

Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтоб поспеть к ранней обедне в монастырь, находящийся верстах в пяти от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель он вдруг увидел тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчееву руки, как будто умоляя его о защите, — так, по крайней мере, выходило из его рассказа. «А тот-то, подлец, с бородежкой-то, — прибавил он, — ни жив ни мертв сидит, спрятался; да только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчиково, разбудил дядю, Мизинчикова, наконец, и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню.

— Обноскин-то, Обноскин-то... — говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем и что-то другое, — кто бы мог ожидать!

— От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости! — вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда.

— Что ж мы, едем или нет? Али до ночи будем стоять да сказки рассказывать? — прервал господин Бахчеев, влезая в коляску.

— Едем, едем! — подхватил дядя.

— Все к лучшему, дядюшка, — шепнул я ему. — Видите, как все это теперь отлично уладилось?

— Полно, брат, не греши... Ах, друг мой! они теперь просто выгонят ее, в наказание, что не удалось, — понимаешь? Ужас, сколько я предчувствую!

— Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? — вскричал в другой раз господин Бахчеев. — Аль уж отложить лошадок да закуску подать, — как вы думаете: не выпить ли водочки?

Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно сели в коляску, и лошади поскакали.

Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно посматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он часто за-



думывался; потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был, по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев горячился за всех. Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на все с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на сторону и никак не мог успокоиться.

— Уверены ли вы, Степан Алексеич, что они поехали в Мишино? — спросил вдруг дядя. — Это, брат, двадцать верст отсюда, — прибавил он, обращаясь ко мне, — маленькая деревенька, в тридцать душ; недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга, каких свет не производит! Так, по крайней мере, о нем говорят; может быть, и ошибочно. Степан Алексеич уверяет, что Обноскин именно туда ехал и что этот чиновник теперь ему помогает.

— А то как же? — вскричал Бахчеев, встрепенувшись. — Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его, в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то! Еще бы три часа на дворе попусту прокалякали!

— Не беспокойтесь, — заметил Мизинчиков, — застанем.

— Да, застанем! Небось он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках; был — да сплыл!

— Успокойся, Степан Алексеич, успокойся, догоним, — сказал дядя. — Они еще ничего не успели сделать, — увидишь, что так.

— Не успели сделать! — злобно переговорил господин Бахчеев. — Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая! «Тихонькая, говорят, тихонькая!» — прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. — «Испытала несчастья». Вот она нам теперь пятки и показала, несчастная-то! Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуня язык ни свет ни заря! Помолиться человеку не дадут для Божьего праздника. Тьфу!

— Да ведь она, однако ж, не малолетняя, — заметил я, — под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?

— Разумеется, — отвечал дядя, — но она захочет — уверяю тебя. Это она теперь только так... Только увидит нас, тотчас воротится, — отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву; это, так сказать, долг...

— Под опекой не состоит! — вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. — Дура она, батюшка, набитая дура, — а не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера, а наемни ошибкой зашел в ее комнату: смотрю, а она одна перед зеркалом руки в боки, экосез выплясывает! Да ведь как

разодета: журнал, просто журнал! Плюнул да и отошел. Тогда же все предузнал, как по-писаному!

— К чему ж так обвинять? — заметил я с некоторою робостью. — Известно, что Татьяна Ивановна... не в полном своем здоровье... или, лучше сказать, у ней такая мания... Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она.

— Не в полном своем здоровье! ну вот подите вы с ним! — подхватил толстяк, весь побагровев от злости. — Ведь поклялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в полном своем здоровье; сызмалетства на купидоне помешана! Вот и довел ее теперь купидон до последней точки. А про того, с бородашкой-то, и поминать нечего! Небось задувает теперь по всем по трем с денежками, динь-динь-динь, да посмеивается.

— Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее?

— А то как же? Небось таскать с собой станет такое сокровище? Да на что она ему? оберет ее да и посадит где-нибудь под куст, на дороге — и был таков, а она и сиди под кустом да нюхай цветочки!

— Ну, уж это ты увлекся, Степан, не так это будет! — вскричал дядя. — Впрочем, чего ж ты так сердисься? Дивлюсь я на тебя, Степан, тебе-то чего?

— Да ведь я человек али нет? Ведь зло берет; вчуже берет. Ведь я, может, ее же любя, говорю... Эх, прокисай все на свете! Ну зачем я приехал сюда? ну зачем я сворачивал? мне-то какое дело? мне-то какое дело?

Так сетовал господин Бахчеев; но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли, — о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим источникам и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом, негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная дева и, наконец, бедная перезрелая дева, Татьяна Ивановна во всю свою бедную жизнь испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне извела всю горечь чужого хлеба. От природы характера веселого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного, она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым веселым, беззаботным смехом; но с годами судьба взяла наконец свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась раздражительна, болезненно-восприимчива и впала в самую неограниченную, беспредельную мечтательность, часто прерывае-

мую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и, наконец, погибли совсем последние существенные надежды ее, тем упоительнее становились ее мечты, никогда не осуществимые. Богатства неслыханные, красота неувядаемая, женихи изящные, богатые, знатные, все князья и генеральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви, и, наконец, он — он, идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, страстный и любящий, художник, поэт, генеральский сын — все вместе или поочередно, все это начинало ей представляться не только во сне, но даже почти и наяву. Рассудок ее уже начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, непрерывных мечтаний... И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не защищенная никем, измученная горемычным житьем своим и, про себя, утопающая в неге самых безумных и распаленных фантазий, — она вдруг получила известие о смерти одного своего дальнего родственника, у которого давно уже (о чем она, по легкомыслию своему, никогда не справлялась) перемерли все его близкие родные, человека странного, жившего затворником, где-то за тридевять земель, в захолустье, одиноко, угрюмо, неслышно и занимавшегося черепословием и ростовщицеством. И вот огромное богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны: она оказалась единственной законной наследницей умершего родственника. Сто тысяч рублей серебром досталось ей разом. Эта насмешка судьбы доконала ее совершенно. Как же, в самом деле, и без того уже ослабевшему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась с оставшейся у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. Прочь все соображения, все сомнения, все преграды действительности, все неизбежные и ясные, как дважды два, законы ее! Тридцать пять лет и мечта об ослепляющей красоте, осенний грустный холод и вся роскошь бесконечного блаженства любви, даже не споря между собою, ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни:

отчего же и всему не сбыться? отчего же и *ему* не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании его, идеала — женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородами и без бородок, с эспаньолками и без эспаньолок, испанцы и не испанцы (но преимущественно испанцы), начали представляться ей день и ночь в количестве, ужасающем и возбуждавшем в наблюдателях серьезные опасения; оставался только шаг до желтого дома. Блестящею, упоенною любовью вереницей толпились около нее все эти прекрасные призраки. Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком: на кого она ни взглянет — тот и влюбился; кто бы ни прошел мимо — тот и испанец; кто умер — непременно от любви к ней. Все это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других, с теми же целями. Ей вдруг стали все угрожать, стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела, что все это из-за денег. Она совершенно была уверена, что по чьему-то мановению все люди вдруг исправились и стали, все до одного, веселые, милые, ласковые, добрые. Он не являлся еще налицо; но хотя и сомнения не было в том, что он явится, теперешняя жизнь и без того была так недурна, так заманчива, так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще более распяляли ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтенья, увлекаемая в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Бесперывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, образчики, выкройки, узоры, конфекты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи, и даже ночью, примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помолодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Крахоткину. Я всегда был уверен, что это родство — выдумка генеральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчеев был прав, говоря о купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки; а мысль дяди, после известия о ее побеге с Обноскиным, бежать за ней и воротить ее, хоть насильно, была самая рациональная. Бедняжка не-

способна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попалась к недобрым людям.

Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это была бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьянских изб, закоптелых, покривившихся набок и едва прикрытых почерневшею соломою, как-то грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракета свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвести отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами в ряд и крытого на скорую руку соломою. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором, и только с одной стороны начинался новый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы упали на виноватых как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач.

Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился от нас бежать сломя голову. В первой же комнате, на ситцевом, длинном «турецком» диване, без спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало чье-то дамское платье: кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись: казалось, их в доме не было; все куда-то спрятались.

— Вот она, путешественница! еще и ручками закрывается! — вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за нами в комнату.

— Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это наконец неприлично. Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние, — резко заметил Мизинчиков.

Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая Обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, все еще закрывавшейся ручками, и самым мягким голосом, с самым непритворным участием сказал ей:

— Татьяна Ивановна! мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет ехать с

нами в Степанчиково? Илюша именинник. Маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей уж, верно, проплакали о вас целое утро...

Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы и вдруг, залившись слезами, бросилась к нему на шею.

— Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее! — говорила она рыдая, — скорее, как можно скорее!

— Расскалась да и сбрендила! — прошипел Бахчеев, подталкивая меня рукою.

— Значит, все кончено, — сказал дядя, сухо обращаясь к Обноскину и почти не глядя на него. — Татьяна Ивановна, пожалуйте вашу руку. Едем!

За дверьми послышался шорох; дверь скрипнула и приотворилась еще более.

— Однако ж, если судить с другой точки зрения, — заметил Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную дверь, — то посудите сами, Егор Ильич... ваш поступок в моем доме... и, наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич...

— Ваш поступок в моем доме, сударь, был скверный поступок, — отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина, — а это и дом-то не ваш. Вы слышали: Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более? Ни слова — слышите, ни слова больше, прошу вас! Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее.

Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряни.

— Не презирайте меня, Егор Ильич, — начал он полупшепотом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на дверь, вероятно, из боязни, чтоб там не услышали, — это все не я, а маменька. Я не из интереса это сделал, Егор Ильич; я только так это сделал; я, конечно, и для интереса это сделал, Егор Ильич... но я с благородной целью это сделал, Егор Ильич: я бы употребил с пользою капитал-с... я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете... Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич; а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич...

Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать.

— Ну, ну, полно, полно! — проговорил он наконец. — Успокойся, Павел Семеныч. Что ж делать! Со всяким случается... Если хочешь, приезжай, брат, обедать... а я рад, рад...

Но не так поступил господин Бахчевев.

— Стипендию учредить! — заревел он с яростью, — таковский чтоб учредил! Небось сам рад сорвать со всякого встречного... Штанишек нет, а туда же, в стипендию какую-то лезет! Ах ты, лоскутник, лоскутник! Вот тебе и покорил нежное сердце! А где ж она, родительница-то? али спряталась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там, за ширмами, али под кровать со страха залезла...

— Степан, Степан!.. — закричал дядя.

Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать; но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась, и сама Анфиса Петровна, раздраженная, с сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату.

— Это что? — закричала она, — что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом с своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь!.. Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич! А ты, пентюх! — продолжала она вопить, набрасываясь на сына, — ты уж и нюни распустил перед ними! Твоей матери делают оскорбление в ее же доме, а ты рот разинул! Какой ты порядочный молодой человек после этого? Ты тряпка, а не молодой человек после этого!

Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже лорнетки — ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски.

Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты; но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу.

— Вы так не выйдете, Егор Ильич! — затрещала она снова. — По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомою Фомичом! Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса. Извините-с, здесь благороднее думают! Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губят, сама вверилась Павлуше. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей; она принуждена была бежать от вас ночью — вот как-с! вот вы до чего ее довели! Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врваться целой шайкой в благородный дворянский дом и силою увозить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я не позволю! не позволю! Я не сошла с ума!.. Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет! Пойдемте, Татьяна Ивановна, нече-

го их слушать: это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пойдете! Я их тотчас же выпровожу!..

— Нет, нет! — закричала испуганная Татьяна Ивановна, — я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж?

— Не хотите? — взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости, — не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком случае как же вы смели обманывать нас? В таком случае как же вы смели обещать ему, бежали с ним ночью, сами навязывались, ввели нас в недоумение, в расходы? Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас!.. Он, может быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас!.. Нет-с! Вы заплатите, вы должны теперь заплатить; мы доказательства имеем; вы ночью бежали!..

Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо на Анфису Петровну, и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску.

— Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы! — кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном исступлении. — Я бумагу подам! вы заплатите... вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! вы не можете выйти замуж за Егора Ильича; он под носом у вас держит гувернантку на содержании!..

Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и схватил меня за руку.

— По крайней мере, позвольте мне искать вашей дружбы! — сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице.

— Как это дружбы? — сказал я, заноса ногу на подножку коляски.

— Так-с! Я еще вчера отличил в вас образованнейшего человека. Не судите меня... Меня собственно обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более имею склонности к литературе — уверяю вас; а это все маменька!..

— Верю, верю, — сказал я, — прощайте!

Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас с диким любопытством.

В коляске помещалось теперь нас пятеро; но Мизинчиков пересел на козлы, уступив свое прежнее место господину Бахчеву, которому пришлось теперь сидеть прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна, что мы ее увезли, но



все еще плакала. Дядя, как мог, утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив: видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева.

Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой; он не мог смотреть равнодушно; ворочался на своем месте, краснел как рак и страшно вращал глазами; особенно когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну, толстяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всматриваться; потом посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою омбrelloку<sup>1</sup>, грациозно ударила ею слегка господина Бахчеева по плечу.

— Безумец! — проговорила она с самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером.

Эта выходка была каплей, переполнивший сосуд.

— Что-о-о? — заревел толстяк, — что такое, мадам? Так ты уж и до меня добираешься!

— Безумец! безумец! — повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши.

— Стой! — закричал Бахчеев кучеру, — стой!

Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски.

— Да что с тобой, Степан Алексеич? куда ты? — вскричал изумленный дядя.

— Нет, уж довольно с меня! — отвечал толстяк, дрожа от негодования, — прокисай все на свете! Устарел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать. Я, матушка, лучше уж на большой дороге помру! Прощай, мадам, коман-ву-порте-ву!<sup>2</sup>

И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом.

— Степан Алексеич! — кричал дядя, выходя наконец из терпения, — не дурачься, полно, садись! ведь домой пора!

— И — ну вас! — проговорил Степан Алексеич, задыхаясь от ходьбы, потому что, по толстоте своей, совсем разучился ходить.

— Пошел во весь опор! — закричал Мизинчиков кучеру.

— Что ты, что ты, постой!.. — вскричал было дядя, но коляска

<sup>1</sup> Здесь: небольшой дамский зонтик (от *фр.* ombrelle)

<sup>2</sup> Как поживаете (*фр.*: «Comment vous portez-vous?»)

уже помчалась. Мизинчиков не ошибся: немедленно получились желаемые плоды.

— Стой! стой! — раздался позади нас отчаянный вопль, — стой, разбойник! стой, душегубец ты эдакой!..

Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстук и сняв картуз. Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз уступил ему свое место; по крайней мере, он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжение всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски.

Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но, почти вслед за ним, вошел дядя и тотчас же выслал его.

## II

### НОВОСТИ

— Я, брат, к тебе на минутку, — начал он торопливо, — спешил сообщить... Я уже все разузнал. Никто из них сегодня даже у обедни не был, кроме Илюши, Саши да Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали; насилу оттерли. Теперь положено собираться к Фоме, и меня зовут. Не знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами-то, — важный пункт! И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж? Ужас, Сережа, я уж предчувствую...

— Напротив, дядюшка, — заспешил я в свою очередь, — все превосходно устроивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне — это одно чего стоит! Я вам еще дорогою это хотел объяснить.

— Так, так, друг мой. Но все это не то; во всем этом, конечно, перст Божий, как ты говоришь; но я не про то... Бедная Татьяна Ивановна! какие, однако ж, с ней пассажи случаются!.. Подлец, подлец Обноскин! А впрочем, что ж говорю «подлец»? я разве не то же бы самое сделал, женись на ней?.. Но, впрочем, я все не про то... Слышал ты, что кричала давеча эта негодяйка, Анфиса, про Настю?

— Слышал, дядюшка. Догадались ли вы теперь, что надо спешить?

— Непременно, и во что бы ни стало! — отвечал дядя. — Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал: пойдет ли она-то за меня, — вот что?

— Помилосердуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что любит...

— Друг ты мой, да ведь тут же прибавила, что «ни за что не выйду за вас».

— Эх, дядюшка! это так только говорится; к тому же обстоятельства сегодня не те.

— Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело деликатное, ужасно деликатное! Гм!.. А знаешь, хоть и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастья!.. Ну, прощай, лечу. Ждут; я уж и так опоздал. Только так забежал, слово с тобой перебросить. Ах, боже мой! — вскричал он, возвращаясь, — главное-то я и забыл! Знаешь что: ведь я ему писал, Фоме-то!

— Когда?

— Ночью; а утром, чем свет, и письмо отослал с Видоплясовым. Я, братец, все изобразил, на двух листах, все рассказал, правдиво и откровенно, — словом, что я должен, то есть непременно должен, — понимаешь? — сделать предложение Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтоб помочь мне у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами...

— И что ж? Никакого ответа?

— Покамест еще нет; только давеча, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях, по-ночному, в туфлях и в колпаке, — он спит в колпаке, — куда-нибудь выходил. Ни слова не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, эдак снизу, — ничего!

— Дядюшка, не надейтесь на него: нагадит он вам.

— Нет, нет, братец, не говори! — вскричал дядя, махая руками, — я уверен. К тому же ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет; он оценит. Он брюзглив, капризен — не спорю; но когда дело дойдет до высшего благородства, тут-то он и засияет, как перл... именно, как перл. Это ты все оттого, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем благородстве... Но, боже мой! если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то... я уж и не знаю, что тогда будет, Сергей! Чему же остается и верить на свете? Но нет, он не может быть таким подлецом. Я подметки его не стою! Не качай головой, братец: это правда — не стою!

— Егор Ильич! маменька об вас беспокоятся-с, — раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая, веро-

ятно, успела подслушать в открытое окно весь наш разговор. — Вас по всему дому ищут-с и не могут найти-с.

— Боже мой, опоздал! Беда! — всполошился дядя. — Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи туда! Я ведь за этим и забежал к тебе, чтоб вместе пойти... Бегу, бегу, Анна Ниловна, бегу!

Оставшись один, я вспомнил о моей встрече давеча с Настенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде: я бы расстроил его еще более. Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю: несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе.

Однако ж надо было спешить. Я считал себя обязанным помогать ему и тотчас же начал одеваться; но как ни спешил, желая одеться получше, замешкался. Вошел Мизинчиков.

— Я за вами, — сказал он, — Егор Ильич вас просит немедленно.

— Идем!

Я был уже совсем готов. Мы пошли.

— Что там нового? — спросил я дорогою.

— Все у Фомы, в сборе, — отвечал Мизинчиков, — Фома не капризничает, что-то задумчив и мало говорит, сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Еще давеча через Перепелицыну объявил, чтоб не поздравляли его с именинами и что он только хотел испытать... Старуха хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. О нашей истории никто ни полслова, как будто ее и не было; молчат, потому что Фома молчит. Он все утро не пускал к себе никого, хотя старуха давеча без нас всеми святыми молила, чтоб он к ней пришел для совещаний, да и сама ломилась к нему в дверь; но он заперся и отвечал, что молится за род человеческий или что-то в этом роде. Он что-то затевает: по лицу видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и находится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фомича: настоящий ребенок! Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали за вами.

— А Татьяна Ивановна?

— Что Татьяна Ивановна?

— Она там же? с ними?

— Нет; она в своей комнате, — сухо отвечал Мизинчиков. — Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится. У ней, кажется, теперь эта... гувернантка. Что это? гроза никак собирается. Смотрите, на небе-то!

— Кажется, гроза, — отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу.

В это время мы всходили на террасу.

— А признайтесь, каков Обноскин-то, — продолжал я, не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизинчикова.

— Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом подлеце! — вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топнув ногою. — Дурак! дурак! Погубить такое превосходное дело, такую светлую мысль! Послушайте: я, конечно, осел, что просмотрел его плутни, — я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но клянусь вам, если б он сумел все это обделать как следует, я бы, может быть, и простил его! Дурак, дурак! И как держат, как терпят таких людей в обществе! Как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу! Но врут! им меня не перехитрить! Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль... Согласитесь сами: неужели ж терять свое потому только, что какой-то посторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это несправедливо! И наконец, этой Татьяне непременно надо выйти замуж — это ее назначение. И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам сообщу мою новую мысль...

— Но, вероятно, после, — прервал я его, — потому что мы вот и пришли.

— Хорошо, хорошо, после! — отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. — А теперь... Но куда ж вы? Говорю вам: прямо к Фоме Фомичу! Идите за мной; вы там еще не были. Увидите другую комедию... Так как уж дело пошло на комедии...

### III

#### ИЛЮША ИМЕНИННИК

Фома занимал две большие и прекрасные комнаты; они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие, красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мягкая, щегольская мебель — все свидетельствовало о нежной внимательности хозяев к Фоме Фомичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находился большой стол, покрытый красным сукном, весь заложённый книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая чернильница и куча перьев, которыми заведовал Видоплясов, — все это вместе должно было свидетельствовать о тугих умственных работах Фомы Фомича. Скажу здесь кстати, что Фома, про-

сидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного. Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи; все они оказались необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами; потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться, и, наконец, повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченную. Больше ничего не осталось. А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразрезанными. Я же, впоследствии, не один раз заставлял Фому за Поль-де-Кокком, которого он прятал при людях куда-нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная дверь, которая вела во двор дома.

Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном кресле, в каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-таки без галстука. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня. Я поклонился; он отвечал мне легким поклоном, впрочем, довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мной благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бедная, и не ожидала поутру, что ее нещечко так покойно примет известие о «пассаже» с Татьяной Ивановной, и потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней действительно происходили корчи и обмороки. За столом ее, по обыкновению, стояла девица Перепелицына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои костлявые руки одну о другую. Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки, из благородных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка и одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, заехавшая от обедни поздравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка Прасковья Ильинична уничтожалась где-то в уголку, с беспокойством смотря на Фому Фомича и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной красной рубашечке, с завитыми кудряшками, хорошенький, как ангелочек. Саша и Настенька тихонько от всех выучили его каким-то стихам, чтоб обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия: неожиданная кротость Фомы, веселость генеральши, именины Илюши, стихи — все это привело его в настоящий восторг, и он торжественно просил послать за мной, чтоб и я тоже поскорее разделил всеобщее

счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, вошедшая почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту была счастлива как дитя. Настенька, глядя на нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла, за минуту назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый Илюша как будто тоже не мог удержаться от смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое приготовили какую-то пресмешную шутку, которую теперь и хотели разыграть... Я и забыл про Бахчеева. Он сидел поодаль, на стуле, все еще сердитый и красный, молчал, дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семейном празднике. Возле него семенил Ежевикин; впрочем, он семенил и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице Перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичом, — словом, попевал везде. Он тоже с великим сочувствием ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко мне с поклонами, в знак величайшего уважения и преданности. Вовсе не видно было, что он приехал сюда защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова.

— Вот и он! — радостно вскричал дядя, увидев меня. — Илюша, брат, стихи приготовил — вот неожиданность, настоящий сюрприз! Я, брат, поражен и нарочно за тобой послал и стихи остановил до прихода... Садись-ка возле! Послушаем. Фома Фомич, да ты уж признайся, братец, ведь уж, верно, ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать? Присягну, что так!

Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то, казалось бы, все обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя неспособен был угадать по лицу, как выразился Мизинчиков; а взглянув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизинчиков прав и что надо было чего-нибудь ожидать...

— Не беспокойтесь обо мне, полковник, — отвечал Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам своим. — Сюрприз я, конечно, хвалю: это изображает чувствительность и благонравие ваших детей. Стихи тоже полезны, даже для произношения... Но я не стихами был занят это утро, Егор Ильич: я молился... вы это знаете... Впрочем, готов выслушать и стихи.

Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его.

— Именно, Фома, извини! Я забыл... хоть и уверен в твоей дружбе, Фома! Да поцелуй его еще раз, Сережа! Смотри, какой мальчуган! Ну, начинай, Илюшка! Про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная, из Ломоносова что-нибудь?

И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости.

— Нет, папочка, не из Ломоносова, — сказала Сашенька, едва подавляя свой смех, — а так как вы были военный и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про военное... Осаду Памбы, папочка.

— Осада Памбы? а! не помню... Что это за Памба, ты знаешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое.

И дядя приосанился в другой раз.

— Говори, Илюша! — скомандовала Сашенька.

Девять лет, как Педро Гомец... —

начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и без точек, как обыкновенно сказывают маленькие дети заученные стихи, —

Девять лет, как Педро Гомец  
Осаждает замок Памбу,  
Молоком одним питаюсь,  
И все войско дона Педра,  
Девять тысяч кастильянцев,  
Все по данному обету  
Ниже хлеба не снедают,  
Пьют одно лишь молоко.

— Как! что? Что это за молоко? — вскричал дядя, смотря на меня в изумлении.

— Читай дальше, Илюша, — вскричала Сашенька.

Всякий день дон Педро Гомец  
О своем бессилье плачет,  
Закрываясь епанчою.  
Настает уж год десятый;  
Злые мавры торжествуют;  
А от войска дона Педра  
Всего-навсего осталось  
Девятнадцать человек...

— Да это галиматья! — вскричал дядя с беспокойством, — ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать человек от всего войска осталось, когда прежде был, даже и весьма значительный, корпус! Что ж это, братец, такое?

Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом; и хоть смешного было вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться.

— Это, папочка, шуточные стихи, — вскричала она, ужасно радуясь своей детской затее, — это уж нарочно так, сам сочинитель сочинил, чтоб всем смешно было, папочка.



— А! шуточные! — вскричал дядя с просиявшим лицом, — комические то есть! То-то я смотрю... Именно, именно, шуточные! И пресмешно, чрезвычайно смешно: на молоке всю армию поморил, по обету какому-то! Очень надо было давать такие обеты! Очень остроумно — не правда ль, Фома? Это, видите, маменька, такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители, — не правда ли, Сергей, ведь пишут? Чрезвычайно смешно! Ну, ну, Илюша, что ж дальше?

Девятнадцать человек!  
Их собрал дон Педро Гомец  
И сказал им: «Девятнадцать!  
Разовьем свои знамена,  
В трубы громкие зыграем  
И, ударивши в литавры,  
Прочь от Памбы мы отступим!  
Хоть мы крепости не взяли,  
Но поклясться можем смело  
Перед совестью и честью,  
Не нарушили ни разу  
Нами данного обета:  
Целых девять лет не ели,  
Ничего не ели ровно,  
Кроме только молока!»

— Экой фофан! чем утешается, — прервал опять дядя, — что девять лет молоко пил!.. Да какая ж тут добродетель? Лучше бы по целому барану ел, да людей не морил! Прекрасно, превосходно! Вижу, вижу теперь: это сатира, или... как это там называется, аллегория, что ль? и, может быть, даже на какого-нибудь иностранного полководца, — прибавил дядя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищуриваясь, — а? как ты думаешь? Но только, разумеется, невинная, благородная сатира, никого не обижаящая! Прекрасно! прекрасно! и, главное, благородно! Ну, Илюша, продолжай! Ах вы, шалуны, шалуны! — прибавил он, с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась.

Ободренные сей речью,  
Девятнадцать кастильянцев,  
Все, качаяся на седлах,  
В голос слабо закричали:  
«Санкто Яго Компостелло!  
Честь и слава дону Педру!  
Честь и слава Льву Кастильи!»  
А каплан его, Диего,

Так сказал себе сквозь зубы:  
«Если б я был полководцем,  
Я б обет дал есть лишь мясо,  
Запивая сантуринским!»

— Ну вот! Не то же ли я говорил? — вскричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. — Один только человек во всей армии благородный нашелся, да и тот какой-то каплан! Это кто ж такой, Сергей: капитан ихний, что ли?

— Монах, духовная особа, дядюшка.

— А, да, да! Каплан, капеллан? Знаю, помню! еще в романах Радклиф читал. Там ведь у них разные ордена, что ли?.. Бенедиктинцы, кажется... Есть бенедиктинцы-то?..

— Есть, дядюшка.

— Гм!.. Я так и думал. Ну, Илюша, что ж дальше? Прекрасно, превосходно!

И, услышав то, дон Педро  
Произнес со громким смехом:  
«Подарить ему барана;  
Он изрядно подшутил!..»

— Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому наконец смешно стало! Барана! Стало быть, были же бараны; чего ж он сам-то не ел? Ну, Илюша, дальше! Прекрасно, превосходно! Необыкновенно колко!

— Да уж кончено, папочка!

— А! кончено! В самом деле, чего ж больше оставалось и делать, — не правда ль, Сергей? Превосходно, Илюша! Чудо как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах ты, мой милый! Да кто именно его надоумил: ты, Саша?

— Нет, это Настенька. Намедни мы читали. Она прочла, да и говорит: «Какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник: заставим его выучить да рассказать. То-то смеху будет!»

— Так это Настенька? Ну, благодарю, благодарю, — пробормотал дядя, вдруг весь покраснев как ребенок. — Поцелуй меня еще раз, Илюша! Поцелуй меня и ты, шалунья, — сказал он, обнимая Сашеньку и с чувством смотря ей в глаза.

— Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница, — прибавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удовольствия. Я обратился к Настеньке и спросил ее: чьи стихи?

— Да, да! чьи стихи? — всполошился дядя. — Должно быть, умный поэт написал, — не правда ль, Фома?

— Гм!.. — промычал Фома под нос.

Во все время чтения стихов едкая, насмешливая улыбка не покидала губ его.

— Я, право, забыла, — отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому Фомича.

— Это господин Кузьма Прутков написал, папочка, в «Современнике» напечатано, — выскочила Сашенька.

— Кузьма Прутков! не знаю, — проговорил дядя. — Вот Пушкина так знаю!.. Впрочем, видно, что поэт с достоинствами, — не правда ль, Сергей? И, сверх того, благороднейших свойств человек — это ясно, как два пальца! Даже, может быть, из офицеров... Хвалю! А превосходный журнал «Современник»! Непременно надо подписываться, коли все такие поэты участвуют... Люблю поэтов! Славные ребята! все в стихах изображают! Помнишь, Сергей, я видел у тебя, в Петербурге, одного литератора. Еще какой-то у него нос особенный... право!.. Что ты сказал, Фома?

Фома Фомич, которого разбирало все более и более, громко захихикал.

— Нет, я так... ничего-с... — проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. — Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте! Я после мое слово скажу... Вот и Степан Алексеич с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербургскими литераторами...

Степан Алексеевич, все время сидевший поодаль, в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле.

— Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь! — сказал он, гневно смотря на Фому своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Мне что твоя литература? Дай только Бог мне здоровья, — пробормотал он себе под нос, — а там хоть бы всех... и с сочинителями-то... волтерьянцы, только и есть!

— Сочинители волтерьянцы-с? — проговорил Ежевикин, медленно очутившись подле господина Бахчеева. — Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеич. Так и Валентин Игнатьич отзываться наемни изволили. Меня самого волтерьянцем обозвали — ей-богу-с; а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с... то есть крынка молока у бабы скиснет — все господин Вольтер виноват! Все у нас так-с.

— Ну, нет! — заметил дядя с важностью, — это ведь заблуждение! Вольтер был только острый писатель; смеялся над предрассудками; а волтерьянцем никогда не бывал! Это все про него враги распустили. За что ж, в самом деле, все на него, бедняка?..

Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился.

— Нет, я, видишь, Фома, все про журналы, — проговорил он с смущением, желая как-нибудь поправиться. — Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда, намедни, внушал, что надо подписываться. Я и сам думаю, что надо! Гм... что ж, в самом деле, просвещение распространяют! Не то, какой же будешь сын отечества, если уж на это не подписаться? не правда ль, Сергей? Гм!.. да!.. вот хоть «Современник»... Но знаешь, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том толстом журнале, как бишь его? еще в желтой обертке...

— «Отечественные записки», папочка.

— Ну да, «Отечественные записки», и превосходное название, Сергей, — не правда ли? так сказать, все отечество сидит да записывает... Благороднейшая цель! преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс! А науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат... Намедни прихожу — лежит книга; взял, из любопытства, развернул да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул! И знаешь, обо всем толкование: что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват? По-моему, метла так метла и есть; ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло... Вот оно как! До всего дошли!

Не знаю, что именно приготавливался сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила и, понуриив голову, стал у порога.

Фома Фомич значительно взглянул на него.

— Готово, Гаврила? — спросил он слабым, но решительным голосом.

— Готово-с, — грустно отвечал Гаврила и вздохнул.

— И узелок мой положил на телегу?

— Положил-с.

— Ну, так и я готов! — сказал Фома и медленно приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством озиралась кругом.

— Позвольте мне теперь, полковник, — с достоинством начал Фома, — просить вас оставить на время интересную тему о литературных ухватах; вы можете продолжать ее без меня. Я же, *прощаясь с вами навеки*, хотел бы вам сказать несколько последних слов...

Испуг и изумление оковали всех слушателей.

— Фома! Фома! да что это с тобою? Куда ты собираешься? — вскричал наконец дядя.

— Я собираюсь покинуть ваш дом, полковник, — проговорил Фома самым спокойным голосом. — Я решился идти куда глаза глядят и потому нанял на свои деньги простую, мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок; он не велик: несколько любимых книг, две перемены белья — и только! Я беден, Егор Ильич, но ни за что на свете не возьму теперь вашего золота, от которого я еще и вчера отказался!..

— Но, ради бога, Фома? что ж это значит? — вскричал дядя, побледнев как платок.

Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на Фому Фомича, протянув к нему руки. Девушка Перепелицына бросилась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих местах. Господин Бахчевев тяжело поднялся со стула.

— Ну, началась история! — прошептал подле меня Мизинчиков.

В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома: начиналась гроза.

#### IV

#### ИЗГНАНИЕ

— Вы, кажется, спрашиваете, полковник: «что это значит?» — торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь всеобщим смущением. — Удивляюсь вопросу! Разъясните же мне, с своей стороны, каким образом *вы* в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза? разъясните мне эту последнюю психологическую задачу из человеческого бесстыдства, и тогда я уйду, по крайней мере обогащенный новым познанием об испорченности человеческого рода.

Но дядя не в состоянии был отвечать: он смотрел на Фому испуганный и уничтоженный, раскрыв рот, с выкатившимися глазами.

— Господи! какие страсти-с! — простонала девушка Перепелицына.

— Понимаете ли, полковник, — продолжал Фома, — что вы должны отпустить меня теперь, просто и без расспросов? В вашем доме даже я, человек пожилой и мыслящий, начинаю уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. Поверьте, что ни к чему не поведут расспросы, кроме вашего же посрамления.

— Фома! Фома!.. — вскричал дядя, и холодный пот показался на лбу его.

— И потому позвольте без объяснений сказать вам только несколько прощальных и напутственных слов, последних слов моих

в вашем, Егор Ильич, доме. Дело сделано, и его не воротишь! Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело я говорю. Но умоляю вас на коленях: если в сердце вашем осталось хотя искра нравственности, обуздайте стремление страстей своих! И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то, по возможности, потушите пожар!

— Фома! уверяю тебя, что ты в заблуждении! — вскричал дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку.

— Умерьте страсти, — продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто и не слыжав восклицания дяди, — побеждайте себя. «Если хочешь победить весь мир — победи себя!» Вот мое всегдашнее правило. Вы помещик; вы должны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях, и какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим! Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели...

— Но это невозможно же, Фома! — снова прервал его дядя, — ты не так понял и не то совсем говоришь...

— Итак, вспомните, что вы помещик, — продолжал Фома, опять не слыжав восклицания дяди. — Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания. Пагубная мысль! Не отдых, а забота, и забота перед Богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его!

— Что ж, я пахать за мужика, что ли, стану? — проворчал Бахчевев, — ведь и я помещик...

— К вам теперь обращаюсь, домашние, — продолжал Фома, обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей, — любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью. За это возлюбят вас и господа ваши. А вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек — образ Божий, так сказать, малолетний, врученный вам, как дитя, царем и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша!

— Фома Фомич! голубчик! что ты это задумал? — в отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от ужаса.

— Ну, довольно, кажется? — закричал Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. — Теперь о подробностях; положим, они мелки, но необходимы, Егор Ильич! В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте: скошите и скошите скорей. Таков совет мой...

— Но, Фома...

— Вы хотели, — я знаю это, рубить зырянский участок лесу; не рубите — другой совет мой. Сохраните леса: ибо леса сохра-

няют влажность на поверхности земли... Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое; удивительно, как поздно сеяли вы яровое!..

— Но, Фома...

— Но, однако ж, довольно! Всего не передашь, да и не время! Я пришлю к вам наставление письменное, в особой тетрадке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с вами, и да благословит вас Господь! Благословляю и тебя, дитя мое, — продолжал он, обращаясь к Илюше, — и да сохранит тебя Бог от тлетворного яда будущих страстей твоих! Благословляю и тебя, Фалалей; забудь комаринского!.. И вас, и всех... Помните Фому... Ну, пойдем, Гаврила! Посади меня, старичок.

И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и бросилась за ним.

— Нет, Фома! я не пушу тебя так! — вскричал дядя и, догнав его, схватил его за руку.

— Значит, вы хотите действовать насилием? — надменно спросил Фома.

— Да, Фома... и насилием! — отвечал дядя, дрожа от волнения. — Ты слишком много сказал и должен разъяснить! Ты не так прочел мое письмо, Фома!..

— Ваше письмо! — взвизгнул Фома, мгновенно воспламеняясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва, — ваше письмо! Вот оно, ваше письмо! вот оно! Я рву это письмо, я плюю на это письмо! я топчу ногами своими ваше письмо и исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям! Видите! видите! видите!..

И клочки бумаги разлетелись по комнате.

— Повторяю, Фома, ты не понял! — кричал дядя, бледнея все более и более, — я предлагаю руку, Фома, я ищу своего счастья!..

— Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, предлагая ей руку; ибо я видел вас вчера с ней ночью в саду, под кустами!

Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в кресло. Поднялась ужасная суматоха. Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая. Испуганная Сашенька, обхватив Илюшу, дрожала как в лихорадке.

— Фома! — вскричал дядя в испуге. — Если ты распространяешь эту тайну, то ты сделаешь самый подлеший поступок в мире!

— Я распространю эту тайну, — визжал Фома, — и сделаю наиболее благороднейший из поступков! Я на то послан самим Богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях! Я готов взобраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем проезжающим!.. Да, знай-

те все, все, что вчера, ночью, я застал его с этой девицей, имеющей наивиннейший вид, в саду, под кустами!..

— Ах, какой срам-с! — пропищала девица Перепелицына.

— Фома! не губи себя! — кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами.

— ...А он, — визжал Фома, — он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать меня лживым письмом, меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению — да, преступлению!.. ибо из наивиннейшей доселе девицы вы сделали...

— Еще одно оскорбительное для нее слово, и — я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом!..

— Я говорю это слово, ибо из наивиннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц!

Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, повернул, как соломинку, и с силою бросил его на стеклянную дверь, ведущую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, что притворенные двери растворились настежь, и Фома, слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом разлетелись по ступеням крыльца.

— Гаврила, подбери его! — вскричал дядя, бледный как мертвец, — посади его на телегу, и чтоб через две минуты духу его не было в Степанчикове!

Что бы ни замышлял Фома Фомич, но уж, верно, не ожидал подобной развязки.

Не берусь описывать то, что было в первые минуты после такого пассажа. Раздирающий душу вопль генеральши, покотившейся в кресле; столбняк девицы Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди; ахи и охи приживалок; испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отец; обезумевшая от страха Сашенька; дядя, в невыразимом волнении шагавший по комнате и дожидавшийся, когда очнется мать; наконец, громкий плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, — все это составляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна.

— Вот-те и праздничек! — пробормотал господин Бахчеев, нагнув голову и растопырив руки.

— Дело худо! — шепнул я ему, тоже вне себя от волнения, — но, по крайней мере, прогнали Фомича и уж не воротят.

— Маменька! опомнились ли вы? легче ли вам? можете ли вы наконец меня выслушать? — спросил дядя, остановясь перед креслом старухи.



Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом смотрела на сына, которого еще никогда в жизни не видала в таком гневе.

— Маменька! — продолжал он, — чаша переполнена, вы сами видели. Не так хотел я изложить это дело, но час пробил, и откладывать нечего! Вы слышали клевету, выслушайте же и оправдание. Маменька, я люблю эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу, люблю давно и не разлюблю никогда. Она осчастливит детей моих и будет для вас самой почтительной дочерью, и потому теперь, при вас, в присутствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись быть моею женою!

Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит, и вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним на колени.

— Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фому Фомича! — закричала она, — сейчас вороти! не то я к вечеру же помру без него!

Дядя остолбенел, видя старуху мать, своевольную и капризную, перед собой на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его; наконец, опомнившись, бросился он подымать ее и усаживать опять в кресло.

— Вороти Фому Фомича, Егорушка! — продолжала вопить старуха, — вороти его, голубчика! Жить без него не могу!

— Маменька! — горестно вскричал дядя, — или вы ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил? Я не могу воротить Фому — поймите это! не могу и не вправе, после его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести и добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что честь моя повелевает мне теперь восстановить добродетель! Вы слышали: я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтоб вы благословили союз наш.

Генеральша опять сорвалась с своего места и бросилась на колени перед Настенькой.

— Матушка моя! родная ты моя! — завизжала она, — не выходи за него замуж! не выходи за него, а упроси его, матушка, чтоб воротил Фому Фомича! Голубушка ты моя, Настасья Евграфовна! все тебе отдам, всем тебе пожертвую, коли за него не выйдешь. Я еще не все, старуха, прожила, у меня еще остались крохи после моего покойничка. Все твое, матушка, всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не клади меня живую во гроб, упроси Фому Фомича воротить!..

И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепелицына и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее

подымать, негодую, что она на коленях перед нанятой гувернанткой. Настенька едва устояла на месте от испуга, а Перепелицына даже заплакала от злости.

— Смертью уморите вы маменьку-с, — кричала она дяде, — смертью уморят-с! А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы ссорить маменьку-с с ихним сыном-с; это и Господь Бог запрещает-с...

— Анна Ниловна, удержите язык! — вскричал дядя. — Я довольно терпел!..

— Да и я довольно от вас натерпелась-с. Что вы сиротством моим меня попрекаете-с? Долго ли обидеть сироту? Я еще не ваша раба-с! Я сама подполковничья дочь-с! Ноги моей не будет-с в вашем доме, не будет-с... сегодня же-с!..

Но дядя не слушал: он подошел к Настеньке и с благоговением взял ее за руку.

— Настасья Евграфовна! вы слышали мое предложение? — проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием.

— Нет, Егор Ильич, нет! уж оставим лучше, — отвечала Настенька, в свою очередь совершенно упав духом. — Это все пустое, — продолжала она, сжимая его руки и заливаясь слезами. — Это вы после вчерашнего так... но не может этого быть, вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич... А я о вас всегда буду помнить, как о моем благодетеле и... и вечно, вечно буду молиться за вас!

Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно, предчувствовал этот ответ; он даже и не думал возражать, настаивать... Он слушал, наклонясь к ней, все еще держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах его.

— Я еще вчера сказала вам, — продолжала Настя, — что не могу быть вашей женою. Вы видите: меня не хотят у вас... а я все это давно, уж заранее предчувствовала; маменька ваша не даст нам благословения... *другие* тоже. Вы сами, хоть и не раскаетесь потом, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки будете несчастны из-за меня... с вашим добрым характером...

— Именно с *добрым характером-с!* именно *добренькие-с!* так, Настенька, так! — поддакнул старик отец, стоявший по другую сторону кресла, — именно, вот это-то вот словечко и надо было упомянуть-с.

— Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме, — продолжала Настенька. — А обо мне не беспокойтесь, Егор Ильич: меня никто не тронет, никто не обидит... я пойду к папеньке... сегодня же... Лучше уж простимся, Егор Ильич...

И бедная Настенька опять залилась слезами.

— Настасья Евграфовна! неужели это последнее ваше слово? — проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. — Скажите одно только слово — и я жертвую вам всем!..

— Последнее, последнее, Егор Ильич-с, — подхватил опять Ежевикин, — и она вам так хорошо это все объяснила, что я даже, признаться, и не ожидал-с. Наидобрейший вы человек, Егор Ильич, именно наидобрейший-с, и чести нам много изволили оказать-с! много чести, много чести-с!.. А все-таки мы вам не пара, Егор Ильич. Вам нужно такую невесту, Егор Ильич, чтоб была и богатая, и знатная-с, и раскрасавица-с, и с голосом тоже была бы-с, и чтоб вся в бриллиантах да в страусовых перьях по комнатам вашим ходила-с... Тогда и Фома Фомич, может, уступочку сделают-с... и благословят-с! А Фому-то Фомича вы воротите-с. Напрасно, напрасно изволили его так избидеть-с! он ведь из добродетели, от излишнего жару-с так наговорил-с... Сами будете потом говорить-с, что из добродетели, — увидите-с! Наидостойнейший человек-с. А вот теперь перемокнет-с... Уж лучше бы теперь воротить-с... потому что ведь придется же воротить-с...

— Вороти! вороти его! — закричала генеральша, — он, голубчик мой, правду тебе говорит!..

— Да-с, — продолжал Ежевикин, — вот и родительница ваша убиваться изволят — понапрасну-с... Воротите-ка-с! А мы уж с Настей тем временем и в поход-с...

— Подожди, Евграф Ларионыч! — вскричал дядя, — умоляю! Еще одно слово будет, Евграф, одно только слово...

Сказав это, он отошел, сел в углу, в кресло, склонил голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая.

В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Все здание потряслось. Генеральша закричала, Перепелицына тоже, приживалки крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и господин Бахчеев.

— Батюшка, Илья-пророк! — прошептали пять или шесть голосов, все вместе, разом.

Вслед за громом полился такой страшный ливень, что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым.

— А Фома-то Фомич, что с ним теперь в поле-то будет-с? — пропищала девица Перепелицына.

— Егорушка, вороти его! — вскричала отчаянным голосом генеральша и, как безумная, бросилась к дверям. Ее удержали приживалки; они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Сodom был ужаснейший!

— В одном сюртуке пошли-с; хоть бы шинельку-то взяли с собой-с! — продолжала Перепелицына. — Зонтика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молоньей-то-с!..

— Непременно убьет! — подхватил Бахчеев, — да еще и дождиком потом смочит.

— Хоть бы вы-то молчали! — прошептал я ему.

— Да ведь он человек али нет? — гневно отвечал мне Бахчеев. — Ведь не собака. Небось сам-то не выйдешь на улицу. Ну-тка, поди, покупайся, для плезиру.

Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле.

— Дядюшка, — сказал я, наклоняясь к его уху, — неужели вы согласитесь воротить Фому Фомича? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере покамест здесь Настасья Евграфовна.

— Друг мой, — отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза, — я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать! Не беспокойся, обиды Насте не будет — я так устрою...

Он встал со стула и подошел к матери.

— Маменька! — сказал он, — успокойтесь: я ворочу Фому Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъехать. Но клянусь, он воротится только на единственном условии: здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого! Я его заставлю!.. Иначе он не перейдет через порог этого дома! Клянусь вам тоже, маменька, торжественно: если он согласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему все, все, что могу отдать, не обижая детей моих! Сам же я, с сего же дня, от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моего счастья! Я оставляю Степанчиково. Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк — и в бурях брани, на поле битвы, проведу отчаянную судьбу мою... Довольно! еду!

В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи, до невозможности, предстал перед смятенною публикой.

— Что с тобой? откуда? Где Фома? — вскричал дядя, бросаясь к Гавриле.

За ним бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы.

— У березняка оставил, версты полторы отсюда, — начал он плачевным голосом. — Лошадь молоньи испужалась и в канаву бросилась.

— Ну... — вскричал дядя.

— Телега перевалилась...

— Ну... а Фома?

— В канаву упали-с.

— Да ну же, досказывай, истязатель!

— Бок отшибли-с и заплакали-с. Я лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложить-с.

— А Фома там остался?

— Встал и пошел себе дальше с палочкой, — заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову.

Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы.

— Полкана! — закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали; дядя вскочил на него, неоседланного, и чрез минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичом. Дядя ускакал даже без фуражки.

Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебца-с «с утра в рот не брали-с и что они теперь на тощак-с». Девица Перепелицына нашла забытые очки, в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект: генеральша бросилась на них с воплями и слезами и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло, наконец, до самой последней степени напряжения... В другом углу Сашенька утешала Настю: они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подошел к нему.

— Нет, батюшка, — сказал он мне, — Фома-то Фомич, пожалуй бы, и удалился отсюда, да время еще тому не пришло: золоторогих быков еще под экипаж ему не достали! Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется!

Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения.

Вдруг раздалось: «Ведут! ведут!» — и дамы с визгом побросались к дверям. Не прошло еще десяти минут после отъезда дяди: казалось, невозможно бы так скоро привезти Фому Фомича; но загадка объяснилась потом очень просто: Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно «пошел себе с палочкой»; но, почувствовав себя в совершенном уединении, среди бури, грома и ливня, препостыдно струсил, повернул в Степанчиково и побежал вслед

за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу; сбежались мужики и посадили в нее присмирившего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая: хотели тотчас же тащить его наверх, чтоб переменить белье; кричали о бузине и о других крепительных средствах, металась во все стороны без всякого толку; говорили все зараз... Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает: поднялся ужаснейший вой; но более всех ревел Фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы немедленно поцеловать у него ручку...

## V

ФОМА ФОМИЧ  
СОЗИДАЕТ ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ

— Куда это меня привели? — проговорил наконец Фома голосом умирающего за правду человека.

— Проклятая размазня! — прошептал подле меня Мизинчиков, — точно не видит, куда его привели. Вот ломаться-то теперь будет!

— Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! — вскричал дядя. — Ободрись, успокойся! И, право, переменял бы ты теперь костюм, Фома, а то заболеешь... Да не хочешь ли подкрепиться — а? так, эдак... рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб согреться...

— Малаги бы я выпил теперь, — простонал Фома, снова закрывая глаза.

— Малаги? навряд ли у нас и есть! — сказал дядя, с беспокойством смотря на Прасковью Ильиничну.

— Как не быть! — подхватила Прасковья Ильинична, — целые четыре бутылки остались, — и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенье. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования.

— Малаги захотел! — проворчал он чуть не вслух. — И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, проклятые! Ну, я-то чего тут стою? чего я-то тут жду?

— Фома! — начал дядя, сбиваясь на каждом слове, — вот теперь... когда ты отдохнул и опять вместе с нами... то есть, я хотел

сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание...

— Где, где она, моя невинность? — подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду, — где золотые дни мои? где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? где, где это время? Воротите мне мою невинность, воротите ее!..

И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчевев готов был лопнуть от гнева.

— Эх чего захотел! — проворчал он с яростью. — Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и теперь! присягну, что был.

— Фома!.. — начал было опять дядя.

— Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека? — кричал Фома, — когда я обнимался с человеком и плакал на груди его? а теперь — где я? где я?

— Ты у нас, Фома, успокойся! — крикнул дядя, — а я вот что хотел тебе сказать, Фома...

— Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с, — прошипела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.

— Где я? — продолжал Фома, — кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же ты такое? Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умален, избит, и когда засыпят песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом!

— Батюшки, о монументах заговорил! — прошептал Ежевкин, сплеснув руками.

— О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома, — не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо!

— Фома! — прервал дядя, — полно! успокойся! нечего говорить о монументах. Ты только послушай... Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за черту добродетели — уверяю тебя, ты ошибся, Фома...

— Да перестанете ли вы-с? — запищала опять Перепелицына, — убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, потому что они в ваших руках-с?..

Вслед за Перепелицыной встrepенулась и генеральша, а за ней и вся ее свита; все замахали на дядю руками, чтоб он остановился.

— Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю! — с твердостью отвечал дядя. — Это дело святое! дело чести и справедливости. Фома! ты рассудителен, ты должен сей же час испросить прощение у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил.

— У какой девицы? какую девицу я оскорбил? — проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто совершенно забыв все происшедшее и не понимая, о чем идет дело.

— Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей, благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда...

— Кого же я оскорбил? — вопил Фома, — какую девицу? Где она? где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице!..

В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.

— Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений! к чему это все? — говорила она умоляющим голосом. — Бросьте это!..

— А! Теперь я припоминаю! — вскричал Фома. — Боже! я припоминаю! О, помогите, помогите мне припоминать! — просил он, по-видимому, в ужасном волнении. — Скажите: правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли, правда ли это?

Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу.

— Так, так! — твердил он, — я припоминаю... я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сюда, преследуемый громом, чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навеки! Приподымите меня! Как ни слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность.

Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в положение оратора и протянул свою руку.

— Полковник! — вскричал он, — теперь я очнулся совсем; гром еще не убил во мне умственных способностей; осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца... Но что до этого! И какое кому дело до правого уха Фомы!

Последним словам своим Фома придавал столько печальной иронии и сопровождал их такою жалобною улыбкою, что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего понемногу уничтожаться перед таким согласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков



плюнул и отошел к окну. Бахчеев все сильнее и сильнее подталкивал меня локтем; он едва стоял на месте.

— Теперь слушайте же все мою исповедь! — возопил Фома, обводя всех гордым и решительным взглядом, — а вместе с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич! давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего сердца и видел все, все, тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю за вами. Полковник! я, может быть, ошибался, но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?

— Фома, Фома!.. ты, впрочем, не очень распространяйся, Фома! — вскричал дядя, с беспокойством смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки.

— Не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня, — продолжал Фома, как будто и не слышав предостережения дяди. — Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как вешняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от гибели». Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поручи, но кто мог мне поручиться за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвовать для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиболее благороднейшей из девиц...

— Фома! неужели ты мог это подумать? — вскричал дядя.

— С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он расскажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел все в черном цвете, и это был не тот «черный цвет», о котором поется в известном романсе, — будьте уверены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание удалить *ее* из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то и видели вы меня во все последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий. О! кто примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчееву, требуя от него астрономии; но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязанность предупредить несчаст-

тие, что я поставлен, что я произведен для этого, — и что же? вы не поняли наиболее благороднейших побуждений души моей и платили мне во все это время злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями...

— Фома! если так... конечно, я чувствую... — вскричал дядя в чрезвычайном волнении.

— Если вы действительно чувствуете, полковник, то благово-лите дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался о судьбе и счастье этого дитяти; ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мнительности. Я готов был кидаться на людей и терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что все поступки ваши, как нарочно, поминутно подтверждали мою мнительность и удостоверяли меня во всех подозрениях моих? Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим золотом, чтоб удалить меня от себя, я подумал: «Он удаляет от себя в лице моем свою совесть, чтоб удобнее совершить преступление...»

— Фома, Фома! неужели ты это думал вчера? — с ужасом вскричал дядя. — Господи боже, а я-то ничего и не подозревал!

— Само небо внушило мне эти подозрения, — продолжал Фома. — И решите сами, что мог я подумать, когда слепой случай привел меня в тот же вечер к той роковой скамейке в саду? Что почувствовал я в эту минуту — о боже! — увидев наконец собственными своими глазами, что все подозрения мои оправдались вдруг самым блистательным образом? Но мне еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но все же надежда — и что же? Сегодня утром вы разрушаете ее сами в прах и в обломки! Вы присылаете мне письмо ваше; вы выставляете намерение жениться; умоляете не разглашать... «Но почему же, — подумал я, — почему же он написал именно теперь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко мне, счастливый и прекрасный — ибо любовь украшает лицо, — почему не бросился он тогда в мои объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья и не поведал мне всего, всего?» Или я крокодил, который бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного совета? Или я какой-нибудь отвратительный жук, который бы только укусил вас, а не способствовал вашему счастью? «Друг ли я его или самое гнуснейшее из насекомых?» — вот вопрос, который я задал себе нынче утром! «Для чего, наконец, — думал я, — для чего же выписывал он из столицы своего племянника и сватал его к этой девице, как не для того, чтоб обмануть и нас, и *легкомысленного* племянника, а между тем втайне продолжать преступнейшее

из намерений?» Нет, полковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаимная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только вы! Мало того, вы преступник и перед этой девицей, ибо ее, чистую и благонравную, через вашу же неловкость и эгоистическую недоверчивость вы подвергли клевете и тяжким подозрениям!

Дядя молчал, склонив голову: красноречие Фомы, видимо, одержало верх над всеми его возражениями, и он уже сознавал себя полным преступником. Генеральша и ее общество молча и с благоговением слушали Фому, а Перепелицына с злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку.

— Пораженный, раздраженный, убитый, — продолжал Фома, — я заперся сегодня на ключ и молился, да внушит мне Бог правые мысли! Наконец положил я: в последний раз и публично испытать вас. Я, может быть, слишком горячо принялся, может быть, слишком предался моему негодованию; но за благороднейшие побуждения мои вы вышвырнули меня из окошка! Падая из окошка, я думал про себя: «Вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель!» Тут я ударился оземь и затем едва помню, что со мною дальше случилось!

Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему с бутылкой малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильиничны, но Фома величественно отвел рукой и малагу и генеральшу.

— Остановитесь! — вскричал он, — мне надо кончить. Что случилось после моего падения — не знаю. Знаю только одно, что теперь, мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою здесь, чтоб составить ваше обоюдное счастье. Полковник! по многим признакам, которых я не хочу теперь объяснять, я уверился наконец, что любовь ваша была чиста и даже возвышенна, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, как рыцарь Средних веков, готов пролить до капли всю кровь мою, — я решаюсь теперь показать вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин. Протяните мне вашу руку, полковник!

— С удовольствием, Фома! — вскричал дядя, — и так как ты вполне объяснился теперь о чести благороднейшей особы, то... разумеется... вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим раскаянием...

И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что из этого выйдет.

— Дайте и вы вашу руку, — продолжал Фома слабым голосом, раздвигая дамскую сбившуюся около него толпу и обращаясь к Настеньке.

Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела на Фому.

— Подойдите, подойдите, милое мое дитя! Это необходимо для вашего счастья, — ласково прибавил Фома, все еще продолжая держать руку дяди в своих руках.

— Что это он затевает? — проговорил Мизинчиков.

Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фоме и робко протянула ему свою ручку.

Фома взял эту ручку и положил ее в руку дядя.

— Соединяю и благословляю вас, — произнес он самым торжественным голосом, — и если благословение убитого горем страдальца может послужить вам в пользу, то будьте счастливы. Вот как мстит Фома Опискин! Урра!

Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генеральша как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутылкой малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя побледнела, как мертвая, и робко проговорила, что «это нельзя»... — но уже было поздно. Бахчеев первый — надо отдать ему справедливость — подхватил *ура* Фомы Фомича, за ним я, за мною, во весь свой звонкий голосок, Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца; потом Илюша, потом Ежевикин; после всех уж Мизинчиков.

— Ура! — крикнул другой раз Фома, — урра! И на колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшею из матерей! Просите ее благословения, и, если надо, я сам преклоню перед нею колени, вместе с вами...

Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испуганные и, кажется, не понимавшие, что с ними делается, упали на колени перед генеральшей; все столпились около них; но старуха стояла как будто ошеломленная, совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству: он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом уничтожило все ее недоумения. Заливаясь слезами, она проговорила наконец, что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях.

— Фома, Фома!.. — проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать.

— Шампанского! — заревел Степан Алексеевич. — Урра!

— Нет-с, не шампанского-с, — подхватила Перепелицына, которая уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства,

а вместе с тем и последствия, — а свечку Богу зажечь-с, образу помолиться, да образом и благословить-с, как всеми набожными людьми исполняется-с...

Тотчас же все бросились исполнять благоразумный совет; поднялась ужасная суетня. Надо было засветить свечу. Степан Алексеевич подставил стул и полез приставлять свечу к образу, но тотчас же подломил стул и тяжело соскочил на пол, удержавшись, впрочем, на ногах. Нисколько не рассердившись, он тут же с почетом уступил место Перепелицыной. Тоненькая Перепелицына мигом обделала дело: свеча зажглась. Монашенка и приживалки начали креститься и класть земные поклоны. Сняли образ Спасителя и поднесли генеральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и церемония совершилась при набожных наставлениях Перепелицыной, поминутно приговаривавшей: «В ножки-то поклонитесь, к образу-то приложите, ручку-то у мамы поцелуйте-с!» После жениха и невесты к образу почел себя обязанным приложиться и господин Бахчеев, причем тоже поцеловал у ма-тушки-генеральши ручку. Он был в восторге неопisanном.

— Ура! — закричал он снова. — Вот теперь так уж выпьем шампанского!

Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала, но теперь уж слезами радости: союз, благословенный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и приличным и священным, — а главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется с нею на веки веков. Все приживалки, по крайней мере с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя то становился перед матерью на колени и целовал ее руки, то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Ежевикаина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку, Прасковья Ильинична обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней — к ручке. Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым, вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с благоговением смотрел на Фому Фомича, а Фалалей рыдал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все были подавлены чувством. Никто еще не начинал говорить, никто не объяснялся; казалось, все уже было сказано; раздавались только радостные восклицания. Никто не понимал еще, как это все вдруг так скоро и просто устроилось. Знали только одно, что все это сделал Фома Фомич и что это факт насущный и непреложный.

Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким образом, ка-

ким чутьем могла она так скоро, сидя у себя наверху, узнать про любовь и про свадьбу? Она впорхнула с сияющим лицом, со слезами радости на глазах, в обольстительно изящном туалете (наверху она таки успела переодеться) и прямо, с громкими криками, бросилась обнимать Настеньку.

— Настенька, Настенька! ты любила его, а я и не знала, — вскричала она. — Боже! они любили друг друга, они страдали в тишине, втайне! их преследовали! Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи мне всю правду: неужели ты в самом деле любишь этого безумца?

Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.

— Боже, какой очаровательный роман! — и Татьяна Ивановна захопала от восторга в ладоши. — Слушай, Настя, слушай, ангел мой: все эти мужчины, все до единого — неблагодарные, изверги и не стоят нашей любви. Но, может быть, он лучший из них. Подойди ко мне, безумец! — вскричала она, обращаясь к дяде и хватая его за руку, — неужели ты влюблен? неужели ты способен любить? Смотри на меня: я хочу посмотреть тебе в глаза; я хочу видеть, лгут ли эти глаза или нет? Нет, нет, они не лгут: в них сияет любовь. О, как я счастлива! Настенька, друг мой, послушай, ты не богата: я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми, ради бога! Мне не надо, не надо; мне еще много останется. Нет, нет, нет, нет! — закричала она и замахала руками, увидя, что Настя хочет отказаться. — Молчите и вы, Егор Ильич, это не ваше дело. Нет, Настя, я уж так положила — тебе подарить; я давно хотела тебе подарить и только дожидалась первой любви твоей... Я буду смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не возьмешь; я буду плакать, Настя... Нет, нет, нет, и нет!

Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту минуту, по крайней мере, невозможно, даже жаль было ей возражать. На это и не решились, а отложили до другого времени. Она бросилась целовать генеральшу, Перепелицыну — всех нас. Бахчеев почтительнейшим образом протеснился к ней и попросил и у ней ручку.

— Матушка ты моя! голубушка ты моя! прости ты меня, дурака, за давешнее: не знал я твоего золотого сердечка!

— Безумец! я давно тебя знаю, — с восторженной игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алексеевича по носу перчаткой и порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем. Толстяк почтительно посторонился.

— Достойнейшая девица! — проговорил он с умилением. — А нос-то немцу ведь подклеили! — шепнул он мне конфиденциально, радостно смотря мне в глаза.

— Какой нос? какому немцу? — спросил я в удивлении.

— А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки целует, а та слезу платком вытирает. Евдоким у меня починил вчера еще; а давеча, как воротились с погони, я и послал верхового... Скоро привезут. Превосходная вещь!

— Фома! — вскричал дядя, в иступленном восторге, — ты виновник нашего счастья! Чем могу я воздать тебе?

— Ничем, полковник, — отвечал Фома с постной миной. — *Продолжайте не обращать на меня внимания* и будьте счастливы без Фомы.

Он был, очевидно, пикирован: среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли.

— Это все от восторга, Фома! — вскричал дядя. — Я, брат, уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома: я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей не достанет, чтоб удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай и увидишь... Я больше ничего не скажу, Фома.

И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, что бы сильнее могло выразить его мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами.

— Вот они какие ангелы-с! — пропищала, в свою очередь, в похвалу Фоме девица Перепелицына.

— Да, да! — подхватила Сашенька, — я и не знала, что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить. Если б вы знали, как я теперь вас почитаю!

— Да, Фома! — подхватил Бахчеев, — прости и ты меня, дурака! не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич, не только ученый, но и — просто герой! Весь дом мой к твоим услугам. А лучше всего приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра, да уж и с матушкой-генеральшей, да уж и с женихом и невестой, — да чего тут! всем домом ко мне! то есть вот как пообедаем, — заранее не похвалюсь, а одно скажу: только птичьего молока для вас не достану! Великое слово даю!

Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и Настенька и, без дальних слов, крепко обняла его и поцеловала.

— Фома Фомич! — сказала она, — вы наш благодетель; вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить за все это, а только знаю, что буду для вас самой нежной, самой почтительной сестрой...

Она не могла договорить, слезы заглушили слова ее. Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился.

— Дети мои, дети моего сердца! — сказал он. — Живите, цветите и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника! Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье! Скитальцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и кто знает? может быть, через несчастья мои я стану еще добродетельнее! Эта мысль — единственное оставшееся мне утешение!

— Но... куда же ты уйдешь, Фома? — в испуге вскричал дядя. Все вздрогнули и устремились к Фоме.

— Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник? — спросил Фома с необыкновенным достоинством.

Но ему не дали говорить: общие крики заглушили слова его. Его усадили в кресло; его упрасивали, его оплакивали, и уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях его не было выйти из «этого дома», так же как и давеча не было, как не было и вчера, как не было и тогда, когда он копал в огороде. Он знал, что теперь его набожно остановят, уцепятся за него, особенно когда он всех осчастливил, когда все в него снова уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь и за счастье. Но, вероятно, давешнее, малодушное его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало его еще как-нибудь погеройствовать; а главное — предстоял такой соблазн поломаться; можно было так хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не было никакой возможности противиться искушению. Он и не противился; он вырывался от непускавших его; он требовал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб отпустили его на все четыре стороны; что он в «этом доме» был обесчещен, избит; что он воротился для того, чтоб составить всеобщее счастье; что может ли он, наконец, оставаться в «доме неблагодарности и есть щи хотя и сытые, но приправленные побоями»? Наконец он перестал вырываться. Его снова усадили в кресло; но красноречие его не прерывалось.

— Разве не обижали меня здесь? — кричал он, — разве не дразнили меня здесь языком? разве вы, вы сами, полковник, подобно невежественным детям мещан на городских улицах, не показывали мне ежечасно шиши и кукиши? Да, полковник! я стою за это сравнение, потому что если вы и не показывали мне их фи-



зически, то все равно, это были нравственные кукиши; а нравственные кукиши, в иных случаях, даже обиднее физических. Я уже не говорю о побоях...

— Фома, Фома! — вскричал дядя, — не убивай меня этим воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови моей недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же великодушен! забудь, прости и останься созерцать наше счастье! Твои плоды, Фома!..

— ...Я хочу любить, любить человека, — кричал Фома, — а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его! Где этот человек? куда спрятался этот человек? Как Диоген с фонарем, ищу я его всю жизнь и не могу найти, и не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня человеконенавистником! Я кричу: дайте мне человека, чтоб я мог любить его, а мне суют Фалалея! Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже хотел? Нет; почему нет? Потому что он Фалалей. Почему я не люблю человечества? Потому что все, что ни есть на свете, — Фалалей или похоже на Фалалея! Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея, и, если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фалалея! Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель, поди сюда! — закричал он, вдруг обратившись к Фалалею, самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича, — поди сюда! Я докажу вам, полковник, — кричал Фома, притягивая к себе рукой Фалалея, обеспамятевшего от страха, — я докажу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках и кукишах! Скажи, Фалалей, и скажи правду: что видел ты во сне сегодняшнюю ночь? Вот увидите, полковник, увидите ваши плоды! Ну, Фалалей, говори!

Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил кругом отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь своего спасения; но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа.

— Ну же, Фалалей, я жду!

Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул свой рот и заревел, как теленок.

— Полковник! видите ли это упорство? Неужели оно натуральное? В последний раз обращаюсь к тебе, Фалалей, скажи: какой сон ты видел сегодня?

— Про...

— Скажи, что меня видел, — подсказывал Бахчевев.

— Про ваши добродетели-с! — подсказал на другое ухо Ежовикин.

Фалалей только оглядывался.

— Про... про ваши доб... про белого бы-ка! — промычал он наконец и залился горячими слезами.

Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке необыкновенного великодушия.

— По крайней мере, я вижу твою искренность, Фалалей, — сказал он, — искренность, которой не замечаю в других. Бог с тобою! Если ты нарочно дразнишь меня этим сном, по навету других, то Бог воздаст и тебе и другим. Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо даже в последнем из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие Божие... Я прощаю тебя, Фалалей! Дети мои, обнимите меня, я остаюсь!..

«Остается!» — вскричали все с восторгом.

— Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фалалея сахаром: пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья.

Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. *Так* заботиться, в *такую* минуту и — о ком же? о Фалалее! Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же, бог знает откуда, в руках Прасковьи Ильиничны явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожавшею рукой два куска, потом три, потом уронил их, наконец видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения:

— Э! — вскричал он, — уж для такого дня! Держи, Фалалей! — и высыпал ему за пазуху всю сахарницу.

— Это тебе за искренность, — прибавил он, в виде нравовучения.

— Господин Коровкин, — доложил вдруг появившийся в дверях Видоплясов.

Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было, очевидно, некстати. Все вопросительно посмотрели на дядю.

— Коровкин! — вскричал дядя в некотором замешательстве. — Конечно, я рад... — прибавил он, робко взглядывая на Фому, — но уж, право, не знаю, просить ли его теперь — в такую минуту. Как ты думаешь, Фома?

— Ничего, ничего! — благосклонно проговорил Фома, — приглашайте и Коровкина; пусть и он участвует во всеобщем счастье.

Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа.

— Почтительнейше осмелюсь доложить-с, — заметил Видоплясов, — что Коровкин изволят находиться не в своем виде-с.

— Не в своем виде? как? Что ты врешь? — вскричал дядя.

— Точно так-с: не в трезвом состоянии души-с...

Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, последовало и разреше-

ние загадки. В дверях появился сам Коровкин, отвел рукой Видоплясова и предстал перед изумленною публикой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока, с темными волосами и с проседью, выстриженный под гребенку, с багровым, круглым лицом, с маленькими, налитыми кровью глазами, в высоком волосяном галстухе, застегнутом сзади пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном, в пуху и в сене, и сильно лопнувшим под мышкой, в *pantalon impossible*<sup>1</sup> и при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно пьян. Выйдя на середину комнаты, он остановился, покачиваясь и тюкая вперед носом, в пьяном раздумье; потом медленно во весь рот улыбнулся.

— Извините, господа, — проговорил он, — я... того... (тут он щелкнул по воротнику) получил!

Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмеривал взглядом эксцентрического гостя. Бахчеев смотрел на него с недоумением, сквозь которое проглядывало, однако, некоторое сочувствие. Смущение же дяди было невероятное; он всею душою страдал за Коровкина.

— Коровкин! — начал было он, — послушайте!

— Атанде-с, — прервал Коровкин. — Рекомендуюсь: дитя природы... Но что я вижу? Здесь дамы... А зачем же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? — прибавил он, с плутовскою улыбкою смотря на дядю, — ничего? не робей!.. представимся и прекрасному полу... Прелестные дамы! — начал он, с трудом ворочая язык и завязая на каждом слове, — вы видите несчастного, который... ну, да уж и так далее... Остальное не договаривается... Музыканты! польку!

— А не хотите ли заснуть? — спросил Мизинчиков, спокойно подходя к Коровкину.

— Заснуть? Да вы с оскорблением говорите?

— Нисколько. Знаете, с дороги полезно...

— Никогда! — с негодованием отвечал Коровкин. — Ты думаешь, я пьян? — нимало... А впрочем, где у вас спят?

— Пойдемте, я вас сейчас проведу.

— Куда? в сарай? Нет, брат, не надуешь! Я уж там ночевал... А впрочем, веди... С хорошим человеком отчего не пойти?.. Подушки не надо; военному человеку не надо подушки. А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини... Да, слушай, — прибавил он оста-

<sup>1</sup> Здесь: немислимые брюки (*фр.*) — брюки особого покроя.

навливаясь, — ты, я вижу, малый теплый; сочини-ка ты мне того... понимаешь? ромео, так только, чтоб муху задавить... единственно, чтоб муху задавить, одну, то есть рюмочку.

— Хорошо, хорошо! — отвечал Мизинчиков.

— Хорошо... Да ты постой, ведь надо ж проститься... Adieu, mesdames и mesdemoiselles!.. Вы, так сказать, пронзили... Ну, да уж нечего! после объяснимся... а только разбудите меня, как начнется... или за пять минут до начала... а без меня не начинать! слышите? не начинать!..

И веселый господин скрылся за Мизинчиковым.

Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец Фома начал понемногу, молча и неслышно, хихикать; смех его разрастался все более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша, хотя все еще выражение оскорбленного достоинства сохранялось в лице ее. Невольный смех начинал подыматься со всех сторон. Дядя стоял как ошеломленный, краснея до слез и некоторое время не в состоянии вымолвить слова.

— Господи боже! — проговорил он наконец, — кто ж это знал? но ведь... ведь это со всяким же может случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек. Фома... вот ты увидишь!..

— Вижу-с, вижу-с, — отвечал Фома, задыхаясь от смеха, — необыкновенно начитанный, именно начитанный!

— Про железные дороги как говорит-с! — заметил вполголоса Ежевикин.

— Фома!.. — вскричал было дядя, но всеобщий хохот покрыл слова его. Фома Фомич так и заливался. Видя это, рассмеялся и дядя.

— Ну, да что тут! — сказал он с увлечением. — Ты великодушен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил мое счастье... ты же простишь и Коровкину.

Не смеялась одна только Настенька. Полными любовью глазами смотрела она на жениха своего и как будто хотела вымолвить: «Какой ты, однако ж, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!»

## VI

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Торжество Фомы было полное и непоколебимое. Действительно, без него ничего бы не устроилось, и совершившийся факт подавлял все сомнения и возражения. Благодарность осчастливлен-

ных была безгранична. Дядя и Настенька так и замахали на меня руками, когда я попробовал было слегка намекнуть, каким процессом получилось согласие Фомы на их свадьбу. Сашенька кричала: «Добрый, добрый Фома Фомич; я ему подушку гарусом вышью!» — и даже пристыдила меня за мое жестокосердие. Новображенный Степан Алексеич, кажется, задушил бы меня, если б мне вздумалось сказать при нем что-нибудь непочтительное про Фому Фомича. Он теперь ходил за Фомой, как собачка, смотрел на него с благоговением и к каждому слову его прибавлял: «Благороднейший ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!» Что ж касается Ежевикаина, то он был в самой последней степени восторга. Старикашка давным-давно видел, что Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех пор наяву и во сне только и грезил о том, как бы выдать за него свою дочку. Он тянул дело до последней невозможности и отказался уже тогда, когда невозможно было не отказаться. Фома перестроил дело. Разумеется, старик, несмотря на свой восторг, понимал Фому Фомича насквозь; словом, было ясно, что Фома Фомич воцарился в этом доме навеки и что тиранству его теперь уже не будет конца. Известно, что самые неприятнейшие, самые капризнейшие люди хоть на время, да укрощаются, когда удовлетворяют их желаниям. Фома Фомич, совершенно напротив, как-то еще больше глупел при удачах и задирал нос все выше и выше. Перед самым обедом, переменяв белье и переодевшись, он уселся в кресле, позвал дядю и, в присутствии всего семейства, стал читать ему новую проповедь.

— Полковник! — начал он, — вы вступаете в законный брак. Понимаете ли вы ту обязанность...

И так далее и так далее; представьте себе десять страниц формата «Journal des Débats», самой мелкой печати, наполненных самым диким вздором, в котором не было ровно ничего об обязанностях, а были только самые бесстыдные похвалы уму, кротости, великодушию, мужеству и бескорыстию его самого, Фомы Фомича. Все были голодны; всем хотелось обедать; но, несмотря на то, никто не смел противоречить и все с благоговением дослушали всю дичь до конца; даже Бахчеев, при всем своем мучительном аппетите, просидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности. Удовлетворившись собственным красноречием, Фома Фомич наконец развеселился и даже довольно сильно подпил за обедом, провозглашая самые необыкновенные тосты. Он принялся острить и подшучивать, разумеется, насчет молодых. Все хохотали и аплодировали. Но некоторые из шуток были до такой степени сальны и недвусмысленны, что даже Бахчеев сконфузился. Наконец,

Настенька вскочила из-за стола и убежала. Это привело Фому Фомича в неописанный восторг; но он тотчас же нашелся: в кратких, но сильных словах изобразил он достоинства Настеньки и провозгласил тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь обнимать Фому Фомича. Вообще жених и невеста как будто стыдились друг друга и своего счастья, — и я заметил: с самого благословения еще они не сказали меж собою ни слова, даже как будто избегали глядеть друг на друга. Когда встали из-за стола, дядя вдруг исчез неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на террасу. Там, сидя в кресле, за кофею, ораторствовал Фома, сильно подкураженный. Около него были только Ежевикин, Бахчеев и Мизинчиков. Я остановился послушать.

— Почему, — кричал Фома, — почему я готов сейчас же идти на костер за мои убеждения? А почему из вас никто не в состоянии пойти на костер? Почему, почему?

— Да костер это уж и лишнее будет, Фома Фомич, на костер-то-с! — трунил Ежевикин. — Ну, что толку? Во-первых, и больно-с, а во-вторых, сожгут — что останется?

— Что останется? Благородный пепел останется. Но где тебе понять, где тебе оценить меня! Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей да Александров Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоеешь, и он завоеует... Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита... Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории... да уж вместе и Цезарю!

— Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!

— Не пощажу дурака! — кричал Фома.

— И не щади! — с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший, — нечего их щадить; все они прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться! колбасники! Вон один давеча стипендию какую-то хотел учредить. А что такое стипендия? Черт ее и знает, что она значит! Об заклад побьюсь, какая-нибудь новая пакость. А тот, другой, давеча-то в благородном обществе, вензеля пишет да рому просит! По-моему, отчего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку сделай, а потом, пожалуй, и опять пей... Нечего их щадить! все мошенники! Один только ты ученый, Фома!

Бахчеев, если отдавался кому, то отдавался весь, безусловно и безо всякой критики.

Я отыскал дядю в саду, у пруда, в самом уединенном месте. Он был с Настенькой. Увидя меня, Настенька стрельнула в кусты, как

будто виноватая. Дядя пошел ко мне навстречу с сиявшим лицом; в глазах его стояли слезы восторга. Он взял меня за обе руки и крепко сжал их.

— Друг мой! — сказал он, — я до сих пор как будто не верю моему счастью... Настя тоже. Мы только дивимся и прославляем Всевышнего. Сейчас она плакала. Поверишь ли, до сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся весь: и верю и не верю! И за что это мне? за что? что я сделал? чем я заслужил?

— Если кто заслужил, дядюшка, то это вы, — сказал я с увлечением. — Я еще не видал такого честного, такого прекрасного, такого добрейшего человека, как вы...

— Нет, Сережа, нет, это слишком, — отвечал он, как бы с сожалением. — То-то и худо, что мы добры (то есть я про себя одного говорю), когда нам хорошо; а когда худо, так и не подступайся близко! Вот мы только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько ни сиял передо мною Фома, а, поверишь ли? я, может быть, до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве; даже вчера не уверовал, когда он отказался от такого подарка! К стыду моему говорю! Сердце трепещет после давешнего воспоминания! Но я не владел собой... Когда он сказал давеча про Настю, то меня как будто в самое сердце что-то укусило. Я не понял и поступил, как тигр...

— Что ж, дядюшка, может, это было даже естественно.

Дядя замахал руками.

— Нет, нет, брат, и не говори! А просто-запросто все это от испорченности моей природы, оттого, что я мрачный и сластолюбивый эгоист и без удержу отдаюсь страстям моим. Так и Фома говорит. (Что было отвечать на это?) Не знаешь ты, Сережа, — продолжал он с глубоким чувством, — сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и не к одному Фоме! Вот теперь это все вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья. Настя то же сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у Бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать все добрые дела... И если б ты слышал, как она горячо, как прекрасно все это говорила! Боже мой, что за девушка!

Он остановился в волнении. Через минуту он продолжал:

— Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна! какое благороднейшее существо! О, как я виноват пред всеми! Я и перед тобой виноват...

Но если кто осмелится теперь обидеть Татьяну Ивановну, о! тогда... Ну, да уж нечего!.. для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать.

— Да, дядюшка, я теперь переменяю мое мнение о Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей.

— Именно, именно! — подхватил с жаром дядя, — нельзя не уважать! Ведь вот, например, Коровкин, ведь ты уж, наверно, смеешься над ним, — прибавил он, с робостью заглядывая мне в лицо, — и все мы давеча смеялись над ним. А ведь это, может быть, непрослительно... ведь это, может быть, превосходнейший, добрейший человек, но судьба... испытал несчастья... Ты не веришь, а это, может быть, истинно так.

— Нет, дядюшка, почему же не верить?

И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства; что неисследима глубина души человеческой; что нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать и восстанавливать; что неверна общепринятая мерка добра и нравственности и проч. и проч., — словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе; в заключение же прочел стихи:

Когда из мрака заблужденья...

Дядя пришел в необыкновенный восторг.

— Друг мой, друг мой! — сказал он, растроганный, — ты совершенно понимаешь меня и еще лучше меня рассказал все, что я сам хотел было выразить. Так, так! Господи! почему это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас говорила... Но посмотри, однако ж, какое здесь славное место, — прибавил он, оглядываясь вокруг себя, — какая природа! какая картина! Экое дерево! посмотри: в обхват человеческий! Какой сок, какие листья! какое солнце! как после грозы-то все вокруг повеселело, обмылось!.. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью... Неужели ж нет — а? как ты думаешь?

— Очень может быть, дядюшка. По-своему, разумеется...

— Ну да, разумеется, по-своему... Дивный, дивный творец!.. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Сережа: как ты тут играл и бегал, когда был маленький! Я ведь помню, когда ты был маленький, — прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. — Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь, один раз, вечером, Катя-покойница



подозвала тебя и стала тебя ласкать... Ты все бегал в саду перед этим и весь раздумячился; волоски у тебя такие светленькие, в кудряшках... Она ими играла-играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты его, сиротку, к нам взял». Помнишь иль нет?

— Чуть-чуть, дядюшка.

— Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило, а я сидел в углу и трубку курил да на вас смотрел... Я, Сережа, каждый месяц к ней на могилу, в город, езжу, — прибавил он пониженным голосом, в котором слышались дрожание и подавляемые слезы. — Я об этом сейчас Насте говорил: она сказала, что мы оба вместе будем к ней ездить...

Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение.

В эту минуту к нам подошел Видоплясов.

— Видоплясов! — вскричал дядя встрепенувшись, — ты от Фомы Фомича?

— Нет-с, я более по своей надобности-с.

— А, ну и славно! вот и узнаем про Коровкина. А я ведь еще давеча хотел спросить... Я ему, Сережа, велел там наблюдать, Коровкина-то. — В чем дело, Видоплясов?

— Осмелюсь доложить, — сказал Видоплясов, — что вчера вы изволили упомянуть-с насчет моей просьбы-с и обещать мне ваше высокое заступление от ежедневных обид-с.

— Неужели ты опять про фамилию? — вскричал дядя в испуге.

— Что ж делать-с? Ежечасные обиды-с...

— Ах, Видоплясов, Видоплясов! что мне с тобой делать? — сказал с сокрушением дядя. — Ну, какие тебе могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь, в желтом доме жизнь кончишь!

— Кажется, я умом моим-с... — начал было Видоплясов.

— Ну то-то, то-то, — перебил дядя, — я, братец, это так говорю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну какие там у тебя обиды? Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь?

— Проходу нет-с.

— От кого?

— От всех-с и преимущественно через Матрену-с. Через нее я мою жизнь страдаю пошел-с. Известно-с, что все отличительные люди-с, кто сызмалетства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица-с. Что же, сударь? Из-за этого мне теперь и проходу нет-с. Как только я мимо иду-с, все мне следом кричат всякие дурные слова-с; даже ребятишки маленькие-с, которых надо преж-

де всего розгами высечь-с, и те кричат-с... Вот и теперь, когда я сюда шел, кричали-с... Мочи нет-с. Защитите, сударь, вашим покровом-с!

— Ах, Видоплясов!.. Ну да что ж они такое кричат? Верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания обращать.

— Неприлично будет сказать-с.

— Да что именно?

— Омерзительно выговорить-с.

— Да уж говори!

— Гришка-голанец съел померанец-с.

— Фу, какой человек! Я думал и бог знает что! А ты плюнь да мимо и пройди.

— Плевал-с: еще больше кричат-с.

— Да послушайте, дядюшка, — сказал я, — ведь он жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его, хоть на время, в Москву, к тому каллиграфу. Ведь он, вы говорили, у каллиграфа какого-то жил.

— Ну, брат, тот тоже кончил трагически!

— А что?

— Они-с, — отвечал Видоплясов, — имели несчастье присвоить себе чужую собственность-с, за что, несмотря на весь их талант, были посажены в острог-с, где безвозвратно погибли-с.

— Хорошо, хорошо, Видоплясов: ты теперь успокойся, а я все это разберу и улажу, — сказал дядя, — обещаю тебе! Ну что Коровкин? спит?

— Никак нет-с, они сейчас изволили отъехать-с. Я с тем и шел доложить-с.

— Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпустил? — вскричал дядя.

— По добродушию сердца-с: жалостно было смотреть-с. Как проснулись и вспомнили весь процесс, так тотчас же ударили себя по голове и закричали благим матом-с...

— Благим матом!..

— Почтительнее будет выразиться: многообразные вопли испускали-с. Кричали: как они представляются теперь прекрасному полу-с? а потом прибавили: «Я не достоин рода человеческого!» — и все так жалостно говорили-с, в отборных словах-с.

— Деликатнейший человек! Я говорил тебе, Сергей... Да как же ты, Видоплясов, пустил, когда именно тебе я велел стеречь? Ах, боже мой, боже мой!

— Более через сердечную жалость-с. Просили не говорить-с. Их же извозчик лошадей выкормил и запрег-с. А за врученную, три

дни назад, сумму-с велели почтительнейше благодарить-с и сказать, что вышлют долг с одною из первых почт-с.

— Какую сумму, дядюшка?

— Они называли двадцать пять рублей серебром-с, — сказал Видоплясов.

— Это я, брат, ему тогда дал займы, на станции: у него не достало. Разумеется, он вышлет с первой же почтой... Ах, боже мой, как мне жаль! Не послать ли в погоню, Сережа?

— Нет, дядюшка, лучше не посылайте.

— Я сам то же думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не философ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи кажется. Так и Коровкин: он не вынес стыда... Но пойдём, однако ж, к Фоме! Мы замешкались; может оскорбиться неблагодарностью, невниманием... Идем же! Ах, Коровкин, Коровкин!

Роман кончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно воцарился в доме в лице Фомы Фомича. Тут можно бы сделать очень много приличных объяснений; но, в сущности, все эти объяснения теперь совершенно лишние. Таково, по крайней мере, мое мнение. Взамен всяких объяснений скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рассказа: без этого, как известно, не кончается ни один роман, и это даже предписано правилами.

Свадьба «осчастливленных» произошла спустя шесть недель после описанных мною происшествий. Сделали все тихо, семейно, без особенной пышности и без лишних гостей. Я был шафером Настеньки, Мизинчиков — со стороны дяди. Впрочем, были и гости. Но самым первым, самым главным человеком был, разумеется, Фома Фомич. За ним ухаживали; его носили на руках. Но как-то случилось, что его один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла история, сопровождаемая упреками, воплями, криками. Фома убежал в свою комнату, заперся на ключ, кричал, что презирают его, что теперь уж «новые люди» вошли в семейство, и потому он ничто, не более как щепка, которую надо выбросить. Дядя был в отчаянии; Настенька плакала; с генеральшей, по обыкновению, сделались судороги... Свадебный пир походил на похороны. И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем, Фомой Фомичом, достались в удел моему бедному дяде и беденькой Настеньке. До самой смерти своей (Фома Фомич умер в прошлом году) он киснул, куксился, ломался, сердился, бранился, но благоговение к нему «осчастливленных» не только не уменьша-

лось, но даже каждодневно возрастало, пропорционально его капризам. Егор Ильич и Настенька до того были счастливы друг с другом, что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слишком послал им Господь; что не стоят они такой милости, и предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено искупить свое счастье крестом и страданиями. Понятно, что Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме все, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет! Даже нельзя себе представить, до каких необузданных фантазий доходила иногда его пресыщенная, праздная душа в изобретении самых утонченных, нравственно-лукулловских капризов. Три года спустя после дядюшкиной свадьбы скончалась бабушка. Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже и теперь в доме с ужасом рассказывают о тогдашнем его положении. Когда засыпали могилу, он рвался в нее и кричал, чтоб и его вместе засыпали. Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок; а один раз силою, вчетвером, раскрыли ему рот и вынули оттуда булавку, которую он хотел проглотить. Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время борьбы и, однако ж, не проглотил. Но эту догадку выслушали все с решительным негодованием и тут же уличили догадчика в жестокосердии и неприличии. Только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбнулась; причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством. Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть и капризничал в доме дяди по-прежнему, но прежних, деспотических и наглых распеканций, какие он позволял себе с дядей, уже не было. Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но уже не бранился по-прежнему, — не было таких сцен, как «ваше превосходительство», и это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кой-что уступить и кой в чем покориться. Она не хотела унижения мужа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю *почти*, потому что Настенька тоже лелеяла Фому и даже каждый раз поддерживала мужа, когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела заставить других уважать все в своем муже, а потому гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки забыло все прежние обиды: она все простила Фоме, когда он соединил ее с дядей, и, кроме того, кажется, серьезно, всем сердцем вошла в идею дяди, что со «страдальца» и прежнего шута нельзя много спрашивать, а что надо, напротив, уврачевать сердце его. Бедная Настенька сама была из *униженных*, сама страдала и помнила это. Через ме-

сяц Фома утих, сделался даже ласков и кроток; но зато начались другие, самые неожиданные припадки: он начал впадать в какой-то магнетический сон, утравивший всех до последней степени. Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом положении, в котором находился в последнее мгновение перед припадком; если, например, он смеялся, то так и оставался с улыбкою на устах; если же держал что-нибудь, хоть вилку, то вилка так и остается в поднятой руке, на воздухе. Потом, разумеется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все в доме чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цыпочках, плачут. Наконец Фома проснется, чувствуя страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слышал и не видал во все это время. Нужно же, чтоб до такой степени ломался, рисовался человек, выдерживая целые часы добровольной муки — и единственно для того, чтоб сказать потом: «Смотрите на меня, я и чувствую-то краше, чем вы!» Наконец Фома Фомич проклял дядю «за ежечасные обиды и непочтительность» и переехал жить к господину Бахчеву. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем, что сам же просил у него прощенья, в этот раз принялся за дело с необыкновенным жаром: он встретил Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально рассориться с дядей и даже подать на него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, никогда и не спорили, потому что дядя вполне уступал его, без всяких споров, Степану Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчев велел заложить коляску, поскакал в город, настроил там просьбу и подал, прося суд присудить ему формальным образом землю, с вознаграждениями проторей и убытков, и таким образом казнить самоуправство и хищничество. Между тем Фома, на другой же день, соскучившись у господина Бахчеева, простил дядю, приехавшего с повинною, и отправился обратно в Степанчиково. Гнев господина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего Фомы, был ужасен; но через три дня он явился в Степанчиково с повинною, со слезами просил прощенья у дяди и уничтожил свою просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фомичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой, как собачка, и по-прежнему приговаривал к каждому слову: «Умный ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!»

Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле генеральши; над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно заходят, с прогулки, в церковную ограду поклониться Фоме. Они и теперь не могут говорить о нем без особого чувства; припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются как драгоценность. Почувствовав себя совершенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привязались друг к другу. Детей им Бог не дал; они очень горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла замуж за одного прекрасного молодого человека. Илюша учится в Москве. Таким образом, дядя и Настя живут одни и не надыхаются друг на друга. Забота их друг о друге дошла до какой-то болезненности. Настя непрерывно молится. Если кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет и недели. Но дай Бог им долго жить! Принимают они всех с полным радушием и готовы разделить со всяким несчастным все, что у них имеется. Настенька любит читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать все нищим и быть счастливыми в бедности. Если б не забота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так и сделал, потому что он во всем вполне согласен с женою. С ними живет Прасковья Ильинична и угождает им во всем с наслаждением; она же ведет и хозяйство. Господин Бахчеев сделал ей предложение еще вскоре после дядюшкиной свадьбы, но она наотрез ему отказала. Заключение из этого, что она пойдет в монастырь; но и этого не случилось. В натуре Прасковьи Ильиничны есть одно замечательное свойство: совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила, ежечасно исчезать перед ними, смотреть им в глаза, подчиняться всевозможным их капризам, ходить за ними и служить им. Теперь, по смерти генеральши, своей матери, она считает своею обязанностью не разлучаться с братом и угождать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин еще жив и в последнее время все чаще и чаще стал посещать свою дочь. Вначале он приводил дядю в отчаяние тем, что почти совершенно отстранил себя и свою мелюзгу (так называл он детей своих) от Степанчикова. Все зазывы дяди не действовали на него: он был не столько горд, сколько щекотлив и мнителен. Самолюбивая мнительность его доходила иногда до болезни. Мысль, что его, бедняка, будут принимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивала его; он даже отказывался иногда от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. От дяди же он ничего решительно не хотел

принять. Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда, в саду, об отце, что он представляет из себя шута *для нее*. Правда, ему ужасно хотелось тогда выдать Настеньку замуж; но корчил он из себя шута просто из внутренней потребности, чтоб дать выход накопившейся злости. Потребность насмешки и язычка была у него в крови. Он карикатурил, например, из себя самого подлого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же время ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем унижительнее была его лесть, тем язвительнее и откровеннее проглядывала в ней насмешка. Такая уж была его манера. Всех детей его удалось разместить в лучших учебных заведениях, в Москве и Петербурге, и то только, когда Настенька ясно доказала ему, что все сделается на ее собственный счет, то есть в счет ее собственных тридцати тысяч, подаренных ей Татьяной Ивановной. Эти тридцать тысяч, по правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны; а ее, чтоб она не горевала и не обижалась, умилоствовали, обещая ей при первых неожиданных семейных нуждах обратиться к ее помощи. Так и сделали: для виду были произведены у ней, в разное время, два довольно значительные займа. Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и Настя все-таки получила свои тридцать тысяч. Смерть бедной Татьяны Ивановны была скоропостижная. Все семейство собиралось на бал к одному из соседних помещиков, и только что успела она нарядиться в свое бальное платье, а на голову надеть очаровательный веночек из белых роз, как вдруг почувствовала дурноту, села в кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили. Настя была в отчаянии. Татьяну Ивановну лелеяли в доме и ходили за ней, как за ребенком. Она удивила всех здравомыслием своего завещания: кроме Настенькиных тридцати тысяч, все остальное, до трехсот тысяч ассигнациями, назначалось для воспитания бедных сироток-девочек и для награждения их деньгами по выходе из учебных заведений. В год смерти вышла замуж и девица Перепелицына, которая, по смерти генеральши, осталась у дяди в надежде подлизаться к Татьяне Ивановне. Между тем овдовел чиновник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой деревушки, в которой у нас происходила сцена с Обноскиным и его маменькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек детей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он начал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась. Но Перепелицына была бедна, как курица: у ней всего-то было триста рублей серебром, да и то подаренные ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера. Она тербит за волосы его детей и отсчитывает им колотуш-

ки; ему же (по крайней мере, так говорят) царапает лицо и поминутно корит его подполковничьим своим происхождением. Мизинчиков тоже пристроился. Он благоразумно бросил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал понемногу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомендовал его одному богатому графу, помещику, у которого было три тысячи душ, в восьмидесяти верстах от Степанчикова, и который изредка наезжал в свои поместья. Заметив в Мизинчикове способности и взяв во внимание рекомендацию, граф предложил ему место управляющего в своих поместьях, прогнав своего прежнего управителя немца, который, несмотря на прославленную немецкую честность, обчищал своего графа как липку. Через пять лет имения узнать нельзя было: крестьяне разбогатели; завелись статьи по хозяйству, прежде невозможные; доходы чуть ли не удвоились, — словом, новый управитель отличился и прогремел на всю губернию хозяйственными своими способностями. Каково же было изумление и горе графа, когда Мизинчиков, ровно чрез пять лет, несмотря ни на какие просьбы, ни на какие надбавки, решительно отказался от службы и вышел в отставку! Граф думал, что его сманили соседи-помещики, или даже в другую губернию. И как же все удивились, когда вдруг, два месяца по выходе в отставку, у Ивана Ивановича Мизинчикова явилось превосходнейшее имение, во сто душ, ровно в сорока верстах от графского, купленное им у какого-то промотавшегося гусара, прежнего его приятеля! Эти сто душ он тотчас заложил, и через год у него явилось еще шестьдесят душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяйство у него бесподобное. Все дивятся: где он вдруг достал денег? другие же только покачивают головами. Но Иван Иванович совершенно спокоен и чувствует себя вполне в своем праве. Он выписал из Москвы свою сестру, ту самую, которая дала ему свои последние три целковых на сапоги, когда он отправлялся в Степанчиково, — премилую девушку, но уже не первой молодости, кроткую, образованную, но чрезвычайно запуганную. Она все время скиталась где-то в Москве, в компаньонках, у какой-то благодетельницы; теперь же благоговеет перед братом, хозяйничает в его доме, считает его волю законом, а себя вполне счастливою. Братец не балует ее и держит несколько в черном теле; но она этого не замечает. В Степанчикове ее ужасно как полюбили, и, говорят, господин Бахчеев к ней неравнодушен. Он и сделал бы предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рассказе, подробнее.



Вот, кажется, и все лица... Да! забыл: Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски. Из Фалалея вышел очень порядочный кучер, а Видоплясов давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер... На днях поеду в Степанчиково и непременно справлюсь о нем у дяди.



# БЕСЫ

Роман в трех частях

Часть I



Хоть убей, следа не видно,  
Сбились мы, что делать нам?  
В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам.

.....

Сколько их, куда их гонят,  
Что так жалобно поют?  
Домового ли хоронят,  
Ведьму замуж выдают?

*А. Пушкин*

Тут на горе паслось большое стадо свиней, и просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.

*Евангелие от Луки. Глава VIII, 32—36.*



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### *Глава первая*

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ: НЕСКОЛЬКО ПОДРОБНОСТЕЙ  
ИЗ БИОГРАФИИ МНОГОЧТИМОГО СТЕПАНА ТРОФИМОВИЧА  
ВЕРХОВЕНСКОГО

#### I

Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издавлек, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочисленном Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.

Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, — так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани боже, тем более что сам его уважаю. Тут все могло быть делом привычки, или, лучше сказать, непрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссылного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьеде-

стала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия, некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он все еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.

Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и, одно время, — впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, — его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, — так сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере, в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его непрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше и прежде всего, при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.

Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славнофилов и разом доставила ему между ними многочисленных и разъяренных врагов. Потом, — впрочем, уже после потери кафедры, — он успел напечатать (так сказать, в виде отместки и чтоб указать кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования, — кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху, или что-то в этом роде. По крайней мере, проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее, что ничего не было и что автор сам поленился докончить исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было как-то и кем-то (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то «обстоятельств»; вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье. Как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то есть, вернее, в тридцатые годы) в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-драматической

форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частию о чем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни» на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, — то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? — отвечает, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его, — поскорее потерять ум (желание, может быть, и излишнее). Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенную ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать здесь, — печатают нашу поэму *там*, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать по-

стель, и хоть и ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.

## II

Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. Но он тогда самбициозничал и с особенною поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь «вихрем обстоятельств». А если говорить всю правду, то настоящею причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и все умственное развитие ее единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и кажется, вынес с этою, привлекательною, впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее содержанию, и сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке, и оставив ему пятилетнего сына, «плод первой, радостной и еще не омраченной любви», как вырвалось раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался все время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке, и, главное, безо всякой особенной надобности. Но кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила



все окончательно. Скажу прямо: все разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать классическою, дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоко нравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки.

Место воспитателя было принято еще и потому, что и именице, оставшееся после первой супруги Степана Трофимовича, — очень маленькое, — приходилось совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было в тиши кабинета, и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось; но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной» пред отчизной, по выражению народного поэта:

Воплощенной укоризною  
.....

Ты стоял перед отчизною,  
Либерал-идеалист.

Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении, — надо отдать справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» — и он осанисто козырял с червей.

А по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый (то есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двад-

цатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в середине самой возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.

### III

Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболит и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.

Происходило это без малейшей аллегии, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И уж чего-чего при этом не говорил!) Но вот что случилось почти всегда после этих рыданий: на завтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность; поспешно призывал меня к себе или прибежал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна «ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное». Он не только ко мне прибежал, но неоднократно описывал все это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей, за своею полною подписью, что не далее как, например, вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам;

ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтоб он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации; что вследствие этого он себя презирает и решился погибнуть насильственной смертью, а от нее ждет последнего слова, которое все решит, и пр., и пр., все в этом роде. Можно представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из таких его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма.

— Нельзя... честнее... долг... я умру, если не признаюсь ей во всем, во всем! — отвечал он чуть не в горячке и послал-таки письмо.

В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней, даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю наверно, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящик, помеченные и рассортированные; кроме того, слагала их в сердце своем. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком уж скоро и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве через неделю, через месяц, или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и все письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболелвал своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде курьез в его телосложении.

Действительно, Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не заметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением; стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только «зависти к его

талантам». И как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему, среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала, и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты... Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж расскажу два анекдота.

#### IV

Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем, по смерти ее супруга, все более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде, или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и, стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул *ура!* и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу

два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу, и бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом:

— Я вам этого никогда не забуду!

На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!» Случай с бароном был уже второй случай; но и первый случай, в свою очередь, так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть.

Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и производила ему пенсией. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтора ста душ и жалованье, кроме того, знатность и связи; а все богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика.) Тем не менее она была потрясена неожиданностью известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович нахаживался при ней безотлучно.

Май был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: «Не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?» Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался: «Состояние огромное,

правда, но...» Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Все более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто). По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает, как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.

Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга; она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только что он вошел к себе и, в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно перед раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользящим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом, и вдруг прошептала скороговоркой:

— Я никогда вам этого не забуду!

Когда Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она ни-

когда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и все пошло как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что все это была одна галлюцинация пред болезнью, тем более что в ту же ночь он и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидания в беседке.

Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.

## V

Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый, черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но, по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностью лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытою книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока. Но, впрочем, это пустяки.

Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же

влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть, только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это, конечно, мелочь.

В первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны, Степан Трофимович все еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл. Все чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается! Ничего не делается!» — и опускал голову в унынии. Без сомнения, это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня, никому я не нужен!» — вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятих годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьезное. Да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств; но оказалось, что и Москва неудовлетворительна.

Тогда было время особенное; наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. А это-то и смущало: никак невозможно было применить и в точности узнать, что именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие женского устройства природы своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации (все это ей доставлялось); но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей «все эти идеи» раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени



высокомерный; у него все сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец и о нем вспомянули, сначала в заграничных изданиях, как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во все уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать все на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, — что она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было, по возможности, напомнить о себе в свете, по крайней мере, попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.

## VI

Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Все, однако, к Великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Во-первых, высшие связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унижительными натяжками. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли

какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал кроме того, что он «представляет идею». Он до того маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на все их олимпийство. Эти были очень серьезны и очень вежливы; держали себя хорошо; остальные видимо их боялись; но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду, в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя, — впрочем, скорее по художественности своей природы, чем из благодарности. «Клянусь же вам и пари держу, — говорил он мне сам (но только мне и по секрету), — что никто-то изо всей этой публики знать не знал о мне ровнешенько ничего!» Признание замечательное: стало быть был же в нем острый ум, если он тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упоение; и стало быть не было в нем острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами (против чего — он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то «безобразным поступком», и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемою насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех-то пор ему и позавидовала. Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, все чего-

то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить; но она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр., и пр. Ясно было, что в этом сбросе новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший (но в своем роде) и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный, ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: «Вы, стало быть, — генерал, если так говорите», то есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно: «Да, сударь, я генерал, и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник!» Произошел скандал непозволительный. На другой день случай был обличен в печати, и начала собираться коллективная подписка против «безобразного поступка» Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом единственно для этого случая. Замечу от себя, что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: «Я служил государю моему...», то есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых государевых подданных, а особенный, ихний.

Оставаться долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана Трофимовича постигло окончательное *fiasco*<sup>1</sup>. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему «изгнанию». Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество»; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. «Он m'a traité comme un vieux bonnet de coton!»<sup>2</sup> — лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до рассвета повторяла ему: «Вы еще полезны; вы еще явитесь; вас оценят... в другом месте».

На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя «общего дела».

«Мы выехали как одурелые, — рассказывал Степан Трофимович, — я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:

Век и Век и Лев Камбек,  
Лев Камбек и Век и Век...

и черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился — как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти? О, друзья мои! — иногда восклицал он нам во

<sup>1</sup> поражение (*итал.*).

<sup>2</sup> Со мной обошлись как со старым ночным колпаком! (*фр.*).

вдохновении, — вы представить не можете, какая грусть и злость охватывают всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят! Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего... Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь все шатающееся, теперешнее. Иначе что же будет?..»

## VII

Тотчас же по возвращении из Петербурга Варвара Петровна отправила друга своего за границу: «отдохнуть»; да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с восторгом. «Там я воскресну! — восклицал он, — там наконец примусь за науку!» Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. «Сердце разбито, — писал он Варваре Петровне, — не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, все напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где, наконец, я, я сам, прежний я, стальной по силе и непоколебимый как утес, когда теперь какой-нибудь Andrejeff, un православный шут с бородой, peut briser mon existence en deux»<sup>1</sup> и т. д., и т. д. Что касается до сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни, в первый раз, когда тот родился, и во второй — недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у теток в О — ской губернии (на иждивении Варвары Петровны), за семьсот верст от Скворешников. Что же касается до Andrejeff, то есть Андреева, то это был просто-запросто наш здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог-самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями, а главное, в направлении. Этот почтенный купец, с седою бородой и в больших серебряных очках, недоплатил Степану Трофимовичу четырехсот рублей за купленные в его именице (рядом со Сквореш-

<sup>1</sup> может разбить мою жизнь (фр.).

никами) несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти четыреста рублей Степан Трофимович, пред поездкой, особо рассчитывал, вероятно на секретные свои расходы, и чуть не заплакал, когда Andrejeff попросил повременить один месяц, имея, впрочем, и право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за полгода, по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с жадностью прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицание: «Где вы обе?», пометила числом и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих обеих покойницах-женах. Во втором полученном из Берлина письме песня варьировалась: «Работаю по двенадцати часов в сутки («хоть бы по одиннадцати», — проворчала Варвара Петровна), роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю; был у профессоров. Возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых. Какая прелесть Надежда Николаевна даже до сих пор! Вам кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; все благородное: много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и в солнце пятна! О друг мой, благородный, верный друг! Я сердцем с вами и ваш, с одной всегда, *en tout pays*<sup>1</sup> и хотя бы даже *dans le pays de Makar et de ses veaux*<sup>2</sup>, о котором, помните, так часто мы, трепеща, говорили в Петербурге пред отъездом. Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, ощутил себя безопасным, ощущение странное, новое, впервые после столь долгих лет...» и т. д. и т. д.

«Ну, все вздор! — решила Варвара Петровна, складывая и это письмо. — Коль до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами. Спьяну, что ль, написал? Эта Дундасова как смеет мне посылать поклоны? Впрочем, пусть его погуляет...»

Фраза «*dans le pays de Makar et de ses veaux*» означала: «куда Макар телят не гонял». Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять и перевести лучше; но это он делывал из особого рода шик и находил его остроумным.

<sup>1</sup> в любой стране (фр.).

<sup>2</sup> в стране Макара и его телят (фр.).

Но погулял он немного, четырех месяцев не выдержал и причмался в Скворешники. Последние письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры, чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное. Через два дня все пошло по-старому и даже скучнее старого. «Друг мой, — говорил мне Степан Трофимович через две недели, под величайшим секретом, — друг мой, я открыл ужасную для меня... новость: je suis un, простой приживальщик, et rien de plus! Mais r-r-rien de plus!»<sup>1</sup>

### VIII

Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось благодушия. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем, постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашею патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно; зимой жила в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние семь лет, в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею облагодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было, стало быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него только как на «ученого». Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю; бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна

---

<sup>1</sup> Я лишь простой приживальщик, и ничего более! Н-н-ничего более! (фр.).

каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины. Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой либерал и в городе слышавший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданое и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе Божиим и взаперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине; в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться.

Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета; в детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был ею благодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность и никак не могла простить ему, что он по изгнанию из университета не приехал к ней тотчас же; напротив, даже на тогдешнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем гувернера; но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал «за вольные мысли». Поплелся за нею и Шатов и вскорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались как вольные и ничем не связанные люди; конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем; говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своею Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившею у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив; но изредка, когда затрогивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. «Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассу-»



дать, — шутил иногда Степан Трофимович; но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям: он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь. «Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала», — отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался чем бог пошлет; занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказничьим помощником, но заболел перед самою отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания: просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее, и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, кстати уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно, на краю города, и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги.

Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым,

хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем, лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато, именно — тут была «идея, попавшая на улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё брали из книжек и, по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно все что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. М-те Виргинская занималась у нас в городе повивальной профессией; в девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», — говаривал он мне с сияющими глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостью, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески.

— Все вы из «недосиженных», — шутливо замечал он Виргинскому, — все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той огра-ни-чен-ности, какую встречал в Петербурге chez ces séminaristes<sup>1</sup>, но все-таки вы «недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный.

— А я? — спрашивал Липутин.

— А вы просто золотая середина, которая везде уживется... по-своему.

Липутин обижался.

Рассказывали про Виргинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. Этот Лебядкин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только мож-

---

<sup>1</sup> у этих семинаристов (фр.).

но вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал наконец третировать хозяина свысока. Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем «семейством», отправились за город, в рошу, кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и все время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличен в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время, с своею сестрой и с новыми целями; но о нем впереди. Немудрено, что бедный «семьянин» отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул:

— Это ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает «общему делу»!

Являлись к нам в кружок и случайные гости; ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было Липутин ссыльного ксендза Слоныцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.

## IX

Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. «Высший либера-

лизм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и, кроме того, необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском духе», о Боге вообще и о «русском Боге» в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандальные анекдоты. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества; докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом ниспадет на степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединенной Италии и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности и железных дорог, одно только плевое дело. Но ведь «высший русский либерализм» иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве и весьма хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости, — все о лицах, намеченных в истории нашего развития, — вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж очень становилось скучно, то жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник), мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребенка и пр., и пр.; для того только и приглашался. Если уж очень подпивали, — а это случалось, хотя и не часто, — то приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанемент Лямшина, пропели «Марсельезу», только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком:

Идут мужики и несут топоры,  
Что-то страшное будет.

Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему: «Вздор, вздор!» — и вышла во гневе. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:

— А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.

И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.

— *Сher ami!*, — благодушно заметил ему Степан Трофимович, — поверьте, что *это* (он повторил жест вокруг шеи) несколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то, что наши головы всего более и мешают нам понимать.

Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал Липутин, и всё ведь так называемые знатоки народа и государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу; одним словом, стал беспокоиться. Но прошел великий день, прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимовича. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности.

— Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, — заключил он свой ряд замечательных мыслей — мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика!» Я готов пойти дальше: я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с *bouquet de l'impératrice*<sup>2</sup>.

Липутин тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления; что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая «Антон-Горемыку», а некоторые из них так даже из

<sup>1</sup> Дорогой друг (*фр.*).

<sup>2</sup> «букетом императрицы» (*фр.*).

Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее.

Случилось, и как нарочно сейчас после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и всего-то в пятнадцати верстах от Скворешников, произошло некоторое недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Трофимович до того взволновался, что даже и нас напугал. Он кричал в клубе, что войска надо больше, чтобы призвали из другого уезда по телеграфу; бегал к губернатору и уверял его, что он тут ни при чем; просил, чтобы не замешали его как-нибудь, по старой памяти, в дело, и предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург, кому следует. Хорошо, что все это скоро прошло и разрешилось ничем; но только я подивился тогда на Степана Трофимовича.

Года через три, как известно, заговорили о национальности и зародилось «общественное мнение». Степан Трофимович очень смеялся.

— Друзья мои, — учил он нас, — наша национальность, если и в самом деле «зародилась», как они там теперь уверяют в газетах, — то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь петершутле, за немецкою книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя-немца хвалю; но вероятнее всего, что ничего не случилось и ничего такого не зародилось, а идет все как прежде шло, то есть под покровительством Божиим. По-моему, и довольно бы для России, pour notre sainte Russie<sup>1</sup>. Притом же все эти всеславянства и национальности — все это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской. Я, разумеется, не про Игорево время говорю. И наконец, все от праздности. У нас все от праздности, и доброе и хорошее. Все от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности! Я тридцать тысяч лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они там развозились теперь каким-то «зародившимся» у нас общественным мнением, — так вдруг, ни с того ни с сего, с неба соскочило? Неужто не понимают, что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика! Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те,

---

<sup>1</sup> для нашей святой Руси (фр.).

кто вместо нас до сих пор работал, то есть все та же Европа, все те же немцы — двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока не зазвонят к моей панихиде!

Увы! мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром! А что, господа, не раздается ли и теперь, подчас сплошь да рядом, такого же «милого», «умного», «либерального», старого русского вздора?

В Бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? — говаривал он иногда, — я в Бога верую, *mais distinguons*<sup>1</sup>, я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка) или как какой-нибудь барин, верующий «на всякий случай», — или как наш милый Шатов, — впрочем, нет, Шатов не в счет, Шатов верует *насилъно*, как московский славянофил. Что же касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, — что так великолепно развила Жорж Занд в одном из своих гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело? Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует «в какого-то Бога». *Entre nous soit dit*<sup>2</sup>, ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!) прочел это выражение и... все письмо! Но, откинув смешное, и так как я все-таки с сущностью дела согласен, то скажу и укажу: вот были люди! Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем и сумели же в то же время не сходить с ним, когда надо, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасения в постном масле или в редьке с горохом!..»

Но тут вступался Шатов.

<sup>1</sup> но давайте же различать (фр.).

<sup>2</sup> между нами говоря (фр.).

— Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утеху! — угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле.

— Это они-то не любили народа! — завопил Степан Трофимович. — О, как они любили Россию!

— Ни России, ни народа! — завопил и Шатов, сверкая глазами. — Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили! Все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский точь-в-точь как Крылова «Любопытный» не приметил слона в кунсткамере, а все внимание свое устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ, — вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и Бога! Знайте наверно, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю! Это факт, который оправдается. Вот почему и вы все, и мы все теперь — или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас несколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте это!

Обыкновенно, проговорив подобный монолог (а с ним это часто случалось), Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям, в полной уверенности, что уж теперь все кончено и что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя.

— А не помириться ль нам, Шатов, после всех этих милых словечек? — говаривал он, благодушно протягивая ему с кресел руку.

Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежностей не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимовича и потоптавшись, как медведь, на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывая свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется, приносилось вино, и Степан Трофимович провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей.



## Глава вторая

### ПРИНЦ ГАРРИ. СВАТОВСТВО

#### I

На земле существовало еще одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее как к Степану Трофимовичу, — единственный сын ее, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашен был Степан Трофимович в воспитатели. Мальчику было тогда лет восемь, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключался в том, что он и сам был ребенок. Меня тогда еще не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего десяти- или одиннадцатилетнего друга ночью, единственно чтоб излить пред ним в слезах свои оскорбленные чувства или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая, что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила, редко в чем его очень стесняла, но пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем, во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его, по шестнадцатому году, повезли в лицей, то он был тшедушен и бледен, странно тих и задумчив. (Впоследствии он отличался чрезвычайною физическою силой.) Надо полагать тоже, что друзья плакали, бросаясь ночью взаимно в объятия, не все об одних каких-нибудь домашних анекдотцах. Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вековой, священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение. (Есть

и такие любители, которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, если б даже таковое и было возможно.) Но во всяком случае хорошо было, что птенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны.

Из лица молодой человек в первые два года приезжал на vacation. Во время поездки в Петербург Варвары Петровны и Степана Трофимовича он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамы, слушал и наблюдал. Говорил мало и все по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких предметах и о воспоминаниях прошлого видимо удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он, по желанию мамы, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то что после реформы доход с ее имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем, накоплен был долгою экономией некоторый, не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро начали доходить к Варваре Петровне довольно странные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одною дамою хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того, что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые, буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что все это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула: «Вздор, вздор!» — как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихора-

дочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили; скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и, вследствие таковых деяний, был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости.

В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры. Во все это время Варвара Петровна отправила, может быть, до сотни писем в столицу с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства молодой человек вдруг вышел в отставку, в Скворешники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится. Денег у матери он не просил; у него было свое именье — бывшая деревенька генерала Ставрогина, которое хоть что-нибудь да давало же доходу и которое, по слухам, он сдал в аренду одному саксонскому немцу. Наконец мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал.

Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Не я один был удивлен: удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биография господина Ставрогина, и даже с такими подробностями, что невозможно было представить, откуда они могли получить-ся, и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верною. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко раз-

делились на две стороны — в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, не много требовалось, чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма интересных темах, и, что всего драгоценнее, с замечательною рассудительностью. Упомяну как странность: все у нас, чуть не с первого дня, нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромн и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярк и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостью, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода — вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору, по отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.

Кстати замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями, — чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было едко сказано, но, однако же, — решительная ложь. Да и мало ли было на этот счет потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна, в последние годы, особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы, ею самую себе по-

ставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством и в два-три года подняла доходность своего имени чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать журнал и проч.) она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдалила от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме (о чем тот давно уже приставал к ней сам под разными предложениями). Мало-помалу Степан Трофимович стал называть ее прозаической женщиной или еще шутливее: «своим прозаическим другом». Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту.

Все мы, близкие, понимали, — а Степан Трофимович чувствительнее всех нас, — что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удач его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было, что она боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать, и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что-то соображая и разглядывая... и вот — зверь вдруг выпустил свои когти.

## II

Наш принц вдруг, ни с того ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости разным лицам, то есть главное именно в том состояло, что дерзости эти совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие в обыкновенном употреблении, совсем дрянные и мальчишнические, и черт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Петр Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!» Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и все людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Петру Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три

шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется, непростительнейшее; и, однако же, рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, «точно как бы с ума сошел»; но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно все понимал в настоящем виде и не только не смутился, но, напротив, улыбался злобно и весело, «без малейшего раскаяния». Шум поднялся ужаснейший; его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец, вдруг как будто задумался опять, — так, по крайней мере, передавали, — нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Петру Павловичу и скороговоркой, с видимою досадой, пробормотал:

— Вы, конечно, извините... Я, право, не знаю, как мне вдруг захотелось... глупость...

Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел.

Все это было очень глупо, не говоря уже о безобразии — безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало быть, составлявшем умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба; затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно (не дожидаясь, пока дело начнется формально судом) обуздать вредного буяна, столичного «бретера, вверенною ему административною властью, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посягновений». С злобною невинностию прибавляли при этом, что «может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон». Именно эту фразу приготавливали губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора, как нарочно, не случилось тогда в городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Петру Павловичу целую овацию: обнимали и целовали его; весь город перебивал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по под-

писке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль, — может быть, смекнув наконец, что человека все-таки протащили за нос и что, стало быть, очень-то уж торжествовать нечего.

И, однако, как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно то обстоятельство, что никто у нас, в целом городе, не приписал этого дикого поступка сумасшествию. Значит, от Николая Всеволодовича, и от умного, наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих пор не знаю, как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшее событие, казалось бы все объяснившее и всех, по-видимому, умиротворившее. Прибавлю тоже, что четыре года спустя Николай Всеволодович на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе ответил нахмурившись: «Да, я был тогда не совсем здоров». Но забегать вперед нечего.

Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которою все у нас накинулись тогда на «буяна и столичного бретера». Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить все общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил, — а чем бы кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мужчин.

Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что все это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день, и даже именно в «этом самом роде», признание замечательное со стороны родной матери. — «Началось!» — подумала она содрогаясь. На другое утро, после рокового вечера в клубе она приступила, осторожно, но решительно, к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Nicolas, по крайней мере, хоть что-нибудь ей сказал, хоть объяснить бы удостоил, Nicolas, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время насупившись, но очень серьезно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел. А в тот же день, вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого,

но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли.

Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснений того с мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счет. Он уже и, кроме того, завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже, — но уж такую имел склонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренно думает, что так и надо поступать с клубными старшинами и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать.

Гостей набралось множество; народ был неказистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почтеннейший гость, Степан Трофимович, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка; играли на трех столах, а молодежь, в ожидании ужина, затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину — чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно пред ним робевшую, — сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него сконфузился и сам и, пробормотав ему наскоро: «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности невинной, истории, говоря сравнительно, — прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду.

Часов в десять утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румяная бабенка, лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая «повидать их самих-с». У него



очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения.

— Сергей Васильич (то есть Липутин), — бойко затараторила Агафья, — перво-наперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить-с, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать, после вчерашнего-с?

Николай Всеволодович усмехнулся.

— Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.

— А они против этого приказали вам отвечать-с, — еще бойчее подхватила Агафья, — что они и без вас про то знают и вам того же желают.

— Вот! да как мог он узнать про то, что я тебе скажу?

— Уж не знаю, каким это манером узнали-с, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картуза-с: «Ты, говорят, Агафьюшка, если, по отчаянии, прикажут тебе: «Скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе», так ты им тотчас на то не забудь: «Сами очинно хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с...»

### III

Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый, мягкий наш Иван Осипович только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться пред клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде, и если потребуется, то и письменно; а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вышел он принять на этот раз Николая Всеволодовича (в другие разы прогуливавшегося, на правах родственника, по всему дому невозбранно), воспитанный Алеша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты; а в следующей комнате, у ближайшего к дверям залы окна, поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал «Голос», разумеется не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале; даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но все несколь-

ко путался. Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль.

— Сердце у вас доброе, Nicolas, и благородное, — включил, между прочим, старичок, — человек вы образованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей... И вот теперь все опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите! Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться... Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходы, подобно как в бреду?

Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде.

— Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, — угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за «Голосом». Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.

— Nicolas, что за шутки! — простонал он машинально, не своим голосом.

Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было и до конца казалось, что те шепчутся; а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели выпуча глаза друг на друга, не зная, броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Nicolas заметил, может быть, это и притиснул ухо побольнее.

— Nicolas, Nicolas! — простонала опять жертва, — ну... пошутит и довольно...

Еще мгновение, и, конечно, бедный умер бы от испуга; но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Nicolas был арестован и отведен, покамест, на гауптвахту, где и заперт в особую каморку, с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий

начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, было отказано у крыльца в приеме; с тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе.

И наконец-то все объяснилось! В два часа пополудни арестант, дотоле удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественною силой оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке; его перевезли домой к мамаше. Все разом объяснилось. Все три наши доктора дали мнение, что и за три дня пред сим больной мог уже быть как в бреде и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростию, но уже не здравым рассудком и волей. Что, впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился; но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались не долго.

Nicolas пролежал с лишком два месяца. Из Москвы был выпи- сан известный врач для консилиума; весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда, к весне, Nicolas совсем уже выздоровел и, без всякого возражения, согласился на предложение мамыши съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Nicolas согласился с большою охотой. В клубе известно было, что он имел с Петром Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Nicolas был очень серьезен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. Право, некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй

просто насмеялся над всеми, а болезнь — это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину.

— Скажите, — спросил он его, — каким образом вы могли заранее угадать то, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом?

— А таким образом, — засмеялся Липутин, — что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заранее мог предугадать.

— Все-таки замечательное совпадение. Но, однако, позвольте, вы, стало быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего?

— За умнейшего и рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке... Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались и мне, чрез Агафью, патент на остроумие выслали.

— Ну, тут вы немного ошибаетесь; я в самом деле... был нездоров... — пробормотал Николай Всеволодович, нахмурившись. — Ба! — вскричал он, — да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?

Липутин скрючился и не сумел ответить. Nicolas несколько побледнел, или так только показалось Липутину.

— Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей, — продолжал Nicolas, — а про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали.

— Не на дуэль же было вас вызывать-с?

— Ах да, бишь! Я ведь слышал что-то, что вы дуэли не любите...

— Что с французского-то переводить! — опять скрючился Липутин.

— Народности придерживаетесь?

Липутин еще более скрючился.

— Ба, ба! что я вижу! — вскричал Nicolas, вдруг заметив на самом видном месте, на столе, том Консидерана, — да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского? — засмеялся он, стуча пальцами в книгу.

— Нет, это не с французского перевод! — с какою-то даже злобой привскочил Липутин, — это с всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только с французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! А не с французского одного!..

— Фу, черт, да такого и языка совсем нет! — продолжал смеяться Nicolas.

Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его, за все время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечатались в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии».

«Бог знает, как эти люди делаются!» — думал Nicolas в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста.

#### IV

Наш принц путешествовал три года с лишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было, чрез Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери — раз в полгода и даже реже; но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностью, но, уж конечно, каждый день во все эти три года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Nicolas непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому. Даже от Степана Трофимовича, по-видимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась еще скупее, чем прежде, и еще пуще стала копить и сердиться за карточные проигрыши Степана Трофимовича.

Наконец, в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа, от генеральши Прасковьи Ивановны Дроздовой, подру-

ги своего детства. В письме своем Прасковья Ивановна, — с которою Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже восемь, — уведомляла ее, что Николай Всеволодович коротко сошелся с их домом и подружился с Лизой (единственною ее дочерью) и намерен сопровождать их летом в Швейцарию, в *Vevey-Montreux*, несмотря на то что в семействе графа К... (весьма влиятельного в Петербурге лица), пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живет у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель, хотя кроме вышеозначенных фактов никаких выводов не заключало. Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватила с собою свою воспитанницу Дашу (сестру Шатова) и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых; сами же Дроздовы, по привезенному ею известию, обещали явиться к нам в конце августа.

Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича (бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа) постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагала совершить в *Vevey-Montreux* во вторую половину лета. По возвращении же в отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Прасковья Ивановна, в первом супружестве госпожа Тушина, была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штаб-ротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда Лизавете Николаевне было уже около двадцати двух лет, за нею смело можно было считать до двухсот тысяч рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, по-видимому, весьма довольна своею поездкой. По ее мнению, она успела сговориться с Прасковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила все Степану Трофимовичу; даже была с ним весьма экспансивна, что давно уже с нею не случалось.

— Ура! — вскричал Степан Трофимович и прищелкнул пальцами.

Он был в полном восторге, тем более что все время разлуки с своим другом провел в крайнем унынии. Уезжая за границу, она даже с ним не простилась как следует и ничего не сообщила из своих планов «этой бабе», опасаясь, может быть, чтоб он чего не разболтал. Она сердилась на него тогда за значительный картежный проигрыш, внезапно обнаружившийся. Но еще в Швейцарии почувствовала сердцем своим, что брошенного друга надо по возвращении вознаградить, тем более что давно уже сурово с ним обходилась. Быстрая и таинственная разлука поразила и истерзала робкое сердце Степана Трофимовича, и, как нарочно, разом подошли и другие недоумения. Его мучило одно весьма значительное и давнишнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось наконец губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осиповича; его сменили, и даже с неприятностями. Затем, в отсутствие Варвары Петровны, произошел и въезд нашего нового начальника, Андрея Антоновича фон Лембке; вместе с тем тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало быть и к Степану Трофимовичу. По крайней мере, он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений и, кажется, очень оробел, один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору, как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты. О будущей губернаторше (которую ждали у нас только к осени) повторяли, что она хотя, слышно, и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то что «какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна». Всем откудова-то было достоверно известно, с подробностями, что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным, радостно-угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора.

— Вам, *excellente amie*<sup>1</sup>, без всякого сомнения известно, — говорил он, кокетничая и щегольски растягивая слова, — что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор внове, то есть нововыпеченный, новопоставленный... *Ces interminables mots russes!*..<sup>2</sup> Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно это штука?

— Административный восторг? Не знаю, что такое.

— То есть... *Vous savez, chez nous...* *En un mot*<sup>3</sup>, поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, *pour vous montrer son pouvoir*<sup>4</sup>. «Дай-ка, дескать, я покажу над тобой мою власть...» И это в них до административного восторга доходит... *En un mot*, я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, — *mais c'est très curieux*<sup>5</sup>, — выгнал, то есть выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство, *les dames charmantes*<sup>6</sup>, пред самым началом великопостного богослужения, — *vous savez ces chants et le livre de Job...*<sup>7</sup> — единственно под тем предлогом, что «шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок, и чтобы приходили в показанное время...» и довел до обморока... Этот дьячок был в припадке административного восторга, *et il a montré son pouvoir...*<sup>8</sup>

— Сократите, если можете, Степан Трофимович.

— Господин фон Лембке поехал теперь по губернии. *En un mot*, этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания и даже, — уступлю ему это — замечательно красивый мужчина, из сорокалетних...

— С чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза.

— В высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам...

<sup>1</sup> дражайший друг (*фр.*).

<sup>2</sup> Эти нескончаемые русские слова! (*фр.*)

<sup>3</sup> Вы знаете, у нас... Одним словом (*фр.*).

<sup>4</sup> чтоб показать вам свою власть (*фр.*).

<sup>5</sup> однако это весьма любопытно (*фр.*).

<sup>6</sup> очаровательных дам (*фр.*).

<sup>7</sup> вы знаете эти псалмы и Книгу Иова (*фр.*).

<sup>8</sup> и он показал свою власть (*фр.*).



— Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас! Кстати, вы носите красные галстуки, давно ли?

— Это я... я только сегодня...

— А делаете ли вы ваш моцион? Ходите ли ежедневно по шести верст прогуливаться, как вам предписано доктором?

— Не... не всегда.

— Так я и знала! Я в Швейцарии еще это предчувствовала! — раздражительно вскричала она. — Теперь вы будете не по шести, а по десяти верст ходить! Вы ужасно опустились, ужасно, уж-жасно! Вы не то что постарели, вы одряхлели... вы поразили меня, когда я вас увидела давеча, несмотря на ваш красный галстук... *quelle idée rouge!*<sup>1</sup> Продолжайте о фон Лембке, если в самом деле есть что сказать, и кончите когда-нибудь, прошу вас; я устала.

— *En un mot*, я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в сорок лет администраторов, которые до сорока лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретенной супруги или каким-нибудь другим, не менее отчаянным средством... То есть он теперь уехал... то есть я хочу сказать, что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма... Он тотчас же начал справляться.

— Да правда ли?

— Я даже меры принял. Когда про вас «до-ло-жили», что вы «управляли губернией», *vous savez*<sup>2</sup>, — он позволил себе выразиться, что «подобного более не будет».

— Так и сказал?

— Что «подобного более не будет», и *avec cette morgue*...<sup>3</sup> Супругу, Юлию Михайловну, мы узрим здесь в конце августа, прямо из Петербурга.

— Из-за границы. Мы там встретились.

— *Vraiment?*<sup>4</sup>

— В Париже и в Швейцарии. Она Дроздовым родня.

— Родня? Какое замечательное совпадение! Говорят, честолюбива и... с большими будто бы связями?

— Вздор, связишки! До сорока пяти лет просидела в девках без копейки, а теперь выскочила за своего фон Лембке, и, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы.

<sup>1</sup> что за дикая мысль! (фр.)

<sup>2</sup> вы знаете (фр.).

<sup>3</sup> с такой спесью (фр.).

<sup>4</sup> Неужели? (фр.)

— И, говорят, двумя годами старше его?

— Пятью. Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге; на балы ко мне, при Всеволоде Николаевиче, как из милости напрашивалась. А эта, бывало, всю ночь одна в углу сидит без танцев, со своею бирюзовою мухой на лбу, так что я уж в третьем часу, только из жалости, ей первого кавалера посылаю. Ей тогда двадцать пять лет уже было, а ее все как девчонку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично.

— Эту муху я точно вижу.

— Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась. Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой, что могло быть яснее? Что же застаю? Сама же эта дура Дроздова, — она всегда только дурой была, — вдруг смотрит вопросительно: зачем, дескать, я приехала? Можете представить, как я была удивлена! Гляжу, а тут финтит эта Лембке и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник, — все ясно! Разумеется, я мигом все переделала, и Прасковья опять на моей стороне, но интрига, интрига!

— Которую вы, однако же, победили. О, вы Бисмарк!

— Не будучи Бисмарком, я способна, однако же, рассмотреть фальшь и глупость, где встречу. Лембке — это фальшь, а Прасковья — глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и вдобавок добра. Что может быть глупее глупого добряка?

— Злой дурак, та *bonne amie*<sup>1</sup>, злой дурак еще глупее, — благородно оппонировал Степан Трофимович.

— Вы, может быть, и правы, вы ведь Лизу помните?

— *Charmante enfant!*<sup>2</sup>

— Но теперь уже не *enfant*, а женщина, и женщина с характером. Благородная и пылкая, и люблю в ней, что матери не спускает, доверчивой дуре. Тут из-за этого кузена чуть не вышла история.

— Ба, да ведь и в самом деле он Лизавете Николаевне совсем не родня... Виды, что ли, имеет?

— Видите, это молодой офицер, очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливою. Мне кажется, он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а финтила только Лембке. Очень уважал *Nicolas*. Вы понимаете, все дело зависит от Лизы, но я ее в превосходных отношениях к *Nicolas* оставила. И он сам обещался мне непременно приехать к нам в ноябре. Ста-

<sup>1</sup> мой добрый друг (*фр.*).

<sup>2</sup> Прелестное дитя! (*фр.*)

ло быть, интригует тут одна Лембке, а Прасковья только слепая женщина. Вдруг говорит мне, что все мои подозрения — фантазия; я в глаза ей отвечаю, что она дура. Я на Страшном суде готова подтвердить! И если бы не просьбы Nicolas, чтоб я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда, не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа К. чрез Nicolas заискивала, она сына с матерью хотела разделить. Но Лиза на нашей стороне, а с Прасковьей я сговорилась. Вы знаете, ей Кармазинов родственник?

— Как? Родственник мадам фон Лембке?

— Ну да, ей. Дальний.

— Кармазинов, нувеллист?

— Ну да, писатель, чего вы удивляетесь? Конечно, он сам себя почитает великим. Надутая тварь! Она с ним вместе придет, а теперь там с ним носится. Она намерена что-то завести здесь, литературные собрания какие-то. Он на месяц придет, последнее имение продавать здесь хочет. Я чуть было не встретила с ним в Швейцарии и очень того не желала. Впрочем, надеюсь, что меня-то он удостоит узнать. В старину ко мне письма писал, в доме бывал. Я бы желала, чтобы вы получше одевались, Степан Трофимович; вы с каждым днем становитесь так неряшливы... О, как вы меня мучаете! Что вы теперь читаете?

— Я... я...

— Понимаю. По-прежнему приятели, по-прежнему попойки, клуб и карты, и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я бы не желала, чтобы вас называли атеистом, особенно теперь не желала бы. Я и прежде не желала, потому что ведь все это одна только пустая болтовня. Надо же наконец сказать.

— Mais, ma chère...<sup>1</sup>

— Слушайте, Степан Трофимович, во всем ученом я, конечно, пред вами невежда, но я ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению.

— К какому же?

— К такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а есть и умнее нас.

— И остроумно и метко. Есть умнее, значит, есть и правее нас, стало быть, и мы можем ошибаться, не так ли? Mais, ma bonne amie, положим, я ошибусь, но ведь имею же я мое всечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести? Имею же я право не быть ханжой и изувером, если того хочю, а за это, ес-

<sup>1</sup> Но, дорогая моя... (фр.).

тественно, буду разными господами ненавидим до скончания века. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raison<sup>1</sup>, и так как я совершенно с этим согласен...

— Как, как вы сказали?

— Я сказал: on trouve toujours plus de moines que de raison, и так как я с этим...

— Это, верно, не ваше; вы, верно, откуда-нибудь взяли?

— Это Паскаль сказал.

— Так я и думала... что не вы! Почему вы сами никогда так не скажете, так коротко и метко, а всегда так длинно тянете? Это гораздо лучше, чем давеча про административный восторг...

— Ma foi, chère...<sup>2</sup> почему? Во-первых, потому, вероятно, что я все-таки не Паскаль et puis...<sup>3</sup> во-вторых, мы, русские, ничего не умеем на своем языке сказать... По крайней мере, до сих пор ничего еще не сказали...

— Гм! Это, может быть, и неправда. По крайней мере, вы бы записывали и запоминали такие слова, знаете, в случае разговора... Ах, Степан Трофимович, я с вами серьезно, серьезно ехала говорить!

— Chère, chère amie!<sup>4</sup>

— Теперь, когда все эти Лембки, все эти Кармазиновы... О боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете!.. Я бы желала, чтоб эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят, а вы как себя держите! Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какую-то сволочью, вы приобрели какие-то невозможные привычки, вы одряхтели, вы не можете обойтись без вина и без карт, вы читаете одного только Поль де Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут; все ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружить с такою сволочью, как ваш неразлучный Липутин?

— Почему же он *мой* и *неразлучный*? — робко протестовал Степан Трофимович.

— Где он теперь? — строго и резко продолжала Варвара Петровна.

---

<sup>1</sup> И потом, так как монахов всегда встречаешь чаще, чем здравый смысл... (фр.).

<sup>2</sup> Право, дорогая... (фр.).

<sup>3</sup> и потом... (фр.)

<sup>4</sup> Милый, милый друг! (фр.)

— Он... он вас беспредельно уважает и уехал в С — к, после матери получить наследство.

— Он, кажется, только и делает что деньги получает. Что Шатов? Все то же?

— *Irascible, mais bon*<sup>1</sup>.

— Терпеть не могу вашего Шатова; и зол, и о себе много думает!

— Как здоровье Дарьи Павловны?

— Вы это про Дашу? Что это вам вздумалось? — любопытно поглядела на него Варвара Петровна. — Здорова, у Дроздовых оставила... Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала, дурное, а не хорошее.

— *Oh, c'est une histoire bien bête! Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter...*<sup>2</sup>

— Довольно, Степан Трофимович, дайте покой; измучилась. Успеем наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете брызгаться, когда засмеетесь, это уже дряхлость какая-то! И как странно вы теперь стали смеяться... Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек! Кармазинов к вам не поедет! А тут и без того всему рады... Вы всего себя теперь обнаружили. Ну довольно, довольно, устала. Можно же наконец пощадить человека!

Степан Трофимович «пощадил человека», но удалился в смущении.

## V

Дурных привычек действительно завелось у нашего друга немало, особенно в самое последнее время. Он видимо и быстро опустился, и это правда, что он стал неряшлив. Пил больше, стал слезливее и слабее нервами; стал уж слишком чуток к изящному. Лицо его получило странную способность изменяться необыкновенно быстро, с самого, например, торжественного выражения на самое смешное и даже глупое. Не выносил одиночества и непрерывно жаждал, чтоб его поскорее развлекли. Надо было непременно рассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот, и притом ежедневно новое. Если же долго никто не приходил, то он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, в задумчивости жевал губами, вздыхал глубоко, а под конец чуть не хныкал. Он

<sup>1</sup> Вспыльчив, но добр (*фр.*).

<sup>2</sup> О, это ужасно глупая история! Я ждал вас, мой добрый друг, чтобы рассказать вам... (*фр.*)

все что-то предчувствовал, боялся чего-то, неожиданного, неминуемого; стал пуглив; стал большое внимание обращать на сны.

Весь день этот и вечер провел он чрезвычайно грустно, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но все довольно бессвязно. Варвара Петровна давно уже знала, что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось, наконец, что его заботит что-то особенное и такое, чего, пожалуй, он и сам не может представить себе. Обыкновенно прежде, когда мы сходились наедине и он начинал мне жаловаться, то всегда почти, после некоторого времени, приносилась бутылочка и становилось гораздо утешнее. В этот раз вина не было, и он видимо подавлял в себе неоднократное желание послать за ним.

— И чего она все сердится! — жаловался он поминутно, как ребенок. — *Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы, qui boivent en zapoi...*<sup>1</sup> а я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница... Укоряет, зачем я ничего не пишу? Странная мысль!.. Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять «примером и укоризной». *Mais, entre nous soit dit*<sup>2</sup>, что же и делать человеку, которому предназначено стоять «укоризной», как не лежать, — знает ли она это?

И, наконец, разъяснилась мне та главная, особенная тоска, которая так неотвязчиво в этот раз его мучила. Много раз в этот вечер подходил он к зеркалу и подолгу пред ним останавливался. Наконец повернулся от зеркала ко мне и с каким-то странным отчаянием проговорил:

— *Mon cher, je suis un*<sup>3</sup> опустившийся человек!

Да, действительно, до сих пор, до самого этого дня, он в одном только оставался постоянно уверенным, несмотря на все «новые взгляды» и на все «перемены идей» Варвары Петровны, именно в том, что он все еще обворожителен для ее женского сердца, то есть не только как изгнанник или как славный ученый, но и как красивый мужчина. Двадцать лет коренилось в нем это льстивое и успокоительное убеждение, и, может быть, из всех его убеждений ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Предчувствовал ли он в тот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем?

---

<sup>1</sup> Все одаренные и передовые люди в России были и всегда будут картежники и пьяницы, которые пьют запоем... (фр.).

<sup>2</sup> Но, между нами говоря,... (фр.).

<sup>3</sup> Мой дорогой, я... (фр.).

## VI

Приступлю теперь к описанию того отчасти забавного случая, с которого, по-настоящему, и начинается моя хроника.

В самом конце августа возвратились наконец и Дроздовы. Появление их немногим предшествовало приезду давно ожидаемой всем городом родственницы их, нашей новой губернаторши, и вообще произвело замечательное впечатление в обществе. Но обо всех этих любопытных событиях скажу после; теперь же ограничусь лишь тем, что Прасковья Ивановна привезла так нетерпеливо ожидавшей ее Варваре Петровне одну самую хлопотливую загадку: Nicolas расстался с ними еще в июле и, встретив на Рейне графа К., отправился с ним и с семейством его в Петербург. (NB. У графа все три дочери невесты.)

— От Лизаветы, по гордости и строптивости ее, я ничего не добила, — заключила Прасковья Ивановна, — но видела своими глазами, что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, придется вам, друг мой Варвара Петровна, спросить о причинах вашу Дарью Павловну. По-моему, так Лиза была обижена. Рада-радешенька, что привезла вам наконец вашу фаворитку и сдаю с рук на руки: с плеч долой.

Произнесены были эти ядовитые слова с замечательным раздражением. Видно было, что «раскисшая женщина» заранее их приготовила и вперед наслаждалась их эффектом. Но не Варвару Петровну можно было озадачивать сентиментальными эффектами и загадками. Она строго потребовала самых точных и удовлетворительных объяснений. Прасковья Ивановна немедленно понизила тон и даже кончила тем, что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, тоже как и Степан Трофимович, непрерывно нуждалась в истинной дружбе, и главнейшая ее жалоба на дочь ее, Лизавету Николаевну, состояла именно в том, что «дочь ей не друг».

Но из всех ее объяснений и излияний оказалось точным лишь одно то, что действительно между Лизой и Nicolas произошла какая-то размолвка, но какого рода была эта размолвка — о том Прасковья Ивановна, очевидно, не сумела составить себе определенного понятия. От обвинений же, взводимых на Дарью Павловну, она не только совсем, под конец, отказалась, но даже особенно просила не давать давешним словам ее никакого значения, потому что сказала она их «в раздражении». Одним словом, все

выходило очень неясно, даже подозрительно. По рассказам ее, размолвка началась от «строптивного и насмешливого» характера Лизы; «гордый же Николай Всеволодович, хоть и сильно был влюблен, но не мог насмешек перенести и сам стал насмешлив».

— Вскоре затем познакомились мы с одним молодым человеком, кажется, вашего «профессора» племянник, да и фамилия та же...

— Сын, а не племянник, — поправила Варвара Петровна. Прасковья Ивановна и прежде никогда не могла упомянуть фамилии Степана Трофимовича и всегда называла его «профессором».

— Ну, сын так сын, тем лучше, а мне ведь и все равно. Обыкновенный молодой человек, очень живой и свободный, но ничего такого в нем нет. Ну, тут уж сама Лиза поступила нехорошо, молодого человека к себе приблизила из видов, чтобы в Николае Всеволодовиче ревность возбудить. Не осуждаю я этого очень-то: дело девичье, обыкновенное, даже милое. Только Николай Всеволодович вместо того, чтобы приревновать, напротив, сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, али как будто ему все равно. Лизу-то это и взорвало. Молодой человек вскорости уехал (спешил очень куда-то), а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволодовичу придирааться. Заметила она, что тот с Дашей иногда говорит, ну и стала беситься, тут уж и мне, матушка, житья не стало. Раздражаться мне доктора запретили, и так это хваленое озеро ихнее мне надоело, только зубы от него разболелись, такой ревматизм получила. Печатают даже про то, что от Женевского озера зубы болят: свойство такое. А тут Николай Всеволодович вдруг от графини письмо получил и тотчас же от нас и уехал, в один день собрался. Простились-то они по-дружески, да и Лиза, провожая его, стала очень весела и легкомысленна и много хохотала. Только напускное все это. Уехал он, — стала очень задумчива, да и поминать о нем совсем перестала и мне не давала. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь с Лизой насчет этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая сама с вами заговорит; тогда более узнаете. По-моему, опять сойдутся, если только Николай Всеволодович не замедлит приехать, как обещал.

— Напишу ему тотчас же. Коли все было так, то пустая размолвка; все вздор! Да и Дарью я слишком знаю; вздор.

— Про Дашеньку я, покаюсь, — согрешила. Одни только обыкновенные были разговоры, да и то вслух. Да уж очень меня, матушка, все это тогда расстроило. Да и Лиза, видела я, сама же с нею опять сошлась с прежнею лаской...



Варвара Петровна в тот же день написала к Nicolas и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но все-таки оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение «Прасковьи» казалось ей слишком невинным и сентиментальным. «Прасковья всю жизнь была слишком чувствительна с самого еще пансиона, — думала она, — не таков Nicolas, чтоб убежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно размолвка была. Офицер этот, однако, здесь, с собой привезли, и в доме у них как родственник поселился. Да и насчет Дарьи Прасковья слишком уж скоро повинилась: верно, что-нибудь про себя оставила, чего не хотела сказать...»

Кутруу Варвары Петровны созрел проект разом покончить, по крайней мере, хоть с одним недоумением — проект замечательный по своей неожиданности. Что было в сердце ее, когда она создала его? — трудно решить, да и не возьмусь я растолковывать заранее все противоречия, из которых он состоял. Как хроникер, я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными. Но, однако, должен еще раз засвидетельствовать, что подозрений на Дашу у ней к утру никаких не осталось, а по правде, никогда и не начиналось; слишком она была в ней уверена. Да и мысли она не могла допустить, чтоб ее Nicolas мог увлечься ее... «Дарьей». Утром, когда Дарья Павловна за чайным столиком разливала чай, Варвара Петровна долго и пристально в нее всматривалась и, может быть в двадцатый раз со вчерашнего дня, с уверенностью произнесла по себя:

— Все вздор!

Заметила только, что у Даши какой-то усталый вид и что она еще тише прежнего, еще апатичнее. После чаю, по заведенному раз навсегда обычаю, обе сели за рукоделье. Варвара Петровна велела ей дать себе полный отчет о ее заграничных впечатлениях, преимущественно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве, промышленности, — обо всем, что успела заметить. Ни одного вопроса о Дроздовых и о жизни с Дроздовыми. Даша, сидевшая подле нее за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, рассказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но несколько слабым голосом.

— Дарья, — прервала ее вдруг Варвара Петровна, — ничего у тебя нет такого особенного, о чем хотела бы ты сообщить?

— Нет, ничего, — капельку подумала Даша и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами.

— На душе, на сердце, на совести?

— Ничего, — тихо, но с какою-то угрюмою твердостью повтори́ла Даша.

— Так я и знала! Знай, Дарья, что я никогда не усомнюсь в тебе. Теперь сиди и слушай. Перейди на этот стул, садись напротив, я хочу всю тебя видеть. Вот так. Слушай, — хочешь замуж?

Даша отвечала вопросительным длинным взглядом, не слыш-ком, впрочем, удивленным.

— Стой, молчи. Во-первых, есть разница в годах, большая очень; но ведь ты лучше всех знаешь, какой это вздор. Ты рассудительна, и в твоей жизни не должно быть ошибок, Впрочем, он еще красивый мужчина... Одним словом, Степан Трофимович, которого ты всегда уважала. Ну?

Даша посмотрела еще вопросительнее и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснела.

— Стой, молчи; не спеши! Хоть у тебя и есть деньги, по моему завещанию, но умри я, что с тобой будет, хотя бы и с деньгами? Тебя обманут и деньги отнимут, ну и погибла. А за ним ты жена известного человека. Смотри теперь с другой стороны: умри я сейчас, — хоть я и обеспечу его, — что с ним будет? А на тебя-то уж я понадеюсь. Стой, я не договорила: он легкомыслен, мямля, жесток, эгоист, низкие привычки, но ты его цени, во-первых, уж потому, что есть и гораздо хуже. Ведь не за мерзавца же какого я тебя сбить с рук хочу, ты уж не подумала ли чего? А главное, потому что я прошу, потому и будешь ценить, — оборвала она вдруг раздражительно, — слышишь? Что же ты уперлась?

Даша все молчала и слушала.

— Стой, подожди еще. Он баба — но ведь тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба; его совсем не стоило бы любить женщине. Но его стоит за беззащитность его любить, и ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?

Даша кивнула головой утвердительно.

— Я так и знала, меньше не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! — как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна. — А впрочем, он и без долгу в тебя влюбится, я ведь знаю его. К тому же я сама буду тут. Не беспокойся, я всегда буду тут. Он станет на тебя жаловаться, он клеветать на тебя начнет, шептаться будет о тебе с первым встречным, будет ныть, вечно ныть; письма тебе будет писать из одной комнаты в другую, в день по два письма, но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное. Заставь слушаться; не сумеешь заставить — дура будешь. Повеситься

захочет, грозить будет — не верь; один только вздор! Не верь, а все-таки держи ухо востро, не ровен час и повесится; с этими-то и бывает; не от силы, а от слабости вешаются; а потому никогда не доводи до последней черты, — и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он поэт. Слушай, Дарья: нет выше счастья, как собою пожертвовать. И к тому же ты мне сделаешь большое удовольствие, а это главное. Ты не думай, что я по глупости сейчас сбрендил; я понимаю, что говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю; все в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну, что ж уселась, говори что-нибудь!

— Мне ведь все равно, Варвара Петровна, если уж непременно надобно замуж выйти, — твердо проговорила Даша.

— Непременно? Ты на что это намекаешь? — строго и пристально посмотрела Варвара Петровна.

Даша молчала, ковыряя в пальцах иголкой.

— Ты хоть и умна, но ты сбрендил. Это хоть и правда, что я непременно теперь тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось, и за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уж и двадцать лет... Ну?

— Я как вам угодно, Варвара Петровна.

— Значит, согласна! Стой, молчи, куда торопишься, я не договорила: по завещанию тебе от меня пятнадцать тысяч рублей положено. Я их теперь же тебе выдам, после венца. Из них восемь тысяч ты ему отдашь, то есть не ему, а мне. У него есть долг в восемь тысяч; я и уплачу, но надо, чтоб он знал, что твоими деньгами. Семь тысяч останутся у тебя в руках, отнюдь ему не давай ни рубля никогда. Долгов его не плати никогда. Раз заплатишь — потом не оберешься. Впрочем, я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по тысяче двести рублей содержания, а с экстренными тысячу пятьсот, кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут, точно так, как и теперь он пользуется. Прислугу только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать, прямо тебе на руки. Но будь и добра: иногда выдай и ему что-нибудь, и приятелям ходить позволяй, раз в неделю, а если чаще, то гони. Но я сама буду тут. А коли умру, пенсион ваш не прекратится до самой его смерти, слышишь, до *его* только смерти, потому что это его пенсион, а не твой. А тебе, кроме теперешних семи тысяч, которые у тебя останутся в целости, если не будешь сама глупа, еще восемь тысяч в завещании оставлю. И боль-

ше тебе от меня ничего не будет; надо, чтобы ты знала. Ну, согласна, что ли? Скажешь ли наконец что-нибудь?

— Я уже сказала, Варвара Петровна.

— Вспомни, что твоя полная воля, как захочешь, так и будет.

— Только позвольте, Варвара Петровна, разве Степан Трофимыч вам уже говорил что-нибудь?

— Нет, он ничего не говорил и не знает, но... он сейчас заговорит!

Она мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль. Даша опять немного покраснела и вопросительным взглядом следила за нею. Варвара Петровна вдруг обернулась к ней с пылающим от гнева лицом.

— Дура ты! — накинулась она на нее, как ястреб, — дура неблагодарная! Что у тебя на уме? Неужто ты думаешь, что я скомпрометирую тебя хоть чем-нибудь, хоть на столько вот! Да он сам на коленках будет ползать просить, он должен от счастья умереть, вот так это будет устроено! Ты ведь знаешь же, что я тебя в обиду не дам! Или ты думаешь, что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я бегу теперь тебя продавать? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные! Поддай зонтик!

И она полетела пешком, по мокрым кирпичным тротуарам и по деревянным мосткам к Степану Трофимовичу.

## VII

Это правда, что «Дарью» она не дала бы в обиду; напротив, теперь-то и считала себя ее благодетельницей. Самое благородное и безупречное негодование загорелось в душе ее, когда, надевая шаль, она поймала на себе смущенный и недоверчивый взгляд своей воспитанницы. Она искренно любила ее с самого ее детства. Прасковья Ивановна справедливо назвала Дарью Павловну ее фавориткой. Давно уже Варвара Петровна решила раз навсегда, что «Дарьин характер не похож на братнин» (то есть на характер брата ее, Ивана Шатова), что она тиха и кротка, способна к большому самопожертвованию, отличается преданностью, необыкновенною скромностью, редкою рассудительностью и, главное, благодарностью. До сих пор, по-видимому, Даша оправдывала все ее ожидания. «В этой жизни не будет ошибок», — сказала Варвара Петровна, когда девочке было еще двенадцать лет, и так как она имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей ее мечте, к каждому своему новому предназначению, к

каждой мысли своей, показавшейся ей светлою, то тотчас же и решила воспитывать Дашу как родную дочь. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку, мисс Кригс, которая и прожила у них до шестнадцатилетнего возраста воспитанницы, но ей вдруг почему-то было отказано. Ходили учителя из гимназии, между ними один настоящий француз, который и обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано вдруг, точно прогнали. Одна бедная, заезжая дама, вдова из благородных, обучала на фортепьяно. Но главным педагогом был все-таки Степан Трофимович. По-настоящему, он первый и открыл Дашу: он стал обучать тихого ребенка еще тогда, когда Варвара Петровна о ней и не думала. Опять повторю: удивительно, как к нему привязывались дети! Лизавета Николаевна Тушина училась у него с восемью лет до одиннадцати (разумеется, Степан Трофимович учил ее без вознаграждения и ни за что бы не взял его от Дроздовых). Но он сам влюбился в прелестного ребенка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были занимательнее арабских сказок. Лиза, которая млела за этими рассказами, чрезвычайно смешно передразнивала у себя дома Степана Трофимовича. Тот узнал про это и раз подглядел ее врасплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже, от восторга. Но Лиза скоро уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали ходить учителя, то Степан Трофимович оставил с нею свои занятия и мало-помалу совсем перестал обращать на нее внимание. Так продолжалось долгое время. Раз, когда уже ей было семнадцать лет, он был вдруг поражен ее миловидностью. Это случилось за столом у Варвары Петровны. Он заговорил с молодой девушкой, был очень доволен ее ответами и кончил предложением прочесть ей серьезный и обширный курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила и поблагодарила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал особенно приготавливаться к лекциям, И наконец, они наступили. Начали с древнейшего периода; первая лекция прошла увлекательно; Варвара Петровна присутствовала. Когда Степан Трофимович кончил и, уходя, объявил ученице, что в следующий раз приступит к разбору «Слова о полку Игореве», Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекций больше не будет. Степан Трофимович покоробился, но смолчал, Даша вспыхнула; тем и кончилась, однако же, затея. Произошло это ровно за три года до теперешней неожиданной фантазии Варвары Петровны.

Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не предчувствовал. В грустном раздумье давно уже поглядывал он в окно, не подойдет ли кто из знакомых. Но никто не хотел подходить. На дворе моросило, становилось холодно; надо было протопить печку; он вздохнул. Вдруг страшное видение предстало его очам: Варвара Петровна в такую погоду и в такой неурочный час к нему! И пешком! Он до того был поражен, что забыл переменить костюм и принял ее как был, в своей всегдашней, розовой ватной фуфайке.

— *Ma bonne amie!*.. — слабо крикнул он ей навстречу.

— Вы одни, я рада: терпеть не могу ваших друзей! Как вы всегда накурите; господа, что за воздух! Вы и чай не допили, а на дворе двенадцатый час! Ваше блаженство — беспорядок! Ваше наслаждение — сор! Что это за разорванные бумажки на полу? Настасья, Настасья! Что делает ваша Настасья? Отвори, матушка, окна, форточки, двери, все настежь. А мы в залу пойдемте; я к вам за делом. Да подмети ты хоть раз в жизни, матушка!

— Сорят-с! — раздражительно-жалобным голоском пропищала Настасья.

— А ты мети, пятнадцать раз в день мети! Дрянная у вас зала (когда вышли в залу). Затворите крепче двери, она станет подслушивать. Непременно надо обои переменить. Я ведь вам присылала обойщика с образчиками, что же вы не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же, наконец, прошу вас. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы!

— Я... сейчас, — крикнул из другой комнаты Степан Трофимович, — вот я и опять!

— А, вы переменяли костюм! — насмешливо оглядела она его. (Он накинул сюртук сверх фуфайки.) Этак действительно будет более подходить... к нашей речи. Садитесь же, наконец, прошу вас.

Она объяснила ему все сразу, резко и убедительно. Намекнула и о восьми тысячах, которые были ему до зарезу нужны. Подробно рассказала о приданом. Степан Трофимович тарашил глаза и трепетал. Слышал все, но ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но все обрывался голос. Знал только, что все так и будет, как она говорит, что возражать и не соглашаться дело пустое, а он женатый человек безвозвратно.

— *Mais, ma bonne amie!*<sup>1</sup>, в третий раз и в моих летах... и с таким ребенком! — проговорил он наконец. — *Mais c'est une enfant!*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Но, мой милый друг (фр.).

<sup>2</sup> Но ведь это ребенок! (фр.)

— Ребенок, которому двадцать лет, слава богу! Не вертите, пожалуста, зрачками, прошу вас, вы не на театре. Вы очень умны и учены, но ничего не понимаете в жизни, за вами постоянно должна нянька ходить. Я умру, и что с вами будет? А она будет вам хорошею нянькой; это девушка скромная, твердая, рассудительная; к тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Эта счастливая мысль мне еще в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы, если я сама вам говорю, что она ангел кротости! — вдруг яростно вскричала она. — У вас сор, она заведет чистоту, порядок, все будет как зеркало... Э, да неужто же вы мечтаете, что я еще кланяться вам должна с таким сокровищем, исчислять все выгоды, сватать! Да вы должны бы на коленях... О, пустой, пустой, малодушный человек!

— Но... я уже старик!

— Что значат ваши пятьдесят три года? Пятьдесят лет не конец, а половина жизни. Вы красивый мужчина, и сами это знаете. Вы знаете тоже, как она вас уважает. Умри я, что с нею будет? А за вами она спокойна, и я спокойна. У вас значение, имя, любящее сердце; вы получаете пенсион, который я считаю своею обязанностью. Вы, может быть, спасете ее, спасете! Во всяком случае, честь доставите. Вы сформируете ее к жизни, разовьете ее сердце, направите мысли. Нынче сколько погибают оттого, что дурно направлены мысли! К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомните.

— Я именно, — пробормотал он, уже польщенный ловкою лестью Варвары Петровны, — я именно собираюсь теперь присесть за мои «Рассказы из испанской истории»...

— Ну, вот видите, как раз и сошлось.

— Но... она? Вы ей говорили?

— О ней не беспокойтесь, да и нечего вам любопытствовать. Конечно, вы должны ее сами просить, умолять сделать вам честь, понимаете? Но не беспокойтесь, я сама буду тут. К тому же вы ее любите...

У Степана Трофимовича закружилась голова; стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея, с которою он никак не мог сладить.

— *Excellente amie!* — задрожал вдруг его голос, — я... я никогда не мог вообразить, что вы решитесь выдать меня... за другую... женщину!

— Вы не девица, Степан Трофимович; только девиц выдают, а вы сами женитесь, — ядовито прошипела Варвара Петровна.

— Oui, j'ai pris un mot pour un autre. Mais... с'est égal<sup>1</sup>, — уставился он на нее с потерянным видом.

— Вижу, что с'est égal, — презрительно процедила она, — господи! да с ним обморок! Настасья, Настасья! воды!

Но до воды не дошло. Он очнулся. Варвара Петровна взяла свой зонтик.

— Я вижу, что с вами теперь нечего говорить...

— Oui, oui, je suis incarable<sup>2</sup>.

— Но к завтраму вы отдохнете и обдумаете. Сидите дома, если что случится, дайте знать, хотя бы ночью. Писем не пишите, и читать не буду. Завтра же в это время приду сама, одна, за окончательным ответом, и надеюсь, что он будет удовлетворителен. Постарайтесь, чтобы никого не было и чтобы сору не было, а это на что похоже? Настасья, Настасья!

Разумеется, на завтра он согласился; да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство...

## VIII

Так называемое у нас имение Степана Трофимовича (душ пятьдесят по старинному счету, и смежное со Скворешниками) было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стало быть, теперь их сыну, Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекуновствовал, а потому, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная: он получал с отца в годдо тысячи рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и пятисот (а может быть, и того менее). Бог знает, как установились подобные отношения. Впрочем, всю эту тысячу целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублем в ней не участвовал. Напротив, весь доход с землицы оставлял у себя в кармане и, кроме того, разорил ее вконец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику и тихонько от Варвары Петровны продав на сруб рощу, то есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила, по крайней мере, тысяч восемь, а он взял за нее только пять. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а про-

<sup>1</sup> Да, я оговорился. Но... это все равно (фр.).

<sup>2</sup> Да, да, я не в состоянии (фр.).



сильно боялся. Она скрежетала зубами, когда наконец обо всем узнала. И вдруг теперь сынок извещал, что придет сам продать свои владения во что бы ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича ему стало совестно пред *ce cher enfant*<sup>1</sup> (которого он в последний раз видел целых девять лет тому назад, в Петербурге, студентом). Первоначально все имение могло стоить тысяч тринадцать или четырнадцать, теперь вряд ли кто бы дал за него и пять. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право, по смыслу формальной доверенности, продать лес и, поставив в счет тысячерублевый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно, сильно оградить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями высшими. В голове его мелькнула одна удивительно красивая мысль: когда придет Петруша вдруг благородно выложить на стол самый высший *maximum* цены, то есть даже пятнадцать тысяч, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы, и крепко-крепко, со слезами, прижать к груди *ce cher fils*<sup>2</sup>, чем и покончить все счета. Отдаленно и осторожно начал он развертывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый, благородный оттенок их дружеской связи... их «идее». Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новою легкомысленною и социальною молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна все отмалчивалась. Наконец сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее *maximum* цены, то есть тысяч шесть, семь (и за четыре можно было купить). Об остальных же восьми тысячах, улетевших с роцей, не сказала ни слова.

Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, и совсем не придет, — то есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам все такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете, лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без

<sup>1</sup> этим чудным ребенком (*фр.*).

<sup>2</sup> милого сына (*фр.*).

дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, — бежал, чего доброго.

— Удивительно мне это, — проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся, — Петруша *c'est une si pauvre tête!*<sup>1</sup> Он добр, благороден, очень чувствителен, и я так тогда, в Петербурге, порадовался, сравнив его с современною молодежью, но *c'est un pauvre sire tout de même...*<sup>2</sup> И знаете, все от той же недосиженности, сентиментальности! Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его... с чужого голоса, разумеется. И, однако, мне-то, мне каково! У меня здесь столько врагов, там еще более, припишут влиянию отца... Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем!

Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии, для обычной ему высылки денег: стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года четыре, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии: стало быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чем-то там хлопотал. Все это было прекрасно, но, однако, где же взять остальные семь-восемь тысяч, чтобы составить приличный *taximum* цены за имение? А что, если подыметя крик, и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. «Почему это, я заметил, — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, — почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие невероятные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник... почему это? Неужели тоже от сентиментальности?» Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича; я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимович знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу; писал он по крайности

<sup>1</sup> такой недалекий! (фр.)

<sup>2</sup> все равно, это жалкий человек... (фр.)

редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были по-модному, на *ты*, то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имений. И вдруг теперь эти восемь тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился.

Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно, поплакал, много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен, потом была легкая холерина, — одним словом, все произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей уже двадцать лет тому назад скончавшейся немочки и жалобно начал звать: «Простишь ли ты меня?» Вообще он был как-то сбит с толку. С горя мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. Наутро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок sprыснул духами, впрочем, лишь чуть-чуть, и, только завидел Варвару Петровну в окно, поскорей взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку.

— И прекрасно! — похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. — Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу рассудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего, — прибавила она, разглядывая узел его белого галстука, — покамест молчите, и я буду молчать. Скоро день вашего рождения; я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай и, пожалуйста, без вина и без закусок, впрочем, я сама все устрою. Пригласите ваших друзей, — впрочем, мы вместе сделаем выбор. Накануне вы с нею переговорите, если надо будет; а на вашем вечере мы не то что объявим или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так намекнем или дадим знать, безо всякой торжественности. А там недели через две и свадьба, по возможности без всякого шума... Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под венца, хоть в Москву например. Я тоже, может быть, с вами поеду... А главное, до тех пор молчите.

Степан Трофимович был удивлен. Он заикнулся было, что невозможно же ему так, что надо же переговорить с невестой, но Варвара Петровна раздражительно на него накинулась:

— Это зачем? Во-первых, ничего еще, может быть, и не будет...

— Как не будет! — пробормотал жених, совсем уже ошеломленный.

— Так. Я еще посмотрю... А впрочем, все так будет, как я сказала, и не беспокойтесь, я сама ее приготовлю. Вам совсем незачем. Все нужное будет сказано и сделано, а вам туда незачем. Для чего? Для какой роли? И сами не ходите и писем не пишете. И ни слуху ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать.

Она решительно не хотела объясняться и ушла видимо расстроенная. Кажется, чрезмерная готовность Степана Трофимовича поразила ее. Увы, он решительно не понимал своего положения, и вопрос еще не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив, явился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он куражился.

— Это мне нравится! — восклицал он, останавливаясь предомной и разводя руками. — Вы слышали? Она хочет довести до того, чтоб я, наконец, не захотел. Ведь я тоже могу терпение потерять и... не захотеть! «Сидите и нечего вам туда ходить», но почему я, наконец, непременно должен жениться? Потому только, что у ней явилась смешная фантазия? Но я человек серьезный и могу не захотеть подчиняться праздным фантазиям взбалмошной женщины! У меня есть обязанности к моему сыну и... и к самому себе! Я жертву приношу — понимает ли она это? Я, может быть, потому согласился, что мне наскучила жизнь и мне все равно. Но она может меня раздражить, и тогда мне будет уже не все равно; я обижусь и откажусь. *Et enfin, le ridicule...*<sup>1</sup> Что скажут в клубе? Что скажет... Липутин? «Может, ничего еще и не будет» — каково! Но ведь это верх! Это уж... это что же такое? — *Je suis un foçat, un Badinguet*<sup>2</sup>, un припертый к стене человек!..

И в то же время какое-то капризное самодовольствие, что-то легкомысленно-игривое проглядывало среди всех этих жалобных восклицаний. Вечером мы опять выпили.

<sup>1</sup> И, наконец, это смехотворно... (фр.)

<sup>2</sup> Я каторжник, Баденже (фр.).

## Глава третья

### ЧУЖИЕ ГРЕХИ

#### I

Прошло с неделю, и дело начало несколько раздвигаться.

Замечу вскользь, что в эту несчастную неделю я вынес много тоски, оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего в качестве ближайшего его конфидента. Тяготил его, главное, стыд, хотя мы в эту неделю никого не видали и все сидели одни; но он стыдился даже и меня, и до того, что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал, что все уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил, для необходимого моциону, только в полные сумерки, когда уже совершенно темнело.

Прошла неделя, а он все еще не знал, жених он или нет, и никак не мог узнать об этом наверно, как ни бился. С невестой он еще не видался, даже не знал, невеста ли она ему; даже не знал, есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь серьезное! К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одно из первоначальных писем его (а он написал их к ней множество) она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений, потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь, минуты, и сама даст ему *со временем* знать, когда к ней можно будет прийти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это «одно только баловство». Эту записку я сам читал; он же мне и показывал.

И, однако, все эти грубости и неопределенности, все это было ничто в сравнении с главной его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно; от нее он худел и падал духом. Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить даже со мной; напротив, при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик; а между тем сам же посылал за мною ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, жуждаясь во мне, как в воде или в воздухе.

Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собою разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную

тайну его и видел все насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча, — и признаюсь, от скуки быть конфидентом, — я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение мое было мелко и глупо; но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным.

— О, такова ли она была тогда! — проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне. — Такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили... Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли, свои мысли. Теперь все переменялось! Она говорит, что все это одна только старинная болтовня! Она презирует прежнее... Теперь она какой-то приказчик, эконом, ожесточенный человек, и все сердится...

— За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требование? — возразил я ему.

Он тонко посмотрел на меня.

— *Сher ami*, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужа-а-сно! но все-таки менее, чем теперь, когда я согласился.

Этим словечком своим он остался доволен, и мы распили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение; на другой день он был ужаснее и угрюмее, чем когда-либо.

Но всего более досадовал я на него за то, что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым, для возобновления знакомства, чего, как слышно, они и сами желали, так как спрашивали уже о нем, о чем и он тосковал ежедневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил; но, кроме того, он, неизвестно почему, воображал, что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие

сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо. И все-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался. Главное было в том, что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я рассчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимовича. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется на улице, — когда она выезжала прогуливаться верхом, в амазонке и на прекрасном коне, в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Слепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты, — но хоть мгновение, а оно существовало действительно, а потому можно себе представить, как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество.

Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветовал. Я же и обошел всех, по его просьбе, и всем наговорил, что Варвара Петровна поручила нашему «старика» (так все мы между собою звали Степана Трофимовича) какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет; что он заперся, а я ему помогаю, и пр., и пр. К одному только Липутину я не успел зайти и все откладывал, — а вернее сказать, я боялся зайти. Я знал вперед, что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе, что тут секрет, который собственно от него одного хотят скрыть, и только что я выйду от него, тотчас же пустится по всему городу разузнавать и сплетничать. Пока я все это себе представлял, случилось так, что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось, что он уже обо всем узнал от наших, мною только что предуведомленных. Но, странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимовиче, а, напротив, сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться, что не зашел к нему раньше, и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось, что рассказать; он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому, что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши «с новыми разговорами», об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том, что все кричат о новых идеях, и как это ко всем пристало, и пр., и пр. Он проговорил с четверть часа, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я терпеть

его не мог, но сознаюсь, что у него был дар заставить себя слушать, и особенно когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главной чертой его характера была зависть. Когда я, в тот же вечер, передал Степану Трофимовичу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре, — тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос: «Знает Липутин или нет?» Я стал ему доказывать, что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого; но Степан Трофимович стоял на своем.

— Вот верьте или нет, — заключил он под конец неожиданно, — а я убежден, что ему не только уже известно все со всеми подробностями о *нашем* положении, но что он и еще что-нибудь сверх того знает, что-нибудь такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже нет возврата!..

Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того целых пять дней мы ни слова не упоминали о Липутине; мне ясно было, что Степан Трофимович очень жалел о том, что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился.

## II

Однажды поутру, — то есть на седьмой или восьмой день после того, как Степан Трофимович согласился стать женихом, — часов около одиннадцати, когда я спешил, по обыкновению, к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение.

Я встретил Кармазинова, «великого писателя», как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению; я же упивался ими; они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу; повести с направлением, которые он все писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии; а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились.

Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки,



принимаемые, по обыкновению, при жизни их чуть не за гениев, — не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, — забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на театре. О, тут совсем не то, что с Пушкинными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться. Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их, именно под конец их поприща, принимает иногда размеры, достойные удивления. Бог знает, за кого они начинают принимать себя, — по крайней мере, за богов. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими с сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. Рассказывали, что он вас встретит, обласкает, прельстит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны и, уж разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке, которого он боится, он почтет священнейшим долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти; он серьезно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят, самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачивал его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отомстить.

С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода, где-то у английского берега, чему сам был свидетелем и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целью

выставить себя самого. Так и читалось между строками: «Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам все это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза — не правда ли, как это интересно?» Когда я передал мое мнение о статье Кармазинова Степану Трофимовичу, он со мной согласился.

Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидеть и, если возможно, с ним познакомиться. Я знал, что мог бы это сделать чрез Степана Трофимовича; они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его; мне уже его показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей.

Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его. Чистенькое личико его было не совсем красиво, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще внакидку, какой, например, носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии. Но, по крайней мере, все мелкие вещицы его костюма: запоночки, воротнички, пуговики, черепеховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенок непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных, прюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском спросил меня:

— Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу?

— На Быкову улицу? Да это здесь, сейчас же, — вскричал я в необыкновенном волнении. — Все прямо по этой улице и потом второй поворот налево.

— Очень вам благодарен.

Проклятие на эту минуту: я, кажется, оробел и смотрел подобострастно! Он мигом все это заметил и, конечно, тотчас же все

узнал, то есть узнал, что мне уже известно, кто он такой, что я его читал и благоговел пред ним с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо, как я указал ему. Не знаю, для чего я поворотил за ним назад; не знаю, для чего я пробежал подле него десять шагов. Он вдруг опять остановился.

— А не могли бы вы мне указать, где здесь всего ближе стоят извозчики? — прокричал он мне опять.

Скверный крик; скверный голос!

— Извозчики? извозчики всего ближе отсюда... у собора стоят, там всегда стоят, — и вот я чуть было не повернулся бежать за извозчиком. Я подозреваю, что он именно этого и ждал от меня. Разумеется, я тотчас же опомнился и остановился, но движение мое он заметил очень хорошо и следил за мною все с тою же скверною улыбкой. Тут случилось то, чего я никогда не забуду.

Он вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или, еще лучше, ридикюльчик, вроде старинных дамских ридикюлей, впрочем, не знаю, что это было, но знаю только, что я, кажется, бросился его поднимать.

Я совершенно убежден, что я его не поднял, но первое движение, сделанное мною, было неоспоримо; скрыть его я уже не мог и покраснел как дурак. Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства все, что ему можно было извлечь.

— Не беспокойтесь, я сам, — очаровательно проговорил он, то есть когда уже вполне заметил, что я не подниму ему ридикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своею дорогой, оставив меня в дураках. Было все равно, как бы я сам поднял. Минут с пять я считал себя вполне и навеки опозоренным; но, подойдя к дому Степана Трофимовича, я вдруг расхохотался. Встреча показалась мне так забавною, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимовича и изобразить ему всю сцену даже в лицах.

### III

Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какою-то жадностью набросился на меня, только что я вошел, и стал меня слушать, но с таким растерянным видом, что сначала, видимо, не понимал моих слов. Но

только что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя.

— Не говорите мне, не произносите! — воскликнул он чуть не в бешенстве, — вот, вот смотрите, читайте! читайте!

Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад; содержания самого пустого, все о Кармазинове и обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первая, от третьего дня (вероятно, была и от четвертого дня, а может быть, и от пятого):

«Если он наконец удостоит вас сегодня, то обо мне прошу ни слова. Ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте.

*В. С.»*

Вчерашняя:

«Если он решится наконец сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так по-моему, не знаю, как по-вашему.

*В. С.»*

Сегодняшняя, последняя:

«Я убеждена, что у вас сору целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришлю Марью и Фомушку; они в полчаса приберут. А вы не мешайте и посидите в кухне, пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы; давно собиралась вам подарить, и сверх того моего Теньера (на время). Вазы можно поставить на окошко, а Теньера повесьте справа над портретом Гете, там виднее и по утрам всегда свет. Если он наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером.

*В. С.*

P. S. Если и сегодня не придет, то совсем не придет».

Я прочел и удивился, что он в таком волнении от таких пустяков. Взглянув на него вопросительно, я вдруг заметил, что он, пока я читал, успел переменить свой всегдашний белый галстук на красный. Шляпа и палка его лежали на столе. Сам же был бледен, и даже руки его дрожали.

— Я знать не хочу ее волнений! — иступленно вскричал он, отвечая на мой вопросительный взгляд. — Je m'en fiche!<sup>1</sup> Она имеет дух волноваться о Кармазинове, а мне на мои письма не отвечает! Вот, вот нераспечатанное письмо мое, которое она вчера воротила мне, вот тут на столе, под книгой, под «L'homme qui rit»<sup>2</sup>. Какое мне дело, что она убивается о Ни-ко-леньке! Je m'en fiche et je proclame ma liberté. Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke!<sup>3</sup> Я вазы спрятал в переднюю, а Теньера в комод, а от нее потребовал, чтоб она сейчас же приняла меня. Слышите: потребовал! Я послал ей такой же клочок бумаги, карандашом, незапечатанный, с Настасьей, и жду. Я хочу, чтобы Дарья Павловна сама объявила мне из своих уст и пред лицом неба, или, по крайней мере, пред вами. Vous me seconderez n'est ce pas, comme ami et témoin<sup>4</sup>. Я не хочу краснеть, я не хочу лгать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле! Пусть мне во всем признаются, откровенно, простодушно, благородно, и тогда... тогда я, может быть, удивлю все поколение великодушием!.. Подлец я или нет, милостивый государь? — заключил он вдруг, грозно смотря на меня, как будто я-то и считал его подлецом.

Я попросил его выпить воды; я еще не видал его в таком виде. Все время, пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился предо мной в какой-то необычайной позе.

— Неужели вы думаете, — начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы, — неужели вы можете предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку, — нищенскую коробку мою! — и взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумасшедшей женщины, то есть самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может осуществиться на свете, несмотря на то что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам моим, милостивый государь мой! О, вы не верите, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы суметь кончить жизнь у

<sup>1</sup> Мне наплевать на это! (фр.)

<sup>2</sup> «Человек, который смеется» (фр.).

<sup>3</sup> Я на это плюю и объявляю себя свободным. К дьяволу Кармазинова! К дьяволу Лембке! (фр.)

<sup>4</sup> Не правда ли, вы меня поддержите, как друг и свидетель (фр.).

купца губернатором или умереть с голоду под забором! Отвечайте, отвечайте немедленно: верите вы или не верите?

Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое, что решительно обижало меня, и не лично, о нет! Но... я потом объяснюсь.

Он даже побледнел.

— Может быть, вам скучно со мной, Г—в (это моя фамилия), и вы бы желали... не приходите ко мне вовсе? — проговорил он тем тоном бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге; в то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку, на которой написано было что-то карандашом. Он взглянул и перебросил мне. На бумажке рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова: «Сидите дома».

Степан Трофимович молча схватил шляпу и палку и быстро пошел из комнаты; я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов послышались в коридоре. Он остановился как пораженный громом.

— Это Липутин, и я пропал! — прошептал он, схватив меня за руку.

В ту же минуту в комнату вошел Липутин.

#### IV

Почему бы он пропал от Липутина, я не знал, да и цены не придавал слову; я все приписывал нервам. Но все-таки испуг его был необычайный, и я решил пристально наблюдать.

Уж один вид входившего Липутина заявлял, что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собою одного неизвестного господина, должно быть, приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича он тотчас же и громко воскликнул:

— Гостя веду, и особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кириллов, замечательнейший инженер-строитель. А главное, сына вашего знают, многоуважаемого Петра Степановича; очень коротко-с; и поручение от них имеют. Вот только что пожаловали.

— О поручении вы прибавили, — резко заметил гость, — поручения совсем не бывало, а Верховенского я, вправде, знаю. Оставил в Х—ской губернии, десять дней пред нами.

Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться; посмотрел на меня, посмотрел на Липутина и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но все еще держа в руке шляпу и палку и не замечая того.

— Ба, да вы сами на выходе! А мне-то ведь сказали, что вы совсем прихворнули от занятий.

— Да, я болен, и вот теперь хотел гулять, я... — Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку и — покраснел.

Я между тем наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и видимо был доволен. Он уселся на плетеном стуле, который вытащил чуть не на середину комнаты, чтобы находиться в одинаковом расстоянии между хозяином и гостем, разместившимися один против другого на двух противоположных диванах. Вострые глаза его с любопытством шныряли по всем углам.

— Я... давно уже не видал Петрушу... Вы за границей встретились? — пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю.

— И здесь и за границей.

— Алексей Нилыч сами только что из-за границы, после четырехлетнего отсутствия, — подхватил Липутин — ездили для усовершенствования себя в своей специальности, и к нам прибыли, имея основание надеяться получить место при постройке нашего железнодорожного моста, и теперь ответа ожидают. Они с господами Дроздовыми, с Лизаветой Николаевной знакомы чрез Петра Степановича.

Инженер сидел как будто нахохлившись и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось, что он был на что-то сердит.

— Они и с Николаем Всеволодовичем знакомы-с.

— Знаете и Николая Всеволодовича? — осведомился Степан Трофимович.

— Знаю и этого.

— Я... я чрезвычайно давно уже не видал Петрушу и... так мало нахожу себя вправе называться отцом... *s'est le mot*<sup>1</sup>; я... как же вы его оставили?

— Да так и оставил... он сам приедет, — опять поспешил отделаться господин Кириллов. Решительно, он сердился.

— Приедет! Наконец-то я... видите ли, я слишком давно уже не видал Петрушу! — завяз на этой фразе Степан Трофимович. — Жду теперь моего бедного мальчика, пред которым... о, пред которым я так виноват! То есть я, собственно, хочу сказать, что, оставляя его тогда в Петербурге, я... одним словом, я считал его за ничто, *quelque chose dans ce genre*<sup>2</sup>. Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и... боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть... *je m'en souviens*. Епѣп<sup>3</sup>, чувства изящного никакого, то есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи... *s'était comme un petit idiot*<sup>4</sup>. Впрочем, я сам, кажется, спутался, извините, я... вы меня застали...

— Вы серьезно, что он подушку крестил? — с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер.

— Да, крестил...

— Нет, я так; продолжайте.

Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутина.

— Я очень вам благодарен за ваше посещение, но, признаюсь, я теперь... не в состоянии... Позвольте, однако, узнать, где квартируете?

— В Богоявленской улице, в доме Филиппова.

— Ах, это там же, где Шатов живет, — заметил я невольно.

— Именно, в том же самом доме, — воскликнул Липутин, — только Шатов наверху стоит, в мезонине, а они внизу поместились, у капитана Лебядкина. Они и Шатова знают, и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались.

— *Comment!*<sup>5</sup> Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве *de ce raucge ami*<sup>6</sup> и эту женщину? — воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством. — Вас первого человека встречаю, лично знающего; и если только...

---

<sup>1</sup> именно так (*фр.*).

<sup>2</sup> что-то в этом роде (*фр.*).

<sup>3</sup> я помню. В конце концов (*фр.*).

<sup>4</sup> он напоминал идиотика (*фр.*).

<sup>5</sup> Как! (*фр.*)

<sup>6</sup> нашего бедного друга (*фр.*).



— Какой вздор! — отрезал инженер, весь вспыхнув. — Как вы, Липутин, прибавляете! Никак я не видал жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко... Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи?

Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему, с каким-то вызовом уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.

— Извините меня, — внушительно заметил Степан Трофимович, — я понимаю, что это дело может быть деликатнейшим...

— Никакого тут деликатнейшего дела нет, и даже это стыдно, а я не вам кричал, что «вздор», а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня, если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю... совсем не знаю!

— Я понял, понял, и если настаивал, то потому лишь, что очень люблю нашего бедного друга, *notre irascible ami*<sup>1</sup>, и всегда интересовался... Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть, слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об *notre sainte Russie*<sup>2</sup> разные вещи, что я давно уже приписываю этот перелом в его организме — иначе назвать не хочу — какому-нибудь сильному семейному потрясению и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок...

— Я тоже совсем не знаю русского народа и... вовсе нет времени изучать! — отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи.

— Они изучают, изучают, — подхватил Липутин, — они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участвовавших случаев самоубийства в России и вообще о причинах, учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов.

Инженер страшно взволновался.

— Это вы вовсе не имеете права, — гневно забормотал он, — я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил совсем нечаянно. Тут не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права...

---

<sup>1</sup> нашего вспыльчивого друга (фр.).

<sup>2</sup> нашей святой Руси (фр.).

Липутин видимо наслаждался.

— Виноват-с, может быть, и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли.

Инженер слушал с презрительною и бледною улыбкой. С полминуты все помолчали.

— Все это глупо, Липутин, — проговорил наконец господин Кириллов с некоторым достоинством. — Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю, чтобы говорить... Если есть убеждения, то для меня ясно... а это вы глупо сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать...

— И, может быть, прекрасно делаете, — не утерпел Степан Трофимович.

— Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, — продолжал гость горячею скороговоркой, — я четыре года видел мало людей... Я мало четыре года разговаривал и старался не встречать, для моих целей, до которых нет дела, четыре года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей, — заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, — то вовсе не с тем, что боюсь от вас доноса правительству; это нет; пожалуйста, не подумайте пустяков в этом смысле...

На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть.

— Господа, мне очень жаль, — с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович, — но я чувствую себя нездоровым и расстроенным. Извините.

— Ах, это чтоб уходить, — спохватился господин Кириллов, схватывая картуз, — это хорошо, что сказали, а то я забывчив.

Он встал и с простодушным видом подошел с протянутою рукой к Степану Трофимовичу.

— Жаль, что вы нездоровы, а я пришел.

— Желаю вам всякого у нас успеха, — ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. —

Понимаю, что, если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей, и — забыли Россию, то, конечно, вы на нас, коренных русаков, поневоле должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. *Mais cela passe*<sup>1</sup>. В одном только я затрудняюсь: вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!

— Как? Как это вы сказали... ах черт! — воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я все дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал «я пропал», услышав его.

## V

Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.

— Это все оттого они так угрюмы сегодня, — ввернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и, так сказать, на лету, — оттого, что с капитаном Лебядкиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стегает, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилыч в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свиданья.

— Сестру? Больную? Нагайкой? — так и вскрикнул Степан Трофимович, — точно его самого вдруг охлестнули нагайкой. — Какую сестру? Какой Лебядкин?

Давешний испуг воротился в одно мгновение.

— Лебядкин? А, это отставной капитан; прежде он только штабс-капитаном себя называл...

— Э, какое мне дело до чина! Какую сестру? Боже мой... вы говорите, Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин...

— Тот самый и есть, *наш* Лебядкин, вот, помните, у Виргинского?

— Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался?

<sup>1</sup> Но это пройдет (*фр.*).

— А вот и воротился, уж почти три недели и при самых особенных обстоятельствах.

— Да ведь это негодяй!

— Точно у нас и не может быть негодяя? — осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватыми глазками Степана Трофимовича.

— Ах, боже мой, я совсем не про то... хотя, впрочем, о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать?.. Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать!

— Да все это такие пустяки-с... то есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно затем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать, а та будто бы от него пряталась в неизвестном месте; ну а теперь привез, вот и вся история. Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я все с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести, и за это вот господин Лебядкин, уже многие годы, будто бы с обольстителя ежегодную дань берет, в вознаграждение благородной обиды, так, по крайней мере, из его болтовни выходит — а по-моему, пьяные только слова-с. Просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно; полторы недели назад на босу ногу ходил, а теперь, сам видел, сотни в руках. У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее «в порядок приводит» нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занимают.

— Это все правда? — обратился Степан Трофимович к инженеру.

— Вы очень болтаете, Липутин, — пробормотал тот гневно.

— Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось! — не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович.

Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты.

— Алексей Нилыч даже нагайку вырвали-с, изломали и в окошко выбросили и очень поссорились, — прибавил Липутин.

— Зачем вы болтаете, Липутин, это глупо, зачем? — мигом повернулся опять Алексей Нилыч.

— Зачем же скрывать, из скромности, благороднейшие движения своей души, то есть вашей души-с, я не про свою говорю.

— Как это глупо... и совсем ненужно... Лебядкин глуп и совершенно пустой — и для действия бесполезный и... совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу.

— Ах, как жаль! — воскликнул Липутин с ясною улыбкой. — А то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешил-с. Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить, хотя вы, впрочем, наверно, уж и сами слышали. Ну, да уж в другой раз, Алексей Нилыч так торопятся... До свиданья-с. С Варварой Петровной анекдотик-то вышел, насмешила она меня третьего дня, нарочно за мной посылала, просто умора. До свиданья-с.

Но уж тут Степан Трофимович так и вцепился в него: он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил.

— Да как же-с? — начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимовича с своего стула. — Вдруг призвали меня и спрашивают «конфиденциально», как я думаю в собственном мнении: помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме? Как же не удивительно?

— Вы с ума сошли! — пробормотал Степан Трофимович и вдруг точно вышел из себя: — Липутин, вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и... еще что-нибудь хуже!

В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем.

— Помилуйте, Степан Трофимович! — бормотал Липутин будто бы в ужасном испуге, — помилуйте...

— Молчите и начинайте! Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать, очень прошу! Садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто... и без малейших отговорок!

— Знал бы только, что это вас так фраппирует, так я бы совсем и не начал-с... А я-то ведь думал, что вам уже все известно от самой Варвары Петровны!

— Совсем вы этого не думали! Начинайте, начинайте же, говорят вам!

— Только сделайте одолжение, присядьте уж и сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною... бегать. Нескладно выйдет-с.

Степан Трофимович сдержал себя и внушительно опустил в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них.

— Да что же начинать... так сконфузили...

## VI

— Вдруг третьего дня присылают ко мне своего человека: просят, дескать, побывать вас завтра в двенадцать часов. Можете представить? Я дело бросил и вчера ровнешенько в полдень звоню. Вводят меня в гостиную; подождал с минутку — вышли; посадили, сами напротив сели. Сижу и верить отказываюсь; сами знаете, как она меня всегда третировала! Начинают прямо без изворотов, по их всегдашней манере: «Вы помните, говорит, что четыре года назад Николай Всеволодович, будучи в болезни, сделал несколько странных поступков, так что недоумевал весь город, пока все объяснилось. Один из этих поступков касался вас лично. Николай Всеволодович тогда к вам заезжал по выздоровлении и по моей просьбе. Мне известно тоже, что он и прежде несколько раз с вами разговаривал. Скажите откровенно и прямодушно, как вы... (тут замялись немного) — как вы находили тогда Николая Всеволодовича... Как вы смотрели на него вообще... какое мнение о нем могли составить и... теперь имеете?..»

Тут уж совершенно замялись, так что даже переждали полную минутку и вдруг покраснели. Я перепугался. Начинают опять не то, чтобы трогательным, к ним это нейдет, а таким внушительным очень тоном:

«Я желаю, говорит, чтобы вы меня хорошо и безошибочно, говорит, поняли. Я послала теперь за вами, потому что считаю вас прозорливым и остроумным человеком, способным составить верное наблюдение (каковы комплименты!). Вы, говорит, поймете, конечно, и то, что с вами говорит мать... Николай Всеволодович испытал в жизни некоторые несчастья и многие повороты. Все это, говорит, могло повлиять на настроение ума его. Разумеется, говорит, я не говорю про помешательство, этого никогда быть не может! (твердо и с гордостью высказано). Но могло быть нечто странное, особенное, некоторый оборот мыслей, склонность к некоторому особому воззрению (все это точные слова их, и я по-

дивился, Степан Трофимович, с какою точностию Варвара Петровна умеет объяснять дело. Высокого ума дама!). По крайней мере, говорит, я сама заметила в нем некоторое постоянное беспокойство и стремление к особнным наклонностям. Но я мать, а вы человек посторонний, значит, способны, при вашем уме, составить более независимое мнение. Умоляю вас, наконец (так и было выговорено: умоляю), сказать мне всю правду, безо всяких ужимок, и если вы при этом дадите мне обещание не забыть потом никогда, что я говорила с вами конфиденциально, то можете ожидать моей совершенной и впредь всегдашней готовности отблагодарить вас при всякой возможности». Ну-с, каково-с!

— Вы... вы так фразировали меня... — пролепетал Степан Трофимович, — что я вам не верю...

— Нет, заметьте, заметьте, — подхватил Липутин, как бы и не слышав Степана Трофимовича, — каково же должно быть волнение и беспокойство, когда с таким вопросом обращаются с такой высоты к такому человеку, как я, да еще снисходят до того, что сами просят секрета. Это что же-с? Уж не получили ли известий каких-нибудь о Николае Всеволодовиче неожиданных?

— Я не знаю... известий никаких... я несколько дней не видался, но... но замечу вам... — лепетал Степан Трофимович, видимо едва справляясь со своими мыслями, — но замечу вам, Липутин, что, если вам передано конфиденциально, а вы теперь при всех...

— Совершенно конфиденциально! Да разрази меня бог, если я... А коли здесь... так ведь что же-с? Разве мы чужие, взять даже хоть бы и Алексея Нилыча?

— Я такого воззрения не разделяю; без сомнения, мы здесь трое сохраним секрет, но вас, четвертого, я боюсь и не верю вам ни в чем!

— Да что вы это-с? Да я пуше всех заинтересован, ведь мне вечная благодарность обещана! А вот я именно хотел, по сему же поводу, на чрезвычайно странный случай один указать, более, так сказать, психологический, чем просто странный. Вчера вечером, под влиянием разговора у Варвары Петровны (сами можете представить, какое впечатление на меня произвело), обратился я к Алексею Нилычу с отдаленным вопросом: вы, говорю, и за границей и в Петербурге еще прежде знали Николая Всеволодовича; как вы, говорю, его находите относительно ума и способностей? Они и отвечают этак лаконически, по их манере, что, дескать, тонкого ума и со здравым суждением, говорят, человек. А не заметили ли вы, в течение лет, говорю, некоторого, говорю, как бы уклонения

идей, или особенного оборота мыслей, или некоторого, говорю, как бы, так сказать, помешательства? Одним словом, повторяю вопрос самой Варвары Петровны. Представьте же себе: Алексей Нилыч вдруг задумались и сморщились вот точно так, как теперь: «Да, говорят, мне иногда казалось нечто странное». Заметьте при этом, что, если уж Алексею Нилычу могло показаться нечто странное, то что же на самом-то деле может оказаться, а?

— Правда это? — обратился Степан Трофимович к Алексею Нилычу.

— Я желал бы не говорить об этом, — отвечал Алексей Нилыч, вдруг подымая голову и сверкая глазами, — я хочу оспорить ваше право, Липутин. Вы никакого не имеете права на этот случай про меня. Я вовсе не говорил моего всего мнения. Я хоть и знаком был в Петербурге, но это давно, а теперь хоть и встретил, но мало очень знаю Николая Ставрогина. Прошу вас меня устранить и... и все это похоже на сплетню.

Липутин развел руками в виде угнетенной невинности.

— Сплетник! Да уж не шпион ли? Хорошо вам, Алексей Нилыч, критиковать, когда вы во всем себя устраняете. А вы вот не поверите, Степан Трофимович, чего уж, кажется-с, капитан Лебядкин, ведь уж, кажется, глуп как... то есть стыдно только сказать как глуп; есть такое одно русское сравнение, означающее степень; а ведь и он себя от Николая Всеволодовича обиженным почитает, хотя и преклоняется пред его остроумием: «Поражен, говорит, этим человеком: премудрый змий» (собственные слова). А я ему (все под тем же вчерашним влиянием и уже после разговора с Алексеем Нилычем): а что, говорю, как вы полагаете с своей стороны: помешан ваш премудрый змий или нет? Так верите ли, точно я его вдруг сзади кнутом охлестнул, без его позволения; просто привскочил с места: «Да, говорит... да, говорит, только это, говорит, не может повлиять...»; на что повлиять — не досказал; да так потом горестно задумался, так задумался, что и хмель соскочил. Мы в Филипповом трактире сидели-с. И только через полчаса разве ударил вдруг кулаком по столу: «Да, говорит, пожалуй, и помешан, только это не может повлиять...» — и опять не досказал, на что повлиять. Я вам, разумеется, только экстракт разговора передаю, но ведь мысль-то понятна; кого ни спроси, всем одна мысль приходит, хотя бы прежде никому и в голову не входила: «Да, говорят, помешан; очень умен, но, может быть, и помешан».

Степан Трофимович сидел в задумчивости и усиленно соображал.



— А почему Лебядкин знает?

— А об этом не угодно ли у Алексея Нилыча справиться, который меня сейчас здесь шпионом обозвал. Я шпион и — не знаю, а Алексей Нилыч знают всю подноготную и молчат-с.

— Я ничего не знаю, или мало, — с тем же раздражением отвечал инженер, — вы Лебядкина пьяным поите, чтоб узнавать. Вы и меня сюда привели, чтоб узнать и чтоб я сказал. Стало быть, вы шпион!

— Я еще его не поил-с, да и денег таких он не стоит, со всеми его тайнами, вот что они для меня значат, не знаю как для вас. Напротив, это он деньгами сыплет, тогда как двенадцать дней назад ко мне приходил пятнадцать копеек выпрашивать, и это он меня шампанским поит, а не я его. Но вы мне мысль подаете, и коли надо будет, то и я его напою, и именно чтобы разузнать, и может, и разузнаю-с... секретики все ваши-с, — злобно огрызнулся Липутин.

Степан Трофимович в недоумении смотрел на обоих спорщиков. Оба сами себя выдавали и, главное, не церемонились. Мне подумалось, что Липутин привел к нам этого Алексея Нилыча именно с целью втянуть его в нужный разговор чрез третье лицо, любимый его маневр.

— Алексей Нилыч слишком хорошо знают Николая Всеволодовича, — раздражительно продолжал он, — но только скрывают-с. А что вы спрашиваете про капитана Лебядкина, то тот раньше всех нас с ним познакомился в Петербурге, лет пять или шесть тому, в ту малоизвестную, если можно так выразиться, эпоху жизни Николая Всеволодовича, когда еще он и не думал нас здесь приездом своим осчастливить. Наш принц, надо заключить, довольно странный тогда выбор знакомства в Петербурге около себя завел. Тогда вот и с Алексеем Нилычем, кажется, познакомились.

— Берегитесь, Липутин, предупреждаю вас, что Николай Всеволодович скоро сам сюда хотел быть, а он умеет за себя постоять.

— Так меня-то за что же-с? Я первый кричу, что тончайшего и изящнейшего ума человек, и Варвару Петровну вчера в этом смысле совсем успокоил. «Вот в характере его, говорю ей, не могу поручиться». Лебядкин тоже в одно слово вчера: «От характера его, говорит, пострадал». Эх, Степан Трофимович, хорошо вам кричать, что сплетни да шпионство, и заметьте, когда уже сами от меня все выпытали, да еще с таким чрезмерным любопытством. А вот Варвара Петровна — так та прямо вчера в самую точку: «Вы, говорит, лично заинтересованы были в деле, потому к вам и обращаюсь». Да еще же бы нет-с! Какие уж тут цели, когда я личную

обиду при всем обществе от его превосходительства скушал! Кажется, имею причины и не для одних сплетен поинтересоваться. Сегодня жмет вам руку, а завтра ни с того ни с сего, за хлеб-соль вашу, вас же бьет по щекам при всем честном обществе, как только ему полюбитя. С жиру-с! А главное у них женский пол: мотыльки и храбрые петушки! Помещики с крылушками, как у древних амуров, Печорины-сердцееды! Вам хорошо, Степан Трофимович, холостяку завязтому, так говорить и за его превосходительство меня сплетником называть. А вот женились бы, так как вы и теперь еще такой молодец из себя, на хорошенькой да на молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери крючком заложите, да баррикады в своем же доме выстроите! Да чего уж тут: вот только будь эта m-lle Лебядкина, которую секут кнутьями, не сумасшедшая и не кривоногая, так, ей-богу подумал бы, что она-то и есть жертва страстей нашего генерала и что от этого самого и пострадал капитан Лебядкин «в своем фамильном достоинстве», как он сам выражается. Только разве вкусу их изящному противоречит, да для них и то не беда. Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалась под известное их настроение. Вы вот про сплетни, а разве я это кричу, когда уж весь город стучит, а я только слушаю да поддакиваю: поддакивать-то не запрещено-с.

— Город кричит? Об чем же кричит город?

— То есть это капитан Лебядкин кричит в пьяном виде на весь город, ну а ведь это не все ли равно, что вся площадь кричит? Чем же я виноват? Я интересуюсь только между друзей-с, потому что я все-таки здесь считаю себя между друзей-с, — с невинным видом обвел он нас глазами. — Тут случай вышел-с, сообразите-ка: выходит, что его превосходительство будто бы выслали еще из Швейцарии с одною благороднейшею девицей и, так сказать, скромною сиротой, которую я имею честь знать, триста рублей для передачи капитану Лебядкину. А Лебядкин немного спустя получил точнейшее известие, от кого не скажу, но тоже от наиболее благороднейшего лица, а стало быть, достовернейшего, что не триста рублей, а тысяча была выслана!.. Стало быть, кричит Лебядкин, девица семьсот рублей у меня утащила, и вытребовать хочет чуть не полицейским порядком, по крайней мере, угрожает и на весь город стучит...

— Это подло, подло от вас! — вскочил вдруг инженер со стула.

— Да ведь вы сами же и есть это наиболее благороднейшее лицо, которое подтвердило Лебядкину от имени Николая Всеволодови-

ча, что не триста, а тысяча рублей были высланы. Ведь мне сам капитан сообщил в пьяном виде.

— Это... это несчастное недоумение. Кто-нибудь ошибся и вышло... Это вздор, а вы подло!..

— Да и я хочу верить, что вздор, и с прискорбием слушаю, потому что, как хотите, наиболее благороднейшая девушка замешана, во-первых, в семистах рублях, а во-вторых, в очевидных интимностях с Николаем Всеволодовичем. Да ведь его превосходительству что стоит девушку благороднейшую осрамить или чужую жену обесславить, подобно тому, как тогда со мной казус вышел-с? Подвернется им полный великодушия человек, они и заставят его прикрыть своим честным именем чужие грехи. Так точно и я ведь вынес-с; я про себя говорю-с...

— Берегитесь, Липутин! — привстал с кресел Степан Трофимович и побледнел.

— Не верьте, не верьте! Кто-нибудь ошибся, а Лебядкин пьян... — восклицал инженер в невыразимом волнении, — все объяснится, а я больше не могу... и считаю низостью... и довольно, довольно!

Он выбежал из комнаты.

— Так что же вы? Да ведь и я с вами! — всполохнулся Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нильчем.

## VII

Степан Трофимович постоял с минуту в раздумье, как-то не глядя посмотрел на меня, взял свою шляпу, палку и тихо пошел из комнаты. Я опять за ним, как и давеча. Выходя из ворот, он, заметив, что я провожаю его, сказал:

— Ах да, вы можете служить свидетелем... *de l'accident. Vous m'accompagnez n'est-ce pas?*<sup>1</sup>

— Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте, что может выйти?

С жалкою и потерянною улыбкой, — улыбкой стыда и совершенного отчаяния, и в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг приостанавливаясь:

— Не могу же я жениться на «чужих грехах»!

---

<sup>1</sup> происшествия. Вы будете меня сопровождать, не правда ли? (*фр.*)

Я только и ждал этого слова. Наконец-то это заветное, скрываемое от меня словцо было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя:

— И такая грязная, такая... низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце и... еще до Липутина!

Он посмотрел на меня, не ответил и пошел тою же дорогой. Я не хотел отставать. Я хотел свидетельствовать пред Варварой Петровной. Я бы простил ему, если б он поверил только Липутину, по бабьему малодушию своему, но теперь уже ясно было, что он сам все выдумал еще гораздо прежде Липутина, а Липутин только теперь подтвердил его подозрения и подлил масла в огонь. Он не задумался заподозрить девушку с самого первого дня, еще не имея никаких оснований, даже липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замазать свадьбой с почтенным человеком дворянские грешки ее бесценного Nicolas! Мне непременно хотелось, чтоб он был наказан за это.

— O! Dieu qui est si grand et si bon!<sup>1</sup> О, кто меня успокоит! — воскликнул он, пройдя еще шагов сотню и вдруг остановившись.

— Пойдемте сейчас домой, и я вам все объясню! — вскричал я, силой поворачивая его к дому.

— Это он! Степан Трофимович, это вы? Вы? — раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка подле нас.

Мы ничего не видали, а подле нас вдруг появилась наездница, Лизавета Николаевна, со своим всегдашним провожатым. Она остановила коня.

— Идите, идите же скорее! — звала она громко и весело. — Я двенадцать лет не видала его и узнала, а он... Неужто не узнаете меня?

Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал ее. Он глядел на нее как бы с молитвой и не мог выговорить слова.

— Узнал и рад! Маврикий Николаевич, он в восторге, что видит меня! Что же вы не шли все две недели? Тетя убеждала, что вы больны и что вас нельзя потревожить; но ведь я знаю, тетя лжет. Я все топала ногами и вас бранила, но я непременно, непременно хотела, чтобы вы сами первый пришли, потому и не посылала. Боже, да он нисколько не переменялся! — рассматривала она его,

<sup>1</sup> О великий и милостивый Боже! (фр.).

наклоняясь с седла, — он до смешного не переменился! Ах нет, есть морщинки, много морщинок у глаз и на щеках, и седые волосы есть, но глаза те же! А я переменилась? Переменилась? Но что же вы все молчите?

Мне вспомнился в это мгновение рассказ о том, что она была чуть не больна, когда ее увезли одиннадцати лет в Петербург; в болезни будто бы плакала и спрашивала Степана Трофимовича.

— Вы... я... — лепетал он теперь обрывавшимся от радости голосом, — я сейчас вскричал: «Кто успокоит меня!» — и раздался ваш голос... Я считаю это чудом *et je commence à croire*<sup>1</sup>.

— *En Dieu? En Dieu, qui est là-haut et qui est si grand et si bon?*<sup>2</sup> Видите, я все ваши лекции наизусть помню. Маврикий Николаевич, какую он мне тогда веру преподавал *en Dieu, qui est si grand et si bon!* А помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку и как все закричали: «Земля, земля!» Няня Алена Фроловна говорит, что я после того ночью бредила и во сне кричала: «Земля, земля!» А помните, как вы мне историю принца Гамлета рассказывали? А помните, как вы мне описывали, как из Европы в Америку бедных эмигрантов перевозят? И все-то неправда, я потом все узнала, как перевозят, но как он мне хорошо лгал тогда, Маврикий Николаевич, почти лучше правды! Чего вы так смотрите на Маврикия Николаевича? Это самый лучший и самый верный человек на всем земном шаре, и вы его непременно должны полюбить, как меня! *Il fait tout ce que je veux*<sup>3</sup>. Но, голубчик Степан Трофимович, стало быть, вы опять несчастны, коли среди улицы кричите о том, кто вас успокоит? Несчастны, ведь так? Так?

— Теперь счастлив...

— Тетя обижает? — продолжала она не слушая, — все та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тетя! А помните, как вы бросались ко мне в объятия в саду, а я вас утешала и плакала, — да не бойтесь же Маврикия Николаевича; он про вас все, все знает, давно, вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он сколько угодно будет стоять!.. Приподнимите шляпу, снимите совсем на минутку, протяните голову, станьте на цыпочки, я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз поцеловала, когда мы прощались. Видите, та барышня из окна на нас любитесь... Ну ближе, ближе. Боже, как он поседел!

И она, принагнувшись в седле, поцеловала его в лоб.

<sup>1</sup> и начинаю веровать (фр.).

<sup>2</sup> В Бога? Во Всевышнего, который так велик и так милостив? (фр.)

<sup>3</sup> Он делает все, что я хочу (фр.).

— Ну, теперь к вам домой! Я знаю, где вы живете. Я сейчас, сию минуту буду у вас. Я вам, упряму, сделаю первый визит и потом на целый день вас к себе затащу. Ступайте же, приготовьтесь встречать меня.

И она ускакала с своим кавалером. Мы воротились. Степан Трофимович сел на диван и заплакал.

— Dieu! Dieu! — восклицал он, — enfin une minute de bonheur!<sup>1</sup>

Не более как через десять минут она явилась по обещанию, в сопровождении своего Маврикия Николаевича.

— Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps!<sup>2</sup> — поднялся он ей навстречу.

— Вот вам букет; сейчас ездил к m-me Шевалье, у ней всю зиму для имениниц букеты будут. Вот вам и Маврикий Николаевич, прошу познакомиться. Я хотела было пирог вместо букета, но Маврикий Николаевич уверяет, что это не в русском духе.

Этот Маврикий Николаевич был артиллерийский капитан, лет тридцати трех, высокого росту господин, красивый и безукоризненно порядочной наружности, с внушительною и на первый взгляд даже строгою физиономией, несмотря на его удивительную и деликатнейшую доброту, о которой всякий получал понятие чуть не с первой минуты своего с ним знакомства. Он, впрочем, был молчалив, казался очень хладнокровен и на дружбу не напрашивался. Говорили потом у нас многие, что он недалек; это было не совсем справедливо.

Я не стану описывать красоту Лизаветы Николаевны. Весь город уже кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие, которые уже возненавидели Лизавету Николаевну, и в-первых, за гордость: Дроздовы почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно было болезненное состояние Прасковьи Ивановны. Во-вторых, ненавидели ее за то, что она родственница губернаторши; в-третьих, за то, что она ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок; естественно, что появление Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что выдавалось в ней с первого взгляда — это ее бо-

<sup>1</sup> Боже! Боже!... наконец-то мгновение счастья! (фр.)

<sup>2</sup> Вы и счастье, вы приходите одновременно! (фр.)

лезненное, нервное, непрерывное беспокойство. Увы! бедняжка очень страдала, и все объяснилось впоследствии. Теперь, вспоминая прошедшее, я уже не скажу, что она была красавица, какую казалась мне тогда. Может быть, она была даже и совсем нехороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки, криво; была бледна, скулиста, смугла и худа лицом; но было же нечто в этом лице побеждающее и привлекающее! Какое-то могущество сказывалось в горящем взгляде ее темных глаз; она являлась «как победительница и чтобы победить». Она казалась гордою, а иногда даже дерзкою; не знаю, удавалось ли ей быть доброю; но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы заставить себя быть несколько доброю. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний; но все в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его, все было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям.

Она села на диван и оглядывала комнату.

— Почему мне в эдакие минуты всегда становится грустно, разгадайте, ученый человек? Я всю жизнь думала, что и бог знает как буду рада, когда вас увижу, и все припомню, и вот совсем как будто не рада, несмотря на то что вас люблю... Ах, боже, у него висит мой портрет! Дайте сюда, я его помню, помню!

Превосходный миниатюрный портрет акварелью двенадцатилетней Лизы был выслан Дроздовыми Степану Трофимовичу из Петербурга еще лет девять назад. С тех пор он постоянно висел у него на стене.

— Неужто я была таким хорошеньким ребенком? Неужто это мое лицо?

Она встала и с портретом в руках посмотрелась в зеркало.

— Поскорей возьмите! — воскликнула она, отдавая портрет. — Не вешайте теперь, после, не хочу и смотреть на него. — Она села опять на диван. — Одна жизнь прошла, началась другая, потом другая прошла — началась третья, и все без конца. Все концы точно как ножницами обрезают. Видите, какие я старые вещи рассказываю, а ведь сколько правды!

Она, усмехнувшись, посмотрела на меня; уже несколько раз она на меня взглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении и забыл, что обещал меня представить.

— А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас столько кинжалов и сабель?

У него действительно висели на стене, не знаю для чего, два ятагана накрест, а над ними настоящая черкесская шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела, что я хотел было что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович догадался наконец и меня представил.

— Знаю, знаю, — сказала она, — я очень рада. Мама об вас тоже много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем, это прекрасный человек. Я об вас уже составила смешное понятие: ведь вы конфидент Степана Трофимовича?

Я покраснел.

— Ах, простите, пожалуйста, я совсем не то слово сказала; во-все не смешное, а так... (Она покраснела и сконфузилась.) — Впрочем, что же стыдиться того, что вы прекрасный человек? Ну, пора нам, Маврикий Николаевич! Степан Трофимович, через полчаса чтобы вы у нас были. Боже, сколько мы будем говорить! Теперь уж я ваш конфидент, и обо всем, обо всем, понимаете?

Степан Трофимович тотчас же испугался.

— О, Маврикий Николаевич все знает, его не конфузьтесь!

— Что же знает?

— Да чего вы! — вскричала она в изумлении. — Ба, да ведь и правда, что они скрывают! Я верить не хотела. Дашу тоже скрывают. Тетя давеча меня не пустила к Даше, говорит, что у ней голова болит.

— Но... но как вы узнали?

— Ах, боже, так же, как и все. Эка мудрость!

— Да разве все?..

— Ну да как же? Мамаша, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню; ей ваша Настасья прибежала сказать. Ведь вы говорили же Настасье? Она говорит, что вы ей сами говорили.

— Я... я говорил однажды... — пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев, — но... я лишь намекнул... j'étais si nerveux et malade et puis...<sup>1</sup>

Она захохотала.

— А конфидента под рукой не случилось, а Настасья подвернулась, — ну и довольно! А у той целый город кумушек! Ну да полноте, ведь это все равно; ну пусть знают, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано... Да; забыла, — уселась она опять, — слушайте, что такое Шатов?

<sup>1</sup> я был так взволнован и болен, и к тому же... (фр.)



— Шатов? Это брат Дарьи Павловны...

— Знаю, что брат, какой вы, право! — перебила она в нетерпении. — Я хочу знать, что он такое, какой человек?

— C'est un pense-creux d'ici. C'est le meilleur et le plus irascible homme du monde...<sup>1</sup>

— Я сама слышала, что он какой-то странный. Впрочем, не о том. Я слышала, что он знает три языка, и английский, и может литературною работой заниматься. В таком случае, у меня для него много работы; мне нужен помощник, и чем скорее, тем лучше. Возьмет он работу или нет? Мне его рекомендовали...

— О, непременно, et vous ferez un bienfait...<sup>2</sup>

— Я вовсе не для bienfait, мне самой нужен помощник.

— Я довольно хорошо знаю Шатова, — сказал я, — и если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу.

— Передайте ему, чтоб он завтра утром пришел в двенадцать часов. Чудесно! Благодарю вас. Маврикий Николаевич, готовы?

Они уехали. Я, разумеется, тотчас же побежал к Шатову.

— Mon ami! — догнал меня на крыльце Степан Трофимович, — непременно будьте у меня в десять или в одиннадцать часов, когда я вернусь. О, я слишком, слишком виноват пред вами и... пред всеми, пред всеми.

## VIII

Шатова я не застал дома; забежал через два часа — опять нет. Наконец, уже в восьмом часу, я направился к нему, чтоб или застать его, или оставить записку; опять не застал. Квартира его была заперта, а он жил один, безо всякой прислуги. Мне было подумалось, не толкнуться ли вниз к капитану Лебядкину, чтобы спросить о Шатове; но тут было тоже заперто, и ни слуху, ни свету оттуда, точно пустое место. Я с любопытством прошел мимо дверей Лебядкина, под влиянием давешних рассказов. В конце концов я решил зайти завтра пораньше. Да и на записку, правда, я не очень надеялся; Шатов мог пренебречь, он был такой упрямый, застенчивый. Проклиная неудачу и уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова; он входил в дом и первый узнал меня. Так как он сам начал расспрашивать, то я и рассказал ему все в главных чертах и что у меня есть записка.

<sup>1</sup> Это местный фантазер. Это лучший и самый вспыльчивый человек на свете... (фр.)

<sup>2</sup> вы совершите благодеяние (фр.).

— Пойдемте, — сказал он, — я все сделаю.

Я вспомнил, что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая, глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир, а эта старуха, кажется, родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той, куда мы вошли, мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак: два ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас зажегла лампадку, а на стенах висели два больших, тусклых, масляных портрета, один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в двадцатых годах столетия; другой изображал какого-то архиерея.

Господин Кириллов, войдя, засветил свечу и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранным, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку.

— Запечатайте вашу записку и надпишите конверт.

Я было возразил, что не надо, но он настоял. Надписав конверт, я взял фуражку.

— А я думал, вы чаю, — сказал он, — я чай купил. Хотите?

Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные, грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахара.

— Я чай люблю, — сказал он, — ночью, много; хожу и пью; до рассвета. За границей чай ночью неудобно.

— Вы ложитесь на рассвете?

— Всегда; давно. Я мало ем; все чай. Липутин хитер, но нетерпелив.

Меня удивило, что он хотел разговаривать; я решился воспользоваться минутой.

— Давеча вышли неприятные недоразумения, — заметил я.

Он очень нахмурился.

— Это глупость; это большие пустяки. Тут все пустяки, потому что Лебядкин пьян. Я Липутину не говорил, а только объяснил пустяки; потому что тот перевернул. У Липутина много фантазии, вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину верил.

— А сегодня мне? — засмеялся я.

— Да ведь вы уже про все знаете давеча. Липутин или слаб, или нетерпелив, или вреден, или... завидует.

Последнее словцо меня поразило.

— Впрочем, вы столько категорий наставили, не мудрено, что под которую-нибудь и подойдет.

— Или ко всем вместе.

— Да, и это правда. Липутин — это хаос! Правда, он врал давеча, что вы хотите какое-то сочинение писать?

— Почему же врал? — нахмурился он опять, уставившись в землю.

Я извинился и стал уверять, что не выпытываю. Он покраснел.

— Он правду говорил; я пишу. Только это все равно.

С минуту помолчали; он вдруг улыбнулся давешнею детскою улыбкой.

— Он это про головы сам выдумал из книги и сам сначала мне говорил, и понимает худо, а я только ищу причины, почему люди не смеют убить себя; вот и все. И это все равно.

— Как не смеют? Разве мало самоубийств?

— Очень мало.

— Неужели вы так находите?

Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед.

— Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства? — спросил я.

Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, об чем мы говорили.

— Я... я еще мало знаю... два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая.

— Какая же маленькая-то?

— Боль.

— Боль? Неужто это так важно... в этом случае?

— Самое первое. Есть два рода: те, которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там все равно... те вдруг. Те мало о боли думают, а вдруг. А которые с рассудка — те много думают.

— Да разве есть такие, что с рассудка?

— Очень много. Если б предрассудка не было, было бы больше; очень много; все.

— Ну уж и все?

Он промолчал.

— Да разве нет способов умирать без боли?

— Представьте, — остановился он предо мною, — представьте камень такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову — будет вам больно?

— Камень с дом? Конечно, страшно.

— Я не про страх; будет больно?

— Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ничего не больно.

— А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все, все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно.

— Ну, а вторая причина, большая-то?

— Тот свет.

— То есть наказание?

— Это все равно. Тот свет; один тот свет.

— Разве нет таких атеистов, что совсем не верят в тот свет?

Опять он промолчал.

— Вы, может быть, по себе судите?

— Всякий не может судить как по себе, — проговорил он покраснев. — Вся свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. Вот всему цель.

— Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?

— Никто, — произнес он решительно.

— Человек смерти боится, потому что жизнь любит, вот как я понимаю, — заметил я, — и так природа велела.

— Это подло, и тут весь обман! — глаза его засверкали. — Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет. А тот Бог не будет.

— Стало быть, тот Бог есть же, по-вашему?

— Его нет, но Он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога, и от уничтожения Бога до...

— До гориллы?

— ...До перемены земли и человека физически. Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела

переменятся, и мысли, и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?

— Если будет все равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет.

— Это все равно. Обман убьют. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут всё, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот Бог. Теперь всякий может сделать, что Бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.

— Самоубийц миллионы были.

— Но всё не затем, всё со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас Бог станет.

— Не успеет, может быть, — заметил я.

— Это все равно, — ответил он тихо, с покойною гордостью, чуть не с презрением. — Мне жаль, что вы как будто смеетесь, — прибавил он через полминуты.

— А мне странно, что вы давеча были так раздражительны, а теперь так спокойны, хотя и горячо говорите.

— Давеча? Давеча было смешно, — ответил он с улыбкой, — я не люблю бранить и никогда не смеюсь, — прибавил он грустно.

— Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем. — Я встал и взял фуражку.

— Вы думаете? — улыбнулся он с некоторым удивлением. — Почему же? Нет, я... я не знаю, — смешался он вдруг, — не знаю, как у других, и я так чувствую, что не могу как всякий. Всякий думает и потом сейчас о другом думает. Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня Бог всю жизнь мучил, — заключил он вдруг с удивительною экспансивностью.

— А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в пять лет разучились?

— Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил... мне все равно.

— Еще вопрос более деликатный: я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговорились?

— С вами? Вы давеча хорошо сидели и вы... впрочем все равно... вы на моего брата очень похожи, много, чрезвычайно, —

проговорил он покраснев, — он семь лет умер; старший, очень, очень много.

— Должно быть, имел большое влияние на ваш образ мыслей.

— Н-нет, он мало говорил; он ничего не говорил. Я вашу записку отдам.

Он проводил меня с фонарем до ворот, чтобы запереть за мной. «Разумеется, помешанный», — решил я про себя. В воротах произошла новая встреча.

## IX

Только что я занес ногу за высокий порог калитки, вдруг чья-то сильная рука схватила меня за грудь.

— Кто сей? — взревел чей-то голос, — друг или недруг? Кайся!

— Это наш, наш! — завизжал подле голосок Липутина, — это господин Г — в, классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек.

— Люблю, коли с обществом, кла-сси-чес... значит, о-бра-зо-ваннейший... отставной капитан Игнат Лебядкин, к услугам мира и друзей... если верны, если верны, подлецы!

Капитан Лебядкин, вершков десяти росту, толстый, мясистый, курчавый, красный и чрезвычайно пьяный, едва стоял предо мной и с трудом выговаривал слова. Я, впрочем, его и прежде видал издали.

— А, и этот! — взревел он опять, заметив Кириллова, который все еще не уходил с своим фонарем; он поднял было кулак, но тотчас опустил его.

— Прощаю за ученость! Игнат Лебядкин — образо-о-ван-нейший...

Любви пылающей граната  
Лопнула в груди Игната.  
И вновь заплакал горькой мукой  
По Севастополю безрукий.

— Хоть в Севастополе не был и даже не безрукий, но каковы же рифмы! — лез он ко мне с своею пьяною рожей.

— Им некогда, некогда, они домой пойдут, — уговаривал Липутин, — они завтра Лизавете Николаевне перескажут.

— Лизавете!.. — завопил он опять, — стой-нейди! Варьянт:

И порхает звезда на коне  
В хороводе других амазонок;  
Улыбается с лошади мне  
Ари-сто-кратический ребенок.

«Звезде-амазонке».

— Да ведь это же гимн! Это гимн, если ты не осел! Бездельники не понимают! Стой! — уцепился он за мое пальто, хотя я рвался изо всех сил в калитку. — Передай, что я рыцарь чести, а Дашка... Дашку я двумя пальцами... крепостная раба и не смеет...

Тут он упал, потому что я с силой вырвался у него из рук и побежал по улице. Липутин увязался за мной.

— Его Алексей Нилыч подымут. Знаете ли, что я сейчас от него узнал? — болтал он впопыхах. — Стишки-то слышали? Ну, вот он эти самые стихи к «Звезде-амазонке» запечатал и завтра посылает к Лизавете Николаевне за своею полною подписью. Как-ков!

— Бьюсь об заклад, что вы его сами подготовили.

— Проиграете! — захохотал Липутин. — Влюблен, влюблен как кошка, а знаете ли, что началось ведь с ненависти. Он до того сперва возненавидел Лизавету Николаевну за то, что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице; да и ругал же! Еще третьего дня выругал, когда она проезжала, — к счастью, не слышала, и вдруг сегодня стихи! Знаете ли, что он хочет рискнуть предложение? Seriously, seriously!

— Я вам удивляюсь, Липутин, везде-то вы вот, где только этакая дрянь заведется, везде-то вы тут руководите! — проговорил я в ярости.

— Однако же, вы далеко заходите, господин Г—в; не сердчишко ли у нас екнуло, испугавшись соперника, — а?

— Что-о-о? — закричал я, останавливаясь.

— А вот же вам в наказание и ничего не скажу дальше! А ведь как бы вам хотелось услышать? Уж одно то, что этот дуралей теперь не простой капитан, а помещик нашей губернии, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему все свое поместье, бывшие свои двести душ на днях продали, и вот же вам Бог не лгу! сейчас узнал, но зато из наивернейшего источника. Ну а теперь дошупывайтесь-ка сами; больше ничего не скажу; до свиданья-с!

## X

Степан Трофимович ждал меня в истерическом нетерпении. Уже с час как он воротился. Я застал его как бы пьяного; первые пять минут, по крайней мере, я думал, что он пьян. Увы, визит к Дроздовым сбил его с последнего толку.

— Mon ami, я совсем потерял мою нитку... Lise... я люблю и уважаю этого ангела по-прежнему; именно по-прежнему; но, мне кажется, они ждали меня обе единственно, чтобы кое-что выведать, то есть попросту вытянуть из меня, а там и ступай себе с богом... Это так.

— Как вам не стыдно! — вскричал я, не вытерпев.

— Друг мой, я теперь совершенно один. Enfin c'est ridicule<sup>1</sup>. Представьте, что и там все это напицкано тайнами. Так на меня и накинулись об этих носсах и ушах и еще о каких-то петербургских тайнах. Они ведь обе только здесь в первый раз провели об этих здешних историях с Nicolas четыре года назад: «Вы тут были, вы видели, правда ли, что он сумасшедший?» И откуда эта идея вышла, не понимаю. Почему Прасковье непременно так хочется, чтобы Nicolas оказался сумасшедшим? Хочется этой женщине, хочется! Ce Maurice<sup>2</sup>, или, как его, Маврикий Николаевич, brave homme tout de même<sup>3</sup>, но неужели в его пользу, и после того как сама же первая писала из Парижа к cette pauvre amie...<sup>4</sup> Enfin, эта Прасковья, как называет ее cette chère amie<sup>5</sup>, это тип, это бессмертной памяти Гоголева Коробочка, но только злая Коробочка, задорная Коробочка и в бесконечно увеличенном виде.

— Да ведь это сундук выйдет; уж и в увеличенном?

— Ну, в уменьшенном, все равно, только не перебивайте, потому что у меня все это вертится, там они совсем расплевались; кроме Lise; та все еще: «Тетя, тетя»; но Lise хитра, и тут еще что-то есть. Тайны. Но со старухой рассорились. Cette pauvre<sup>6</sup> тетя, правда, всех деспотирует... а тут и губернаторша, и непочтительность общества, и «непочтительность» Кармазинова; а тут вдруг эта мысль о помешательстве, ce Lipoutine, ce que je ne comprends

<sup>1</sup> Наконец, это смешно (фр.).

<sup>2</sup> Этот Маврикий (фр.).

<sup>3</sup> все-таки славный малый (фр.).

<sup>4</sup> этому бедному другу (фр.).

<sup>5</sup> этот дорогой друг (фр.).

<sup>6</sup> Эта бедная (фр.).



pas<sup>1</sup>, и — и, говорят, голову уксусом обмочила, а тут и мы с вами, с нашими жалобами и с нашими письмами... О, как я мучил ее и в такое время! Je suis un ingrât! <sup>2</sup>Вообразите, возвращаюсь и нахожу от нее письмо; читайте, читайте! О, как неблагородно было с моей стороны.

Он подал мне только что полученное письмо от Варвары Петровны. Она, кажется, раскаялась в утрешнем своем: «Сидите дома». Письмецо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. Послезавтра, в воскресенье, она просила к себе Степана Трофимовича ровно в двенадцать часов и советовала привести с собой кого-нибудь из друзей своих (в скобках стояло мое имя). С своей стороны, обещалась позвать Шатова, как брата Дарьи Павловны. «Вы можете получить от нее окончательный ответ, довольно ли с вас будет? Этой ли формальности вы так добивались?»<sup>3</sup>

— Заметьте эту раздражительную фразу в конце о формальности. Бедная, бедная, друг всей моей жизни! Признаюсь, это *внезапное* решение судьбы меня точно придавило... Я, признаюсь, все еще надеялся, а теперь tout est dit, я уж знаю, что кончено; c'est terrible<sup>3</sup>. О, кабы не было совсем этого воскресенья, а все по-старому: вы бы ходили, а я бы тут...

— Вас сбили с толку все эти давешние липутинские мерзости, сплетни.

— Друг мой, вы сейчас попали в другое больное место, вашим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостны, а иногда бестолковы, *raison*<sup>4</sup>, но, вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом, о мерзостях-то, то есть я вовсе не забыл, но я, по глупости моей, все время, пока был у Lise, старался быть счастливым и уверял себя, что я счастлив. Но теперь... о, теперь я про эту великодушную, гуманную, терпеливую к моим подлым недостаткам женщину, — то есть хоть и не совсем терпеливую, но ведь и сам-то я каков, с моим пустым, скверным характером! Ведь я блажной ребенок, со всем эгоизмом ребенка, но без его невинности. Она двадцать лет ходила за мной, как нянька, *cette pauvre* тетя, как грациозно называет ее Lise... И вдруг, после двадцати лет, ребенок захотел жениться, жени да жени, письмо за письмом, а у ней голова в уксусе и... и, вот и достиг, в воскресенье женатый человек, шутка сказать... И чего сам настаивал, ну зачем я пись-

<sup>1</sup> этот Липутин, все то, чего я не понимаю (*фр.*).

<sup>2</sup> Я неблагодарный человек! (*фр.*)

<sup>3</sup> все решено ... это ужасно (*фр.*).

<sup>4</sup> простите (*фр.*).

ма писал? Да, забыл: Lise боготворит Дарью Павловну, говорит по крайней мере; говорит про нее: «C'est un ange<sup>1</sup>, но только несколько скрытный». Обе советовали, даже Прасковья... впрочем, Прасковья не советовала. О, сколько яду заперто в этой Коробочке! Да и Lise, собственно, не советовала: «К чему вам жениться; довольно с вас и ученых наслаждений». Хохоchet. Я ей простил ее хохот, потому что у ней у самой скребет на сердце. Вам, однако, говорят они, без женщины невозможно. Приближаются ваши немощи, а она вас укроет, или как там... Ma foi<sup>2</sup>, я и сам, все это время с вами сидя, думал про себя, что Провидение посылает ее на склоне бурных дней моих и что она меня укроет или как там... enfin<sup>3</sup>, понадобится в хозяйстве. Вон у меня такой сор, вон смотрите, все это валяется, давеча велел прибрать, и книга на полу. La pauvre amie все сердилась, что у меня сор... О, теперь уж не будет раздаваться голос ее! Vingt ans!<sup>4</sup> И-и у них, кажется, анонимные письма, вообразите, Nicolas продал будто бы Лебядкину имение. C'est un monstre; et enfin<sup>5</sup>, кто такой Лебядкин? Lise слушает, слушает, ух как она слушает! Я простил ей ее хохот, я видел, с каким лицом она слушала, и се Maurice... я бы не желал быть в его теперешней роли, brave homme tout de même, но несколько застенчив; впрочем, бог с ним...

Он замолчал; он устал и сбился и сидел, понутив голову, смотря неподвижно в пол усталыми глазами. Я воспользовался промежутком и рассказал о моем посещении дома Филиппова, причем резко и сухо выразил мое мнение, что действительно сестра Лебядкина (которую я не видал) могла быть когда-то какой-нибудь жертвой Nicolas, в загадочную пору его жизни, как выражался Липутин, и что очень может быть, что Лебядкин почему-нибудь получает с Nicolas деньги, но вот и все. Насчет же сплетен о Дарье Павловне, то все это вздор, все это натяжки мерзавца Липутина, и что так, по крайней мере, с жаром утверждает Алексей Нильч, которому нет оснований не верить. Степан Трофимович прослушал мои уверения с рассеянным видом, как будто до него не касалось. Я кстати упомянул и о разговоре моем с Кирилловым и прибавил, что Кириллов, может быть, сумасшедший.

— Он не сумасшедший, но это люди с коротенькими мыслями, — вяло и как бы нехотя промямлил он. — Ces gens-là supposent

<sup>1</sup> Это ангел (фр.).

<sup>2</sup> Право (фр.).

<sup>3</sup> наконец (фр.).

<sup>4</sup> Двадцать лет! (фр.)

<sup>5</sup> Это чудовище; и наконец (фр.).

la nature et la société humaine autres que Dieu ne les a faites et qu'elles ne sont réellement<sup>1</sup>. С ними заигрывают, но, по крайней мере, не Степан Верховенский. Я видел их тогда в Петербурге, avec cette chère amie (о, как я тогда оскорблял ее!), и не только их ругательств, — я даже их похвал не испугался. Не испугаюсь и теперь, mais parlons d'autre chose...<sup>2</sup>, я, кажется, ужасных вещей наделал; вообразите, я отослал Дарье Павловне вчера письмо и... как я клянусь себя за это!

— О чем же вы писали?

— О, друг мой, поверьте, что все это с таким благородством. Я уведомил ее, что я написал к Nicolas, еще дней пять назад, и тоже с благородством.

— Понимаю теперь! — вскричал я с жаром. — И какое право имели вы их так сопоставить?

— Но, mon cher, не давите же меня окончательно, не кричите на меня; я и то весь раздавлен, как... как таракан, и, наконец, я думаю, что все это так благородно. Предположите, что там что-нибудь действительно было... en Suisse...<sup>3</sup> или начиналось. Должен же я спросить сердца их предварительно, чтобы... enfin, чтобы не помешать сердцам и не стать столбом на их дороге... Я единственно из благородства.

— О боже, как вы глупо сделали! — невольно сорвалось у меня.

— Глупо, глупо! — подхватил он даже с жадностью. — Никогда ничего не сказали вы умнее, c'était bête, mais que faire, tout est dit<sup>4</sup>. Все равно женюсь, хоть и на «чужих грехах», так к чему же было и писать? Не правда ли?

— Вы опять за то же!

— О, теперь меня не испугаете вашим криком, теперь пред вами уже не тот Степан Верховенский; тот похоронен; enfin, tout est dit<sup>5</sup>. Да и чего кричите вы? Единственно потому, что не сами женитесь и не вам придется носить известное головное украшение. Опять вас коробит? Бедный друг мой, вы не знаете женщину, а я только и делал, что изучал ее. «Если хочешь победить весь мир, победи себя», — единственно, что удалось хорошо сказать другому такому же, как и вы, романтику, Шатову, братцу супруги моей. Охот-

<sup>1</sup> Эти люди полагают человеческую природу и общество иными, чем их создал Бог и что они есть в действительности (фр.).

<sup>2</sup> но поговорим о другом... (фр.)

<sup>3</sup> в Швейцарии... (фр.)

<sup>4</sup> это было глупо, но что делать, все решено (фр.).

<sup>5</sup> словом, все решено (фр.).

но у него заимствую его изречение. Ну, вот и я готов победить себя, и женюсь, а между тем что завоюю, вместо целого-то мира? О другой мой, брак — это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию, мужество в служении делу, пойдут дети, еще, пожалуй, не мои, то есть, разумеется, не мои; мудрый не боится заглянуть в лицо истине... Липутин предлагал давеча спастись от Nicolas баррикадами; он глуп, Липутин. Женщина обманет само всевидящее око. *Le bon Dieu*<sup>1</sup>, создавая женщину, уж конечно, знал чему подвергался, но я уверен, что она сама помешала ему; сама захотела участвовать в своем создании и сама заставила себя создать в таком виде и с такими атрибутами; иначе кто же захотел наживать себе такие хлопоты даром? Настасья, я знаю, может, и рассердится на меня за вольнодумство, но... *Enfin, tout est dit*.

Он не был бы сам собою, если бы обошелся без дешевенького, каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, по крайней мере, теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго.

— О, почему бы совсем не быть этому послезавтра, этому воскресенью! — воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии, — почему бы не быть хоть одной этой неделе без воскресенья — *si le miracle existe?*<sup>2</sup> Ну, что бы стоило Провидению вычеркнуть из календаря хоть одно воскресенье, ну хоть для того, чтобы доказать атеисту свое могущество *et que tout soit dit!*<sup>3</sup> О, как я любил ее! двадцать лет, все двадцать лет, и никогда-то она не понимала меня!

— Но про кого вы говорите; и я вас не понимаю! — спросил я с удивлением.

— *Vingt ans!* И ни разу не поняла меня, о, это жестоко! И ужели она думает, что я женюсь из страха, из нужды? О позор! тетя, тетя, я для тебя!.. О, пусть узнает она, эта тетя, что она единственная женщина, которую я обожал двадцать лет! Она должна узнать это, иначе не будет, иначе только силой потащат меня под этот *se qu'on appelle le*<sup>4</sup> венец!

Я в первый раз слышал это признание и так энергически высказанное. Не скрою, что мне ужасно хотелось засмеяться. Я был не прав.

---

<sup>1</sup> Всемиловитый Господь (фр.).

<sup>2</sup> если чудеса бывают (фр.).

<sup>3</sup> и пусть все будет кончено! (фр.)

<sup>4</sup> так называемый (фр.).

— Один, один он мне остался теперь, одна надежда моя! — всплеснул он вдруг руками, как бы внезапно пораженный новой мыслью, — теперь один только он, мой бедный мальчик, спасет меня и — о, что же он не едет! О сын мой, о мой Петруша... и хоть я недостойн названия отца, а скорее тигра, но... *laissez-moi, mon ami*<sup>1</sup>, я немножко полежу, чтобы собраться с мыслями. Я так устал, так устал, да и вам, я думаю, пора спать, *voyez-vous*<sup>2</sup>, двенадцать часов...

## Глава четвертая

### ХРОМОНОЖКА

#### I

Шатов не заупрямился и, по записке моей, явился в полдень к Лизавете Николаевне. Мы вошли почти вместе; я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то есть Лиза, мамá и Маврикий Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мамá требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стала уверять, что вальс не тот. Маврикий Николаевич, по простоте своей, заступился за Лизу и стал уверять, что вальс тот самый; старуха со злости расплакалась. Она была больна и с трудом даже ходила. У ней распухли ноги, и вот уже несколько дней только и делала, что капризничала и ко всем придиралась, несмотря на то, что Лизу всегда побаивалась. Приходу нашему обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия и, проговорив мне *merci*, конечно за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая.

Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, она подвела его к мамá.

— Это господин Шатов, про которого я вам говорила, а это вот господин Г—в, большой друг мне и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился.

— А который профессор?

— А профессора вовсе и нет, мамá.

<sup>1</sup> оставьте меня, мой друг (фр.).

<sup>2</sup> вы видите (фр.).

— Нет есть, ты сама говорила, что будет профессор; верно, вот этот, — она брезгливо указала на Шатова.

— Вовсе никогда я вам не говорила, что будет профессор. Господин Г — в служит, а господин Шатов — бывший студент.

— Студент, профессор, все одно из университета. Тебе только бы спорить. А швейцарский был в усах и с бородкой.

— Это мамà сына Степана Трофимовича все профессором называет, — сказала Лиза и увела Шатова на другой конец залы на диван.

— Когда у ней ноги распухнут, она всегда такая, вы понимаете, больная, — шепнула она Шатову, продолжая рассматривать его все с тем же чрезвычайным любопытством и особенно его вихор на голове.

— Вы военный? — обратилась ко мне старуха, с которою меня так безжалостно бросила Лиза.

— Нет-с, я служу...

— Господин Г — в большой друг Степана Трофимовича, — отозвалась тотчас же Лиза.

— Служите у Степана Трофимовича? Да ведь и он профессор?

— Ах, мамà, вам, верно, и ночью снятся профессора, — с досадой крикнула Лиза.

— Слишком довольно и наяву. А ты вечно чтобы матери противоречить. Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, были, четыре года назад?

Я отвечал, что был.

— А англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами?

— Нет, не был.

Лиза засмеялась.

— А видишь, что и не было совсем англичанина, стало быть, враки. И Варвара Петровна и Степан Трофимович оба врут. Да и все врут.

— Это тетя и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гарри, у Шекспира в «Генрихе IV», и мамà на это говорит, что не было англичанина, — объяснила нам Лиза.

— Коли Гарри не было, так и англичанина не было. Один Николай Всеволодович куролесил.

— Уверяю вас, что это мамà нарочно, — нашла нужным объяснить Шатову Лиза, — она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт «Отелло» читала; но она теперь очень страдает. Мамà, слышите, двенадцать часов бьет, вам лекарство принимать пора.

— Доктор приехал, — появилась в дверях горничная.

Старуха привстала и начала звать собачку: «Земирка, Земирка, пойдем хоть ты со мной».

Скверная, старая, маленькая собачонка Земирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза.

— Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени-отчества, — обратилась она ко мне.

— Антон Лаврентьевич...

— Ну все равно, у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич, я только Земирку звала. Слава богу, еще и сама хожу, а завтра гулять поеду.

Она сердито вышла из зала.

— Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем, уверяю вас, что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь, — сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от ее взгляда. Я, нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем.

## II

Дело у Лизаветы Николаевны до Шатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только литературным. Не знаю почему, но мне все думалось, что она звала его за чем-то другим. Мы, то есть я с Маврикием Николаевичем, видя, что от нас не таятся и говорят очень громко, стали прислушиваться; потом и нас пригласили в совет. Все состояло в том, что Лизавета Николаевна давно уже задумала издание одной полезной, по ее мнению, книги, но по совершенной неопытности нуждалась в сотруднике. Серьезность, с которою она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня изумила. «Должно быть, из новых, — подумал я, — недаром в Швейцарии побывала». Шатов слушал со вниманием, уткнув глаза в землю и без малейшего удивления тому, что светская, рассеянная барышня берется за такие, казалось бы, неподходящие ей дела.

Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто

не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия? А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся.

— Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и все, — заметил Шатов.

Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел, несмотря на трудность и неумелость высказаться. Книга должна быть одна, даже не очень толстая, — уверяла она. Но, положим, хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно, не все собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы, все это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить. Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курioзы, пожары, жертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху; все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею все целое, всю совокупность. И наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходима для справок. Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. «Нужно, чтобы все покупали, нужно, чтобы книга обратилась в настольную, — утверждала Лиза, — я понимаю, что все дело в плане, а потому к вам и обращаюсь», — заключила она. Она очень разгорячилась и, несмотря на то что объяснялась темно и неполно, Шатов стал понимать.

— Значит, выйдет нечто с направлением, подбор фактов под известное направление, — пробормотал он, все еще не поднимая головы.

— Отнюдь нет, не надо подбирать под направление, и никакого направления не надо. Одно беспристрастие, вот направление.

— Да направление и не беда, — зашевелился Шатов, — да и нельзя его избежать, чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь



подбор. В подборе фактов и будет указание, как их понимать. Ваша идея недурна.

— Так возможна, стало быть, такая книга? — обрадовалась Лиза.

— Надо посмотреть и сообразить. Дело это — огромное. Сразу ничего не выдумашь. Опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли еще научимся, как ее издавать. Разве после многих опытов; но мысль наклеивается. Мысль полезная.

Он поднял наконец глаза, и они даже засияли от удовольствия, так он был заинтересован.

— Это вы сами выдумали? — ласково и как бы стыдливо спросил он у Лизы.

— Да ведь выдумать не беда, план беда, — улыбалась Лиза, — я мало понимаю и не очень умна и преследую только то, что мне самой ясно...

— Преследуете?

— Вероятно, не то слово? — быстро осведомилась Лиза.

— Можно и это слово; я ничего.

— Мне показалось еще за границей, что можно и мне быть чем-нибудь полезною. Деньги у меня свои и даром лежат, почему же и мне не поработать для общего дела? К тому же мысль как-то сама собой вдруг пришла; я несколько ее не выдумывала и очень ей обрадовалась; но сейчас увидала, что нельзя без сотрудника, потому что ничего сама не умею. Сотрудник, разумеется, станет и соиздателем книги. Мы пополам: ваш план и работа, моя первоначальная мысль и средства к изданию. Ведь окупится книга?

— Если откопаем верный план, то книга пойдет.

— Предупреждаю вас, что я не для барышей, но очень желаю расходу книги и буду горда барышами.

— Ну а я тут при чем?

— Да ведь я же вас и зову в сотрудники... пополам. Вы план выдумаете.

— Почему же вы знаете, что я в состоянии план выдумать?

— Мне о вас говорили, и здесь я слышала... я знаю, что вы очень умны и... занимаетесь делом и... думаете много; мне о вас Петр Степанович Верховенский в Швейцарии говорил, — торопливо прибавила она. — Он очень умный человек, не правда ли?

Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел на нее, но тотчас же опустил глаза.

— Мне и Николай Всеволодович о вас тоже много говорил...

Шатов вдруг покраснел.

— Впрочем, вот газеты, — торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку газет, — я здесь попробовала на выбор отметить факты, подбор сделать и номера поставила... вы увидите.

Шатов взял сверток.

— Возьмите домой, посмотрите, вы ведь где живете?

— В Богоявленской улице, в доме Филиппова.

— Я знаю. Там тоже, говорят, кажется, какой-то капитан живет подле вас, господин Лебядкин? — все по-прежнему торопилась Лиза.

Шатов с пачкой в руке, на отлете, как взял, так и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю.

— На эти дела вы бы выбрали другого, а я вам вовсе не годен буду, — проговорил он наконец, как-то ужасно странно понизив голос, почти шепотом.

Лиза вспыхнула.

— Про какие дела вы говорите? Маврикий Николаевич! — крикнула она, — пожалуйста сюда давешнее письмо.

Я тоже за Маврикием Николаевичем подошел к столу.

— Посмотрите это, — обратилась она вдруг ко мне, в большом волнении развертывая письмо. — Видали ли вы когда что-нибудь похожее? Пожалуйста, прочтите вслух; мне надо, чтоб и господин Шатов слышал.

С немалым изумлением прочел я вслух следующее послание:

*«Совершенству девицы Тушиной.»*

Милостивая государыня,  
Елизавета Николаевна!

О, как мила она,  
Елизавета Тушина,  
Когда с родственником на дамском седле летает,  
А локон ее с ветрами играет,  
Или когда с матерью в церкви падает ниц,  
И зрится румянец благоговейных лиц!  
Тогда брачных и законных наслаждений желаю  
И вслед ей, вместе с матерью, слезу посылаю.

*Составил неученый за спором.*

Милостивая государыня!

Всех более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю кампанию по сдаче подлого провианта, считая низостью. Вы богиня в древности, а я ничто

и догадался о беспредельности. Смотрите как на стихи, но не более, ибо стихи все-таки вздор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в микроскоп? Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострадав по праву собаке и лошади, презирает кроткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я. Мысль о браке показалась бы уморительною; но скоро буду иметь бывшие двести душ чрез человеконенавистника, которого презирайте. Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от инфузории разуметь в стихах.

Капитан Лебядкин,  
покорнейший друг и имеет досуг».

— Это писал человек в пьяном виде и негодяй! — вскричал я в негодовании. — Я его знаю!

— Это письмо я получила вчера, — покраснев и торопясь стала объяснять нам Лиза, — я тотчас же и сама поняла, что от какого-нибудь глупца, и до сих пор еще не показала татап, чтобы не расстроить ее еще более. Но если он будет опять продолжать, то я не знаю, как сделать. Маврикий Николаевич хочет сходить запретить ему. Так как я на вас смотрела, как на сотрудника, — обратилась она к Шатову, — и так как вы там живете, то я и хотела вас расспросить, чтобы судить, чего еще от него ожидать можно.

— Пьяный человек и негодяй, — пробормотал как бы нехотя Шатов.

— Что ж, он все такой глупый?

— И, нет, он не глупый совсем, когда не пьяный.

— Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь такие стихи, — заметил я смеясь.

— Даже и по этому письму видно, что себе на уме, — неожиданно ввернул молчаливый Маврикий Николаевич.

— Он, говорят, с какой-то сестрой? — спросила Лиза.

— Да, с сестрой.

— Он, говорят, ее тиранит, правда это?

Шатов опять поглядел на Лизу, насупился и, проворчав: «Какое мне дело!» — подвинулся к дверям.

— Ах, постойте, — тревожно вскричала Лиза, — куда же вы? Нам так много еще остается переговорить...

— О чем же говорить? Я завтра дам знать...

— Да о самом главном, о типографии! Поверьте же, что я не в шутку, а серьезно хочу дело делать, — уверяла Лиза все в возрастающей тревоге. — Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедem, а в здешней типографии невозможно для такого издания. Я давно решила завести свою типографию, на ваше хоть имя, и мамà, я знаю, позволит, если только на ваше имя...

— Почему же вы знаете, что я могу быть типографщиком? — угрюмо спросил Шатов.

— Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать, да я забыла.

Шатов, как припоминаю теперь, изменился в лице. Он постоял еще несколько секунд и вдруг вышел из комнаты.

Лиза рассердилась.

— Он всегда так выходит? — повернулась она ко мне.

Я пожал было плечами, но Шатов вдруг воротился, прямо подошел к столу и положил взятый им сверток газет:

— Я не буду сотрудником, не имею времени...

— Почему же, почему же? Вы, кажется, рассердились? — огорченным и умоляющим голосом спрашивала Лиза.

Звук ее голоса как будто поразил его; несколько мгновений он пристально в нее всматривался, точно желая проникнуть в самую ее душу.

— Все равно, — пробормотал он тихо, — я не хочу...

И ушел совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в меру; так показалось мне.

— Удивительно странный человек! — громко заметил Маврикий Николаевич.

### III

Конечно, «странный», но во всем этом было чрезвычайно много неясного. Тут что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию; потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос «по документам» и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом, наконец, эта типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Все это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то произошло и о чем я не знаю; что, стало быть, я лишний и что все это не мое дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого визита. Я подошел откланяться Лизавете Николаевне.

Она, кажется, и забыла, что я в комнате, и стояла все на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну выбранную на ковре точку.

— Ах и вы, до свидания, — пролепетала она привычно-ласковым тоном. — Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его прийти ко мне поскорей. Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мамà не может выйти с вами проститься...

Я вышел и даже сошел уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце:

— Барыня очень просили воротиться...

— Барыня или Лизавета Николаевна?

— Оне-с.

Я нашел Лизу уже не в той большой зале, где мы сидели, а в ближайшей приемной комнате. В ту залу, в которой остался теперь Маврикий Николаевич один, дверь была притворена наглухо.

Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в видимой нерешимости, в видимой борьбе; но вдруг взяла меня за руку и молча, быстро подвела к окну.

— Я немедленно хочу *ее* видеть, — прошептала она, устремив на меня горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени противоречия, — я должна *ее* видеть собственными глазами и прошу вашей помощи.

Она была в совершенном исступлении и — в отчаянии.

— Кого вы желаете видеть, Лизавета Николаевна? — осведомился я в испуге.

— Эту Лебядкину, эту хромую... Правда, что она хромая?

Я был поражен.

— Я никогда не видал *ее*, но я слышал, что она хромая, вчера еще слышал, — лепетал я с торопливою готовностью и тоже шепотом.

— Я должна *ее* видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же?

Мне стало ужасно *ее* жалко.

— Это невозможно, и к тому же я совершенно не понимал бы, как это сделать, — начал было я уговаривать, — я пойду к Шатову...

— Если вы не устроите к завтраму, то я сама к ней пойду, одна, потому что Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня нет никого; я глупо говорила с Шатовым... Я уверена, что вы совершенно честный и, может быть, преданный мне человек, только устройте.

У меня явилось страстное желание помочь *ей* во всем.

— Вот что я сделаю, — подумал я капельку, — я пойду сам и сегодня наверно, *наверно* ее увижу! Я так сделаю, что увижу, даю вам честное слово; но только — позвольте мне ввериться Шатову.

— Скажите ему, что у меня такое желание и что я больше ждать не могу, но что я его сейчас не обманывала. Он, может быть, ушел потому, что он очень честный и ему не понравилось, что я как будто обманывала. Я не обманывала; я в самом деле хочу издавать и основать типографию...

— Он честный, честный, — подтверждал я с жаром.

— Впрочем, если к завтраму не устроится, то я сама пойду, что бы ни вышло и хотя бы все узнали.

— Я раньше как к трем часам не могу у вас завтра быть, — заметил я, несколько опомнившись.

— Стало быть, в три часа. Стало быть, правду я предположила вчера у Степана Трофимовича, что вы — несколько преданный мне человек? — улыбнулась она, торопливо пожимая мне на прощанье руку и спеша к оставленному Маврикию Николаевичу.

Я вышел подавленный моим обещанием и не понимал, что такое произошло. Я видел женщину в настоящем отчаянии, не побоявшуюся скомпрометировать себя доверенностию почти к незнакомому ей человеку. Ее женственная улыбка в такую трудную для нее минуту и намек, что она уже заметила вчера мои чувства, точно резнул меня по сердцу; но мне было жалко, жалко, — вот и все! Секреты ее стали для меня вдруг чем-то священным, и если бы даже мне стали открывать их теперь, то я бы, кажется, заткнул уши и не захотел слушать ничего дальше. Я только нечто предчувствовал... И, однако ж, я совершенно не понимал, каким образом я что-нибудь тут устрою. Мало того, я все-таки и теперь не знал, что именно надо устроить: свиданье, но какое свиданье? Да и как их свести? Вся надежда была на Шатова, хотя я и мог знать заранее, что он ни в чем не поможет. Но я все-таки бросился к нему.

#### IV

Только вечером, уже в восьмом часу, я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости — Алексей Нилыч и еще один полупознакомый мне господин, некто Шигалев, родной брат жены Виргинского.

Этот Шигалев, должно быть, уже месяца два как гостил у нас в городе; не знаю, откуда приехал; я слышал про него только, что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале ка-

кую-то статью. Виргинский познакомил меня с ним случайно, на улице. В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого. Мы, впрочем, тогда почти ни слова и не сказали, а только пожали друг другу руки с видом двух заговорщиков. Всего более поразили меня его уши неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врознь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны. Если Липутин и мечтал когда-нибудь, что фаланстера могла бы осуществиться в нашей губернии, то этот наверное знал день и час, когда это сбудется. Он произвел на меня впечатление зловещее; встретив же его у Шатова теперь, я подивился, тем более что Шатов и вообще был до гостей не охотник.

Еще с лестницы слышно было, что они разговаривают очень громко, все трое разом, и, кажется, спорят; но только что я появился, все замолчали. Они спорили стоя, а теперь вдруг все сели, так что и я должен был сесть. Глупое молчание не нарушалось минуты три полных. Шигалев хотя и узнал меня, но сделал вид, что не знает, и на pewno не по вражде, а так. С Алексеем Нильчем мы слегка раскланялись, но молча и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал наконец смотреть на меня строго и нахмуренно, с самою наивною уверенностию, что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они вышли не прощаясь, только Шигалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову:

— Помните, что вы обязаны отчетом.

— Наплевать на ваши отчеты, и никакому черту я не обязан, — проводил его Шатов и запер дверь на крюк.

— Кулики! — сказал он, поглядев на меня и как-то криво усмехнувшись.

Лицо у него было сердитое, и странно мне было, что он сам заговорил. Обыкновенно случалось прежде, всегда, когда я заходил к нему (впрочем, очень редко), что он нахмуренно садился в угол, сердито отвечал и только после долгого времени совершенно оживлялся и начинал говорить с удовольствием. Зато, прощаясь, опять, всякий раз, непременно нахмуривался и выпускал вас, точно выживал от себя своего личного неприятеля.

— Я у этого Алексея Нильча вчера чай пил, — заметил я, — он, кажется, помешан на атеизме.

— Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил, — проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка.

— Нет, этот, мне показалось, не каламбурщик; он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что каламбурить.

— Люди из бумажки; от лакейства мысли все это, — спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись обеими ладонями в колени.

— Ненависть тоже тут есть, — произнес он, помолчав с минуту, — они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм вьезшаяся... И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незримые слезы! — вскричал он почти с яростью.

— Ну уж это вы бог знает что! — засмеялся я.

— А вы — «умеренный либерал», — усмехнулся и Шатов. — Знаете, — подхватил он вдруг, — я, может, и сморозил про «лакейство мысли»; вы, верно, мне тотчас же скажете: «Это ты родился от лакея, а я не лакей».

— Вовсе я не хотел сказать... что вы!

— Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.

— Какие сапоги? Что за аллегория?

— Какая тут аллегория! Вы, я вижу, смеетесь... Степан Трофимович правду сказал, что я под камнем лежу, раздавлен, да не раздавлен, и только корчусь; это он хорошо сравнил.

— Степан Трофимович уверяет, что вы помешались на немцах, — смеялся я, — мы с немцев все же что-нибудь да стащили себе в карман.

— Двугривенный взяли, а сто рублей своих отдали.

С минуту мы помолчали.

— А это он в Америке себе належал.

— Кто? Чтó належал?

— Я про Кириллова. Мы с ним там четыре месяца в избе на полу пролежали.

— Да разве вы ездили в Америку? — удивился я. — Вы никогда не говорили.



— Чего рассказывать. Третьего года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, «чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом *личным* опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении». Вот с какою целью мы отправились.

— Господи! — засмеялся я. — Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору, «чтоб испытать личным опытом», а то понесло в Америку!

— Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору; всех нас, русских, собралось у него человек шесть — студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были, и всё с тою же величественною целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец я и Кириллов ушли — заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Ну тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом; он об одном думал, а я о другом.

— Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его!

— Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что «мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки, и нужно родиться в Америке или, по крайней мере, сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень». Да что: когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы все хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится...

— Странно, что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется, — заметил я.

— Люди из бумажки, — повторил Шатов.

— Но, однако ж, переплывать океан на эмигрантском пароходе, в неизвестную землю, хотя бы и с целью «узнать личным опытом» и т. д. — в этом, ей-богу, есть как будто какая-то великодушная твердость... Да как же вы оттуда выбрались?

— Я к одному человеку в Европу написал, и он мне прислал сто рублей.

Шатов, разговаривая, все время по обычаю своему упорно смотрел в землю, даже когда и горячился. Тут же вдруг поднял голову:

— А хотите знать имя человека?

— Кто же таков?

— Николай Ставрогин.

Он вдруг встал, повернулся к своему липовому письменному столу и начал на нем что-то шарить. У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже и именно года два тому назад, значит, когда Шатов был в Америке, — правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве. «Если так, то зачем же его дернуло теперь с именем вызваться и размазывать?» — подумалось мне.

— Я еще ему по сих пор не отдал, — оборотился он ко мне вдруг опять и, поглядев на меня пристально, уселся на прежнее место в углу и отрывисто спросил совсем уже другим голосом:

— Вы, конечно, зачем-то пришли; что вам надо?

Я тотчас же рассказал все, в точном историческом порядке, и прибавил, что хоть я теперь и успел одуматься после давешней горячки, но еще более спутался: понял, что тут что-то очень важное для Лизаветы Николаевны, крепко желал бы помочь, но вся беда в том, что не только не знаю, как сдержать данное ей обещание, но даже не понимаю теперь, что именно ей обещал. Затем внушительно подтвердил ему еще раз, что она не хотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение и что она очень огорчена его необыкновенным давешним уходом.

Он очень внимательно выслушал.

— Может быть, я, по моему обыкновению, действительно давеча глупость сделал... Ну, если она сама не поняла, отчего я так ушел, так... ей же лучше.

Он встал, подошел к двери, приотворил ее и стал слушать на лестницу.

— Вы желаете эту особу сами увидеть?

— Этого-то и надо, да как это сделать? — вскочил я, обрадовавшись.

— А просто пойдемте, пока одна сидит. Он придет, так избьет ее, коли узнает, что мы приходили. Я часто хожу потихоньку. Я его давеча прибил, когда он опять ее бить начал.

— Что вы это?

— Именно; за волосы от нее отволок; он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его, тем и кончилось. Боюсь, пьяный воротится, припомнит — крепко ее за то исколотит.

Мы тотчас же сошли вниз.

## V

Дверь к Лебяждиным была только притворена, а не заперта, и мы вошли свободно. Все помещение их состояло из двух гаденьких небольших комнаток, с закоптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои. Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенес ее в новый дом. Остальные, бывшие под харчевней, комнаты были теперь заперты, а эти две достались Лебядкину. Мебель состояла из простых лавок и тесовых столов, кроме одного лишь старого кресла без ручки. Во второй комнате в углу стояла кровать под ситцевым одеялом, принадлежавшая m-lle Лебяджиной, сам же капитан, ложась на ночь, валился каждый раз на пол, нередко в чем был. Везде было накрошено, насорено, намочено; большая, толстая, вся мокрая тряпка лежала в первой комнате посреди пола и тут же, в той же луже, старый истоптанный башмак. Видно было, что тут никто ничем не занимается; печи не топят, кушанье не готовится; самовара даже у них не было, как подробнее рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим и, как говорил Липутин, действительно сначала ходил по иным домам побираться; но, получив неожиданно деньги, тотчас же запил и совсем ошалел от вина, так что ему было уже не до хозяйства.

M-lle Лебядкина, которую я так желал видеть, смирно и неслышно сидела во второй комнате в углу, за тесовым кухонным столом, на лавке. Она нас не окликнула, когда мы отворяли дверь, не двинулась даже с места. Шатов говорил, что у них и дверь не запирается, а однажды так настуж в сени всю ночь и простояла. При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике, я разглядел женщину лет, может быть, тридцати, болезненно-худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытою длинною шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок толщиной в кулачок двухлетнего ребенка. Она посмотрела на нас довольно весело; кроме подсвечника, пред нею на столе находилось маленькое деревенское зеркальце, старая колода карт, истрепанная книжка какого-то песенника и немецкая белая булочка, от которой было уже раз или два откушено. Заметно было, что m-lle Лебядкина белится и румянится и губы чем-то мажет. Сурмит тоже брови и без того длинные, тонкие и темные. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила, довольно резко обозначались три длинные морщинки. Я уже знал, что она хромая, но в этот раз при нас она не вставала и не ходила. Когда-нибудь, в первой молодости, это исхудавшее лицо могло быть и недурным; но тихие, ласковые, серые глаза ее были и те-

перь еще замечательны; что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке ее, удивила меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах брата. Странно, что вместо тяжелого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных, наказанных Богом существ, мне стало почти приятно смотреть на нее, с первой же минуты, и только разве жалость, но отнюдь не отвращение, овладела мною потом.

— Вот так и сидит, и буквально по целым дням одна-одинешенька, и не двинется, гадает или в зеркальце смотрится, — указал мне на нее с порога Шатов, — он ведь ее и не кормит. Старуха из флигеля принесет иной раз чего-нибудь Христа ради; как это со свечой ее одну оставляют!

К удивлению моему, Шатов говорил громко, точно бы ее и не было в комнате.

— Здравствуй, Шатушка! — приветливо проговорила m-lle Лебядкина.

— Я тебе, Марья Тимофеевна, гостя привел, — сказал Шатов.

— Ну гостю честь и будет. Не знаю, кого ты привел, чтой-то не помню этакого, — поглядела она на меня пристально из-за свечки и тотчас же опять обратилась к Шатову (а мною уже больше совсем не занималась во все время разговора, точно бы меня и не было подле нее).

— Соскучилось, что ли, одному по светелке шагать? — засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее.

— И соскучилось, и тебя навестить захотелось.

Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собой рядом.

— Разговору я всегда рада, только все-таки смешон ты мне, Шатушка, точно ты монах. Когда ты чесался-то? Дай я тебя еще причешу, — вынула она из кармана гребешок, — небось с того раза, как я причесала, и не притронулся?

— Да у меня и гребенки-то нет, — засмеялся Шатов.

— Вправду? Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни.

С самым серьезным видом принялась она его причесывать, провела даже сбоку пробор, откинулась немножко назад, поглядела, хорошо ли, и положила гребенку опять в карман.

— Знаешь что, Шатушка, — покачала она головой, — человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть; не понимаю я, как это люди скучают. Тоска не скука. Мне весело.

— И с братцем весело?

— Это ты про Лебядкина? Он мой лакей. И совсем мне все равно, тут он или нет. Я ему крикну: «Лебядкин, принеси воды, Лебядкин, подавай башмаки», — он и бежит; иной раз согрешишь, смешно на него станет.

— И это точь-в-точь так, — опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов, — она его третирует совсем как лакея; сам я слышал, как она кричала ему: «Лебядкин, подай воды», и при этом хохотала; в том только разница, что он не бежит за водой, а бьет ее за это; но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них все забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает. Вы думаете, она помнит, как мы вошли; может, и помнит, но уж наверно переделала все по-своему и нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть, хоть и помнит, что я Шатушка. Это ничего, что я громко говорю; тех, которые не с нею говорят, она тотчас же перестает слушать и тотчас же бросается мечтать про себя; именно бросается. Мечтательница чрезвычайная; по восьми часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит, она ее, может, с утра только раз закусила, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала...

— Гадаю-то я гадаю, Шатушка, да не то как-то выходит, — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, расслышав последнее словцо и не глядя протянула левую руку к булке (тоже, вероятно, расслышав и про булку). Булочку она наконецхватила, но, продержав несколько времени в левой руке и увлекшись возникшим вновь разговором, положила не примечая опять на стол, не откусив ни разу.

— Все одно выходит: дорога, злой человек, чье-то коварство, смертная постеля, откудова-то письмо, нечаянное известие — враки все это, я думаю, Шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать? — смешала она вдруг карты. — Это самое я матери Прасковье раз говорю, почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью в карты погадать, потихоньку от матери-игуменьи. Да и не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят-рядят, а я-то смеюсь: «Ну где вам, говорю, мать Прасковья, письмо получить, коли двенадцать лет оно не пришло?» Дочь у ней куда-то в Турцию муж завез, и двенадцать лет ни слуху ни духу. Только сижу я это назавтра вечером за чаем у мать-игуменьи (княжеского рода она у нас), сидит у ней какая-то тоже барыня заезжая, большая мечтательница, и сидит один захожий монашек афонский, довольно смешной человек, по моему мнению. Что ж ты думаешь, Шатушка, этот самый монашек в то

самое утро матери Прасковье из Турции от дочери письмо принес, — вот тебе и валет бубновый — нечаянное-то известие! Пьем мы это чай, а монашек афонский и говорит мать-игуменья: «Все-го более, благословенная мать-игуменья, благословил Господь вашу обитель тем, что такое драгоценное, говорит, сокровище сохраняете в недрах ее». — «Какое это сокровище?» — спрашивает мать-игуменья. «А мать Лизавету блаженную». А Лизавета эта блаженная в ограде у нас вделана в стену, в клетку в сажень длины и в два аршина высоты, и сидит она там за железной решеткой семнадцатый год, зиму и лето в одной посконной рубаше, и все аль соломинкой, али прутиком каким ни на есть в рубашку свою, в холстину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется семнадцать лет. Зимой тулупчик просунут ей, да каждый день корочку хлеба и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, воздыхают, деньги кладут. «Вот нашли сокровище, — отвечает мать-игуменья (рассердилась: страх не любила Лизавету), — Лизавета с одной только злобы сидит, из одного своего упрямства, и все одно притворство». Не понравилось мне это; сама я хотела тогда затвориться: «А по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно». Они мне все в один голос: «Вот на!» Игуменья рассмеялась, зашептала о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила, хочешь, покажу? Ну а монашек стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. «Поняла ли?» — спрашивает. «Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое». Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что́ есть, как мнишь?» — «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого». — «Так, говорит, Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой — наша Острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обра-

щусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка. И все больше о своем ребеночке плачу...

— А разве был? — подтолкнул меня локтем Шатов, все время чрезвычайно прилежно слушавший.

— А как же: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю.

— А может, и был? — осторожно спросил Шатов.

— Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его все равно что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка! — усмехнулась она.

— Куда же ребенка-то снесла?

— В пруд снесла, — вздохнула она.

Шатов опять подтолкнул меня локтем.

— А что коли и ребенка у тебя совсем не было и все это один только бред, а?

— Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, — раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она, — на этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно только твое любопытство; я ведь все равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? — И крупные слезы засветились в ее глазах. — Шатушка, Шатушка, а правда, что жена от тебя сбежала? — положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. — Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, Шатушка, я сон какой видела: приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает: «Кошечка, говорит, моя, кошечка, выйди ко мне!» Вот я «кошечке»-то пуще всего и обрадовалась: любит, думаю.

— Может, и наяву придет, — вполголоса пробормотал Шатов.  
— Нет, Шатушка, это уж сон... не прийти ему наяву. Знаешь песню:

Мне не надобен нов-высок терем,  
Я останусь в этой келейке,  
Уж я стану жить-спасатися,  
За тебя Богу молитися.

Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чем не спросишь?

— Да ведь не скажешь, оттого и не спрашиваю.

— Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу, — быстро подхватила она, — жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди!

— Ну вот видишь, всякому, значит, свое, — еще тише проговорил Шатов, все больше и больше наклоняя голову.

— А попросил бы, может, и сказала бы; может, и сказала бы! — восторженно повторила она. — Почему не попросишь? Попроси, попроси меня хорошенько, Шатушка, может, я тебе и скажу; умоли меня, Шатушка, так чтоб я сама согласилась... Шатушка, Шатушка!

Но Шатушка молчал; с минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам; она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него.

— Э, что мне до тебя, да и грех! — поднялся вдруг со скамьи Шатов. — Привстаньте-ка! — сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место.

— Придет, так чтоб не догадался; а нам пора.

— Ах, ты все про лакея моего! — засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. — Боишься! Ну, прощайте, добрые гости; а послушай одну минутку, что я скажу. Давеча пришел это сюда этот Нилыч с Филипповым, с хозяином, рыжая бородища, а мой-то на ту пору на меня налетел. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит: «Не виноват, за чужую вину терплю!» Так, веришь ли, все мы как были, так и покатались со смеху...

— Эх, Тимофеевна, да ведь это я был заместо рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за волосы от тебя отволок; а хозяин к вам третьего дня приходил браниться с вами, ты и смешала.

— Постой, ведь и в самом деле смешала, может, и ты. Ну чего спорить о пустяках; не все ли ему равно, кто его оттаскает, — засмеялась она.

— Пойдемте, — вдруг дернул меня Шатов, — ворота заскрипели; застанет нас, избьет ее.



И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов, впустив меня к себе, запер дверь на замок.

— Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Вишь, кричит как поросенок, должно быть, опять за порог зацепился; каждый-то раз растянется.

Без истории, однако, не обошлось.

## VI

Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу; вдруг отскочил.

— Сюда идет, я так и знал! — яростно прошептал он. — Пожалуй, до полночи теперь не отвяжется.

Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери.

— Шатов, Шатов, отопри! — завопил капитан. — Шатов, друг!..

Я пришел к тебе с приветом,  
Р-рассказать, что солнце встало,  
Что оно гор-р-р-рячим светом  
По... лесам... затр-р-репетало.

Рассказать тебе, что я проснулся, черт тебя дери,  
Весь пр-р-роснулся под... ветвями...

Точно под розгами, ха-ха!

Каждая птичка... просит жажды.  
Рассказать, что пить я буду,  
Пить... не знаю, пить что буду.

Ну, да и черт побори с глупым любопытством! Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете!

— Не отвечайте, — шепнул мне опять Шатов.

— Отвори же! Понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка... между человечеством; есть минуты блага-а-родного лица... Шатов, я добр; я прошу тебя... Шатов, к черту прокламации, а?

Молчание.

— Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен, я фрак купил, посмотри, фрак любви, пятнадцать целковых; капитанская любовь требует светских приличий... Отвори! — дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками.

— Убирайся к черту! — заревел вдруг и Шатов.

— Р-р-раб! Раб крепостной, и сестра твоя раба и рабыня... вор-ровка!

— А ты свою сестру продал.

— Врешь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением... понимаешь ли, кто она такова?

— Кто? — с любопытством подошел вдруг к дверям Шатов.

— Да ты понимаешь ли?

— Да уж пойму, ты скажи кто?

— Я смею сказать! Я всегда все смею в публике сказать!..

— Ну навряд смеешь, — поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтобы я слушал.

— Не смею?

— По-моему, не смеешь.

— Не смею?

— Да ты говори, если барских розог не боишься... Ты ведь трус, а еще капитан!

— Я... я... она... она есть... — залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом.

— Ну? — подставил ухо Шатов.

Наступило молчание, по крайней мере, на полминуты.

— Па-а-адлец! — раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя как самовар, с шумом оступаясь на каждой ступени.

— Нет, он хитер, и пьяный не проговорится, — отошел от двери Шатов.

— Что же это такое? — спросил я.

Шатов махнул рукой, отпер дверь и стал опять слушать на лестницу; долго слушал, даже сошел вниз потихоньку несколько ступеней. Наконец воротился.

— Не слышать ничего, не дрался; значит, прямо повалился дрыхнуть. Вам пора идти.

— Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить изо всего этого?

— Э, заключайте что хотите! — ответил он усталым и брезгливым голосом и сел за свой письменный стол.

Я ушел. Одна невероятная мысль все более и более укрепилась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне...

## VII

Этот «завтрашний день», то есть то самое воскресенье, в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимовича, был одним из знаменательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и

завязок нового, резких разъяснений и еще пушей путаницы. Утром, как уже известно читателю, я обязан был сопровождать моего друга к Варваре Петровне, по ее собственному назначению, а в три часа пополудни я уже должен был быть у Лизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей — я сам не знал о чем, и способствовать ей — сам не знал в чем. И между тем все разрешилось так, как никто бы не предположил. Одним словом, это был день удивительно сошедшихся случайностей.

Началось с того, что мы со Степаном Трофимовичем, явившись к Варваре Петровне ровно в двенадцать часов, как она назначила, не застали ее дома; она еще не возвращалась от обедни. Бедный друг мой был так настроен или, лучше сказать, так расстроен, что это обстоятельство тотчас же сразило его; почти в бессилии опустил он на кресло в гостиной. Я предложил ему стакан воды; но, несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, костюм его отличался на этот раз необыкновенною изысканностью: почти бальное, батистовое с вышивкой белье, белый галстук, новая шляпа в руках, свежие соломенного цвета перчатки и даже, чуть-чуть, духи. Только что мы уселись, вошел Шатов, введенный камердинером, ясное дело, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимович привстал было протянуть ему руку, но Шатов, посмотрев на нас обоих внимательно, поворотил в угол, уселся там и даже не кивнул нам головой. Степан Трофимович опять испуганно поглядел на меня.

Так просидели мы еще несколько минут в совершенном молчании. Степан Трофимович начал было вдруг мне что-то очень скоро шептать, но я не расслушал; да и сам он от волнения не закончил и бросил. Вошел еще раз камердинер поправить что-то на столе; а вернее — поглядеть на нас. Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом:

— Алексей Егорыч, не знаете, Дарья Павловна с ней отправилась?

— Варвара Петровна изволили поехать в собор одне-с, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху, и не так здоровы-с, — назидательно и чинно доложил Алексей Егорыч.

Бедный друг мой опять бегло и тревожно со мной переглянулся, так что я наконец стал от него отворачиваться. Вдруг у подъезда прогремела карета, и некоторое отдаленное движение в доме возвестило нам, что хозяйка воротилась. Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность: послышался шум многих шагов, значило, что хозяйка возвратилась не одна, а это действительно было уже несколько странно, так как сама она назначила нам этот час. Послышалось наконец, что кто-то входил до странности скоро, точно бежал, а так не могла входить Варвара Петровна. И вдруг

она почти влетела в комнату запыхавшись и в чрезвычайном волнении. За нею, несколько приотстав и гораздо тише, вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной рука в руку — Марья Тимофеевна Лебядкина! Если б я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил.

Чтоб объяснить эту совершенную неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении, происшедшем с Варварой Петровной в соборе.

Во-первых, к обедне собрался почти весь город, то есть разумея высший слой нашего общества. Знали, что пожалует губернаторша в первый раз, после своего к нам прибытия. Замечу, что у нас уже пошли слухи о том, что она вольнодумка и «новых правил». Всем дамам известно было тоже, что она великолепно и с необыкновенным изяществом будет одета; а потому наряды наших дам отличались на этот раз изысканностью и пышностью. Одна лишь Варвара Петровна была скромно и по-всегдашнему одета во все черное; так бессменно одевалась она в продолжение последних четырех лет. Прибыв в собор, она поместилась на обычном своем месте, налево, в первом ряду, и ливрейный лакей положил пред нею бархатную подушку для коленапреклонений, одним словом, все по-обыкновенному. Но заметили тоже, что на этот раз она, во все продолжение службы, как-то чрезвычайно усердно молилась; уверяли даже потом, когда все припомнили, что даже слезы стояли в глазах ее. Кончилась наконец обедня, и наш протоиерей, отец Павел, вышел сказать торжественную проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их высоко; уговаривали его даже напечатать, но он все не решался. На этот раз проповедь вышла как-то особенно длинна.

И вот во время уже проповеди подкатила к собору одна дама на легковых извозчицких дрожках прежнего фасона, то есть на которых дамы могли сидеть только сбоку, придерживаясь за кушак извозчика и колыхаясь от толчков экипажа, как полевая былинка от ветра. Эти ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают. Остановясь у угла собора, — ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы, — дама соскочила с дрожек и подала ваньке четыре копейки серебром.

— Что ж, мало разве, Ваня! — вскрикнула она, увидав его гримасу. — У меня все, что есть, — прибавила она жалобно.

— Ну, да бог с тобой, не рядясь садил, — махнул рукой ванька и поглядел на нее, как бы думая: «Да и грех тебя обижать-то»; затем, сунув за пазуху кожаный кошель, тронул лошадь и укатил, напутствуемый насмешками близ стоявших извозчиков. Насмешки и даже удивление сопровождали и даму все время, пока она пробиралась к соборным вратам между экипажами и ожидавшим

скорого выхода господ лакейством. Да и действительно было что-то необыкновенное и неожиданное для всех в появлении такой особы вдруг откуда-то на улице среди народа. Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянена, с совершенно оголенную длинную шею, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком, темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день; с совершенно открытою головой, с волосами, подвязанными в крошечный узелок на затылке, в которые с правого боку воткнута была одна только искусственная роза, из таких, которыми украшают вербных херувимов. Такого вербного херувима в венке из бумажных роз я именно заметил вчера в углу, под образами, когда сидел у Марьи Тимофеевны. К довершению всего, дама шла хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Если б она еще капельку промедлила, то ее бы, может быть, и не пропустили в собор... Но она успела проскользнуть, а войдя во храм, протиснулась незаметно вперед.

Хотя проповедь была на половине и вся сплошная толпа, наполнявшая храм, слушала ее с полным и беззвучным вниманием, но все-таки несколько глаз с любопытством и недоумением покосилось на вошедшую. Она упала на церковный помост, склонив на него свое набеленное лицо, лежала долго и, по-видимому, плакала; но, подняв опять голову и привстав с колен, очень скоро оправилась и развлеклась. Весело, с видимым чрезвычайным удовольствием, стала скользить она глазами по лицам, по стенам собора; с особенным любопытством вглядывалась в иных дам, приподымаясь для этого даже на цыпочки, и даже раза два засмеялась, как-то странно при этом хихикая. Но проповедь кончилась, и вынесли крест. Губернаторша пошла к кресту первая, но, не дойдя двух шагов, приостановилась, видимо желая уступить дорогу Варваре Петровне, с своей стороны подхотившей слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость губернаторши, без сомнения, заключала в себе явную и остроумную в своем роде колкость; так все поняли; так поняла, должно быть, и Варвара Петровна; но по-прежнему никого не замечая и с самым непоколебимым видом достоинства приложилась она ко кресту и тотчас же направилась к выходу. Ливрейный лакей расчищал пред ней дорогу, хотя и без того все расступались. Но у самого выхода, на паперти, тесно сбившаяся кучка людей на мгновение загородила путь. Варвара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась пред ней на колени. Варвара Петровна, которую трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго.

Поспешу заметить здесь, по возможности вкратце, что Варвара Петровна хотя и стала в последние годы излишне, как говорили, расчетлива и даже скупенька, но иногда не жалела денег собственно на благотворительность. Она состояла членом одного благотворительного общества в столице. В недавний голодный год она отослала в Петербург, в главный комитет для приема пособий потерпевшим, пятьсот рублей, и об этом у нас говорили. Наконец, в самое последнее время, пред назначением нового губернатора, она было совсем уже основала местный дамский комитет для пособия самым беднейшим родильницам в городе и в губернии. У нас сильно упрекали ее в честолюбии; но известная стремительность характера Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями; общество почти уже устроилось, а первоначальная мысль все шире и шире развивалась в восхищенном уме основательницы: она уже мечтала об основании такого же комитета в Москве, о постепенном распространении его действий по всем губерниям. И вот, с внезапною переменою губернатора, все приостановилось; а новая губернаторша, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и, главное, метких и дельных возражений насчет будто бы непрактичности основной мысли подобного комитета, что, разумеется с прикрасами, было уже передано Варваре Петровне. Один Бог знает глубину сердец, но полагаю, что Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась теперь в самых соборных вратах, зная, что мимо должна сейчас же пройти губернаторша, а затем и все, и «пусть сама увидит, как мне все равно, что бы она там ни подумала и что бы ни сострила еще насчет тщеславия моей благотворительности. Вот же вам всем!»

— Что вы, милая, о чем вы просите? — внимательнее всмотрелась Варвара Петровна в коленопреклоненную пред нею просительницу. Та глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем.

— Что она? Кто она? — Варвара Петровна обвела кругом присутствующих повелительным и вопросительным взглядом.

Все молчали.

— Вы несчастны? Вы нуждаетесь во вспоможении?

— Я нуждаюсь... я приехала... — лепетала «несчастливая» прерывавшимся от волнения голосом. — Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать... — и опять хихикнула. С самым детским взглядом, с каким дети ласкаются, что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но, как бы испугавшись, вдруг отдернула свои руки назад.

— Только за этим и прибыли? — улыбнулась Варвара Петровна с сострадательною улыбкой, но тотчас же быстро вынула из кармана свой перламутровый портмоне, а из него десятирублевую бумажку и подала незнакомке. Та взяла. Варвара Петровна была очень заинтересована и, видимо, не считала незнакомку какою-нибудь простонародною просительницей.

— Вишь, десять рублей дала, — проговорил кто-то в толпе.

— Ручку-то пожалуйте, — лепетала «несчастливая», крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную десятирублевую бумажку, которую свивало ветром. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку; та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблестал каким-то даже восторгом. Вот в это-то самое время подошла губернаторша и прихлынула целая толпа наших дам и старших сановников. Губернаторша поневоле должна была на минутку приостановиться в тесноте; многие остановились.

— Вы дрожите, вам холодно? — заметила вдруг Варвара Петровна и, сбросив с себя свой бурнус, на лету подхваченный лакеем, сняла с плеч свою черную (очень не дешевую) шаль и собственными руками окутала обнаженную шею все еще стоявшей на коленях просительницы.

— Да встаньте же, встаньте с колен, прошу вас! — Та встала.

— Где вы живете? Неужели никто, наконец, не знает, где она живет? — снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна. Но прежней кучки уже не было; виднелись все знакомые, светские лица, разглядывавшие сцену, одни с строгим удивлением, другие с лукавым любопытством и в то же время с невинною жаждой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться.

— Кажется, это Лебядкиных-с, — выискался наконец один добрый человек с ответом на запрос Варвары Петровны, наш почтенный и многими уважаемый купец Андреев, в очках, с седою бородой, в русском платье и с круглою цилиндрическою шляпой, которую держал теперь в руках, — они у Филипповых в доме проживают, в Богоявленской улице.

— Лебядкин? Дом Филиппова? Я что-то слышала... благодарю вас, Никон Семеныч, но кто этот Лебядкин?

— Капитаном прозывается, человек, надо бы так сказать, неосторожный. А это, уж заверное, их сестрица. Она, полагать надо, из-под надзора теперь ушла, — сбавив голос, проговорил Никон Семеныч и значительно взглянул на Варвару Петровну.

— Понимаю вас; благодарю, Никон Семеныч. Вы, милая моя, госпожа Лебядкина?

— Нет; я не Лебядкина.

— Так, может быть, ваш брат Лебядкин?

— Брат мой Лебядкин.

— Вот что я сделаю, я вас теперь, моя милая, с собой возьму, а от меня вас уже отвезут к вашему семейству; хотите ехать со мной?

— Ах, хочу! — сплеснула ладошками госпожа Лебядкина.

— Тетя, тетя? Возьмите и меня с собой к вам! — раздался голос Лизаветы Николаевны. Замечу, что Лизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей, а Прасковья Ивановна, по предписанию доктора, поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне.

— Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада, но что скажет твоя мать? — начала было осанисто Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы.

— Тетя, тетя, непременно теперь с вами, — умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну.

— *Mais qu'avez-vous donc, Lise!*<sup>1</sup> — с выразительным удивлением проговорила губернаторша.

— Ах, простите, голубчик, *chère cousine*<sup>2</sup>, я к тете, — на лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей *chère cousine* и поцеловала ее два раза. — И татап тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете; татап непременно, непременно хотела заехать, она давеча сама говорила, я забыла вас предупредить, — трещала Лиза, — виновата, не сердитесь, *Julie... chère cousine...* тетя, я готова!

— Если вы, тетя, меня не возьмете, то я за вашу каретой побегу и закричу, — быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне; хорошо еще, что никто не слышал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась и пронзительным взглядом посмотрела на сумасшедшую девушку. Этот взгляд все решил: она непременно положила взять с собой Лизу!

— Этому надо положить конец, — вырвалось у ней. — Хорошо, я с удовольствием беру тебя, Лиза, — тотчас же громко прибавила она, — разумеется, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить, — с открытым видом и с прямодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше.

— О, без сомнения, я не захочу лишиться ее этого удовольствия, тем более что я сама... — с удивительно любезностью залепетала вдруг Юлия Михайловна, — я сама... хорошо знаю, какая на наших плечиках фантастическая всевластная головка (Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась)...

— Благодарю вас чрезвычайно, — отблагодарила вежливым и осанистым поклоном Варвара Петровна.

<sup>1</sup> Да что с вами, Лиза! (фр.)

<sup>2</sup> дорогая кузина (фр.).



— И мне тем более приятно, — почти уже с восторгом продолжала свой лепет Юлия Михайловна, даже вся покраснев от приятного волнения, — что, кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство... сострадание... (она взглянула на «несчастную»)... и... и на самой паперти храма...

— Такой взгляд делает вам честь, — великолепно одобрила Варвара Петровна. Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку, и Варвара Петровна с полною готовностью дотронулась до нее своими пальцами. Всеобщее впечатление было прекрасное, лица некоторых присутствовавших просияли удовольствием, показалось несколько сладких и заискивающих улыбок.

Одним словом, всему городу вдруг ясно открылось, что это не Юлия Михайловна пренебрегала до сих пор Варварой Петровной и не сделала ей визита, а сама Варвара Петровна, напротив, «держала в границах Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы, может, побежала к ней с визитом, если бы только была уверена, что Варвара Петровна ее не прогонит». Авторитет Варвары Петровны поднялся до чрезвычайности.

— Садитесь же, милая, — указала Варвара Петровна м-ле Лебядкиной на подъехавшую карету; «несчастливая» радостно побежала к дверцам, у которых подхватил ее лакей.

— Как! Вы хромаете! — вскричала Варвара Петровна, совершенно как в испуге, и побледнела. (Все тогда это заметили, но не поняли...)

Карета покатила. Дом Варвары Петровны находился очень близко от собора. Лиза сказывала мне потом, что Лебядкина смеялась истерически все эти три минуты переезда, а Варвара Петровна сидела «как будто в каком-то магнетическом сне», собственное выражение Лизы.

## *Глава пятая*

### ПРЕМУДРЫЙ ЗМИЙ

#### I

Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресла у окна.

— Сядьте здесь, моя милая, — указала она Марье Тимофеевне место, посреди комнаты, у большого круглого стола. — Степан

Трофимович, что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину, что это такое?

— Я... я... — залепетал было Степан Трофимович...

Но явился лакей.

— Чашку кофею, сейчас, особенно и как можно скорее! Карету не откладывать.

— Mais chère et excellente amie, dans quelle inquiétude...<sup>1</sup> — замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович.

— Ах! по-французски, по-французски! Сейчас видно, что высший свет! — хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготовляясь послушать разговор по-французски. Варвара Петровна устала сидеть на нее почти в испуге.

Все мы молчали и ждали какой-нибудь развязки. Шатов не понимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый; пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу (она сидела в углу, почти рядом с Шатовым). Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно; на губах ее кривилась улыбка, но нехорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку. А между тем Марья Тимофеевна увлеклась совершенно: она с наслаждением и нимало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны, — мебелировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе.

— Так и ты тут, Шатушка! — воскликнула она вдруг, — представь, я давно тебя вижу да думаю: не он! Как он сюда проедет! — и весело рассмеялась.

— Вы знаете эту женщину? — тотчас обернулась к нему Варвара Петровна.

— Знаю-с, — пробормотал Шатов, тронулся было на стуле, но остался сидеть.

— Что же вы знаете? Пожалуйста, поскорей!

— Да что... — ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся... — сами видите.

— Что вижу? Да ну же, говорите что-нибудь!

— Живет в том доме, где я... с братом... офицер один.

— Ну?

Шатов запнулся опять.

— Говорить не стоит... — промычал он и решительно смолк. Даже покраснел от своей решимости.

<sup>1</sup> Но, дорогой и добрейший друг, в каком беспокойстве... (фр.)

— Конечно, от вас нечего больше ждать! — с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь, что все что-то знают и между тем все чего-то трусят и уклоняются пред ее вопросами, хотят что-то скрыть от нее.

Вошел лакей и поднес ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе, но тотчас же, по ее мановению, направился к Марье Тимофеевне.

— Вы, моя милая, очень озябли давеча, выпейте поскорей и согрейтесь.

— Мегсі, — взяла чашку Марья Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала лакею мегсі. Но, встретив грозный взгляд Варвары Петровны, оробела и поставила чашку на стол.

— Тетя, да уж вы не сердитесь ли? — пролепетала она с какою-то легкомысленною игривостью.

— Что-о-о? — вспрынула и выпрямилась в креслах Варвара Петровна. — Какая я вам тетя? Что вы подразумевали?

Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелкою конвульсивною дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку кресел.

— Я... я думала, так надо, — пролепетала она, смотря во все глаза на Варвару Петровну, — так вас Лиза звала.

— Какая еще Лиза?

— А вот эта барышня, — указала пальчиком Марья Тимофеевна.

— Так вам она уже Лизой стала?

— Вы так сами ее давеча звали, — ободрилась несколько Марья Тимофеевна. — А во сне я точно такую же красавицу видела, — усмехнулась она как бы нечаянно.

Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась; даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марьи Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и, хромая, робко подошла к ней.

— Возьмите, забыла отдать, не сердитесь за неучтивость, — сняла она вдруг с плеч своих черную шаль, надетую на нее давеча Варварой Петровной.

— Наденьте ее сейчас же опять и оставьте навсегда при себе. Ступайте и сядьте, пейте ваш кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя милая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать.

— *Shège amie...* — позволил было себе опять Степан Трофимович.

— Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь, пощадите хоть вы... Пожалуйста, позвоните вот в этот звонок, подле вас, в девичью.

Наступило молчание. Взгляд ее подозрительно и раздражительно скользил по всем нашим лицам. Явилась Агаша, любимая ее горничная.

— Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила. Что делает Дарья Павловна?

— Оне-с не совсем здоровы-с.

— Сходи и попроси сюда. Прибавь, что очень прошу, хотя бы и нездорова.

В это мгновение из соседних комнат опять послышался какой-то необычный шум шагов и голосов, подобный давешнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и «расстроенная» Прасковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку.

— Ох, батюшки, насилу доплелась; Лиза, что ты, сумасшедшая, с матерью делаешь! — взвизгнула она, кладя в этот взвизг, по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ, все, что накопилось раздражения.

— Матушка Варвара Петровна, я к вам за дочерью!

Варвара Петровна взглянула на нее исподлобья, полупривстала навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила:

— Здравствуй, Прасковья Ивановна, сделай одолжение, садись. Я так и знала ведь, что приедешь.

## II

Для Прасковьи Ивановны в таком приеме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда, с самого детства, третировала свою бывшую пансионскую подругу деспотически и, под видом дружбы, чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное. В последние дни между обоими домами пошло на совершенный разрыв, о чем уже и было мною вскользь упомянуто. Причины начинающегося разрыва покамест были еще для Варвары Петровны таинственны, а стало быть, еще пуще обидны; но главное в том, что Прасковья Ивановна успела принять пред нею какое-то необычайно высокомерное положение. Варвара Петровна, разумеется, была уязвлена, а между тем и до нее уже стали доходить некоторые странные слухи, тоже чрезмерно ее раздражавшие, и именно своею неопределенностью. Характер Варвары Петровны был прямой и гордо-открытый, с наскоком, если так позволительно выразиться. Пуще всего она не могла выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую. Как бы то ни было, но вот уже пять дней как обе дамы не виделись. Последний визит был

со стороны Варвары Петровны, которая и уехала «от Дроздихи» обиженная и смущенная. Я без ошибки могу сказать, что Прасковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении, что Варвара Петровна почему-то должна пред нею струсить; это видно было уже по выражению лица ее. Но, видно, тогда-то и овладевал Варварой Петровной бес самой заносчивой гордости, когда она чуть-чуть лишь могла заподозрить, что ее почему-либо считают униженною. Прасковья же Ивановна, как и многие слабые особы, сами долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом выгодном для себя обороте дела. Правда, теперь она была нездорова, а в болезни становилась всегда раздражительнее. Прибавлю, наконец, что все мы, находившиеся в гостиной, не могли особенно стеснить нашим присутствием обеих подруг детства, если бы между ними возгорелась ссора; мы считались людьми своими и чуть не подчиненными. Я не без страха сообразил это тогда же. Степан Трофимович, не садившийся с самого прибытия Варвары Петровны, в изнеможении опустил на стул, услышав взвизг Прасковьи Ивановны, и с отчаянием стал ловить мой взгляд. Шатов круто повернулся на стуле и что-то даже промышчал про себя. Мне кажется, он хотел встать и уйти. Лиза чуть-чуть было привстала, но тотчас же опять опустилась на место, даже не обратив должного внимания на взвизг своей матери, но не от «строптивости характера», а потому что, очевидно, вся была под властью какого-то другого могучего впечатления. Она смотрела теперь куда-то в воздух, почти рассеянно, и даже на Марью Тимофеевну перестала обращать прежнее внимание.

### III

— Ох, сюда! — указала Прасковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощью Маврикия Николаевича. — Не села б у вас, матушка, если бы не ноги! — прибавила она надрывным голосом.

Варвара Петровна приподняла немного голову, с болезненным видом прижимая пальцы правой руки к правому виску и видимо ощущая в нем сильную боль (*tic douloureux*<sup>1</sup>).

— Что так, Прасковья Ивановна, почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннею приязнию пользовалась, а мы с тобой еще девчонками вместе в куклы в пансионе играли.

<sup>1</sup> болезненный тик (*фр.*).

Прасковья Ивановна замахала руками.

— Уж так и знала! Вечно про пансион начнете, когда попрекать собираетесь, — уловка ваша. А по-моему, одно красноречие. Терпеть не могу этого вашего пансиона.

— Ты, кажется, слишком уж в дурном расположении приехала; что твои ноги? Вот тебе кофе несут, милости просим, кушай и не сердись.

— Матушка, Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькою девочкой. Не хочу я кофею, вот!

И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофею слуге. (От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но оставил чашку на стол. Марье Тимофеевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо довольная за это собой.)

Варвара Петровна криво улыбнулась.

— Знаешь что, друг мой Прасковья Ивановна, ты, верно, опять что-нибудь вообразила себе, с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась; а помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался, и как m-me Lefebvre тебя тут же изобличила во лжи. А ведь ты и не лгала, просто навоображала себе для утех. Ну, говори: с чем ты теперь? Что еще вообразила, чем недовольна?

— А вы в пансионе в попа влюбились, что Закон Божий преподавал, — вот вам, коли до сих пор в вас такая злопамятность, — ха-ха-ха!

Она желчно расхохоталась и раскашлялась.

— А-а, ты не забыла про попа... — ненавистно глянула на нее Варвара Петровна.

Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась.

— Мне, матушка, теперь не до смеху; зачем вы мою дочь при всем городе в ваш скандал замешали, вот зачем я приехала!

— В мой скандал? — грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна.

— Мама́, я вас тоже очень прошу быть умереннее, — проговорила вдруг Лизавета Николаевна.

— Как ты сказала? — приготовилась было опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочки.

— Как вы могли, мама́, сказать про скандал? — вспыхнула Лиза. — Я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезною.

— «Историю этой несчастной»! — со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна. — Да стать ли тебе мешаться в такие «истории»? Ох, матушка! Дольно нам вашего деспотизма! — бешено повернулась она к Варваре Петровне. — Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали, да, видно, пришла и на вас пора!

Варвара Петровна сидела выпрямившись, как стрела, готовая выкочить из лука. Секунд десять строго и неподвижно смотрела она на Прасковью Ивановну.

— Ну, моли Бога, Прасковья, что все здесь свои, — выговорила она наконец с зловецим спокойствием, — много ты сказала лишнего.

— А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные; это вы, под видом гордости, пред мнением света трепещете. А что тут свои люди, так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали.

— Поумнела ты, что ль, в эту неделю?

— Не поумнела я в эту неделю, а, видно, правда наружу вышла в эту неделю.

— Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня, объяснись сию минуту, прошу тебя честью: какая правда наружу вышла и что ты под этим подразумеваешь?

— Да вот она вся - то правда сидит! — указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну, с тою отчаянною решимостию, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, все время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гостью и весело зашевелилась в креслах.

— Господи Иисусе Христе, рехнулись они все, что ли! — воскликнула Варвара Петровна и, побледнев, откинулась на спинку кресла.

Она так побледнела, что произошло даже смятение. Степан Трофимович бросился к ней первый; я тоже приблизился; даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла; но всех более испугалась сама Прасковья Ивановна: она вскрикнула, как могла приподнялась и почти завопила плачевным голосом:

— Матушка, Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость! Да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь!

— Не хнычь, пожалуйста, Прасковья Ивановна, прошу тебя, и отстранитесь, господа, сделайте одолжение, не надо воды! —

твердо, хоть и негромко выговорила побледневшими губами Варвара Петровна.

— Матушка! — продолжала Прасковья Ивановна, капельку успокоившись, — друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют; ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут, а у меня, матушка, дочь!

Варвара Петровна безмолвно смотрела на нее широко открытыми глазами и слушала с удивлением. В это мгновение неслышно отворилась в углу боковая дверь, и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом; ее поразило наше смятение. Должно быть, она не сейчас различила и Марью Тимофеевну, о которой никто ее не предупредил. Степан Трофимович первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил: «Дарья Павловна!», так что все глаза разом обратились на вошедшую.

— Как, так это-то ваша Дарья Павловна! — воскликнула Марья Тимофеевна. — Ну, Шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица! Как же мой-то этакую прелесть крепостною девкой Дашкой зовет!

Дарья Павловна меж тем приблизилась к Варваре Петровне; но, пораженная восклицанием Марьи Тимофеевны, быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на юродивую длинным, приковавшимся взглядом.

— Садись, Даша, — проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием, — ближе, вот так; ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее?

— Я никогда ее не видала, — тихо ответила Даша и, помолчав, тотчас прибавила: — Должно быть, это больная сестра одного господина Лебядкина.

— И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, — с увлечением прокричала Марья Тимофеевна. — А что мой лакей бранится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая? Потому что вы милая, милая, милая, это я вам от себя говорю! — с восторгом заключила она, махая пред собою своею ручкой.

— Понимаешь ты что-нибудь? — с гордым достоинством спросила Варвара Петровна.

— Я все понимаю-с...



— Про деньги слышала?

— Это, верно, те самые деньги, которые я, по просьбе Николая Всеволодовича, еще в Швейцарии, взялась передать этому господину Лебядкину, ее брату.

Последовало молчание.

— Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?

— Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего триста рублей, господину Лебядкину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь, что он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать, на случай, если господин Лебядкин придет.

— Какие же деньги... пропали? Про что эта женщина сейчас говорила?

— Этого уж я не знаю-с; до меня тоже доходило, что господин Лебядкин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила; но я этих слов не понимаю. Было триста рублей, я и переслала триста рублей.

Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку, — что бы она там про себя ни чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностью, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собою вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее все время, пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала.

— Если, — произнесла она наконец с твердостью и видимо к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу, — если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокоивает, знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты и с чистою совестью могла, по незнанию света, сделать какую-нибудь неосторожность; и сделала ее, приняв на себя сношения с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку. Но я разумею о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это все надо кончить.

— Лучше всего, когда он к вам придет, — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, — то пошлите его в лакейскую. Пусть он там на залавке в свои козыри с ними

поиграет, а мы будем здесь сидеть кофей пить. Чашку-то кофею еще можно ему послать, но я глубоко его презираю.

И она выразительно мотнула головой.

— Это надо кончить, — повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марью Тимофеевну, — прошу вас, позвоните, Степан Трофимович.

Степан Трофимович позвонил и вдруг выступил вперед, весь в волнении.

— Если... если я... — залепетал он в жару, краснея, обрываясь и заикаясь, — если я тоже слышал самую отвратительную повесть или, лучше сказать, клевету, то... в совершенном негодовании... enfin, c'est un homme perdu et quelque chose comme un forçat évadé...<sup>1</sup>

Он оборвал и не закончил; Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошел чинный Алексей Егорович.

— Карету, — приказала Варвара Петровна, — а ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебядкину домой, куда она тебе сама укажет.

— Господин Лебядкин некоторое время сами их внизу ожидают-с и очень просили о себе доложить-с.

— Это невозможно, Варвара Петровна, — с беспокойством выступил вдруг все время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич, — если позволите, это не такой человек, который может войти в общество, это... это... это невозможный человек, Варвара Петровна.

— Повременить, — обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся.

— C'est un homme malhonnête et je crois même que c'est un forçat évadé ou quelque chose dans ce genre<sup>2</sup>, — пробормотал опять Степан Трофимович, опять покраснел и опять оборвался.

— Лиза, ехать пора, — брезгливо возгласила Прасковья Ивановна и приподнялась с места. Ей, кажется, жаль уже стало, что она давеча, в испуге, сама себя обозвала дурой. Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерной складкой на губах. Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна: в ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые.

---

<sup>1</sup> словом, это пропащий человек и что-то вроде беглого каторжника... (фр.)

<sup>2</sup> Это бесчестный человек, и я даже думаю, что он беглый каторжник или что-то в этом роде (фр.).

— Повремени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя, — остановила Варвара Петровна, все с тем же чрезмерным спокойствием, — сделай одолжение, присядь, я намерена все высказать, а у тебя ноги болят. Вот так, благодарю тебя. Давеча я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение, прости меня; я сделала глупо и первая каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, ты упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный ответ достоин презрения уже потому, что он не подписан. Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоём месте за такую дрянью в карман, я не стала бы мараться. А ты вымаралась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе, что и я получила дней шесть тому назад тоже анонимное, шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая «будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль», я запомнила выражение. Сообразив и зная, что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презренным из всех врагов его, и из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили *из-за меня* такими же презренными письмами и, как ты выразилась, «бомбардировали», то, конечно, первая жалею, что послужила невинною причиной. Вот и все, что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя. К тому же я непременно решилась *впустить* сейчас этого подозрительного человека, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом: что его невозможно *принять*. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне еще раз поцеловать тебя.

Лиза перешла комнату и молча остановилась пред Варварой Петровной. Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее.

— Ну, прощай, Лиза (в голосе Варвары Петровны послышались почти слезы), — верь, что не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне... Бог с тобою. Я всегда благословляла святую десницу Его...

Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла было к своему месту, все в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась пред мамашей.

— Я, мамá, еще не поеду, а останусь на время у тети, — проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость.

— Бог ты мой, что такое! — возопила Прасковья Ивановна, бессильно сплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала; она села в прежний угол и опять стала смотреть куда-то в воздух.

Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны.

— Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайною просьбой, сделайте мне одолжение, сходите взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его *впустить*, то приведите его сюда.

Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебядкина.

#### IV

Я как-то говорил о наружности этого господина: высокий, курчавый, плотный парень, лет сорока, с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с маленькими, кровяными, иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и с зарождающимся мясистым кадыком, довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нем то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. «Есть люди, которым чистое белье даже неприлично-с», — как возразил раз когда-то Липутин на шутливый упрек ему Степана Трофимовича в неряшестве. У капитана были и перчатки черные, из которых правую, еще ненадеванную, он держал в руке, а левая, туго напыленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которой он держал совершенно новую, глянцевитую и, наверно, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний «фрак любви», о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Все это, то есть и фрак и белье, было припасено (как узнал я после) по совету Липутина, для каких-то таинственных целей. Сомнения не было, что и приехал он теперь (в извозчичьей карете) непременно тоже по постороннему наущению и с чьею-нибудь помощью; один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа, предполагая даже, что сцена на соборной паперти стала ему тотчас известною. Он был не пьян,

но в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Кажется, стоило бы только покачать его раза два рукой за плечо, и он тотчас бы опять охмелел.

Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне.

— Я приехал, сударыня... — прогремел было он как в трубу.

— Сделайте мне одолжение, милостивый государь, — выпрямилась Варвара Петровна, — возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть.

Капитан остановился, тупо глядя пред собой, но, однако, повернулся и сел на указанное место, у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то непрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно, это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать, что из раздраженного самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость, при случае. Он видимо боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно, что самое главное страдание всех подобных господ, когда они каким-нибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознаваемая невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними. Капитан замер на стуле с своею шляпой и перчатками в руках и не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны. Ему, может быть, и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался. Марья Тимофеевна, вероятно найдя фигуру его опять ужасно смешною, захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая.

— Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих? — мерно и выразительно произнесла она.

— Капитан Лебядкин, — прогремел капитан, — я приехал, сударыня... — шевельнулся было он опять.

— Позвольте! — опять остановила Варвара Петровна. — Эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра?

— Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении...

Он вдруг запнулся и побагровел.

— Не примите превратно, сударыня, — сбился он ужасно, — родной брат не станет марать... в таком положении — это значит не в таком положении... в смысле, пятнающем репутацию... на последних порах...

Он вдруг оборвал.

— Милостивый государь! — подняла голову Варвара Петровна.

— Вот в каком положении! — внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание.

— И давно она этим страдает? — протянула несколько Варвара Петровна.

— Сударыня, я приехал отблагодарить за оказанное на паперти великодушие по-русски, по-братски...

— По-братски?

— То есть не по-братски, а единственно в том смысле, что я брат моей сестре, сударыня, и поверьте, сударыня, — зачастил он, опять побагровев, — что я не так необразован, как могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой ничто, сударыня, сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем. Имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебядкин горд, сударыня, и... и... я приехал отблагодарить... Вот деньги, сударыня!

Тут он выхватил из кармана бумажник, рванул из него пачку кредиток и стал перебирать их дрожащими пальцами в неистовом припадке нетерпения. Видно было, что ему хотелось поскорее что-то разъяснить, да и очень надо было; но, вероятно чувствуя сам, что возня с деньгами придает ему еще более глупый вид, он потерял последнее самообладание: деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и, к довершению срама, одна зеленая депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковер.

— Двадцать рублей, сударыня, — вскочил он вдруг с пачкой в руках и со вспотевшим от страдания лицом; заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся было поднять ее, но, почему-то устыдившись, махнул рукой.

— Вашим людям, сударыня, лакею, который подберет; пусть помнит Лебядкину!

— Я этого никак не могу позволить, — торопливо и с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна.

— В таком случае...

Он нагнулся, поднял, побагровел и, вдруг приблизясь к Варваре Петровне, протянул ей отсчитанные деньги.

— Что это? — совсем уже наконец испугалась она и даже попятилась в креслах. Маврикий Николаевич, я и Степан Трофимович шагнули каждый вперед.

— Успокойтесь, успокойтесь, я не сумасшедший, ей-богу, не сумасшедший! — в волнении уверял капитан на все стороны.

— Нет, милостивый государь, вы с ума сошли.

— Сударыня, это вовсе не то, что вы думаете! Я, конечно, ничтожное звено... О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии Неизвестной, сестры моей, урожденной Лебядкиной, которую назовем пока Марией Неизвестной, пока, сударыня, только пока, ибо навечно не допустит сам Бог! Сударыня, вы дали ей десять рублей, и она приняла, но потому, что от вас, сударыня! Слышите, сударыня! ни от кого в мире не возьмет эта Неизвестная Мария, иначе содрогнется во гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе, на глазах самого Ермолова, но от вас, сударыня, от вас все возьмет. Но одною рукою возьмет, а другою протянет вам уже двадцать рублей, в виде пожертвования в один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом... так как и сами вы, сударыня, публиковались в «Московских ведомостях», что у вас состоит здешняя, по нашему городу, книга благотворительного общества, в которую всякий может подписываться...

Капитан вдруг оборвал; он дышал тяжело, как после какого-то трудного подвига. Все это насчет комитета благотворительности, вероятно, было заранее подготовлено, может быть, также под редакцией Липутина. Он еще пуще вспотел; буквально капли пота выступали у него на висках. Варвара Петровна пронзительно в него всматривалась.

— Эта книга, — строго проговорила она, — находится всегда внизу у швейцара моего дома, там вы можете подписать ваше пожертвование, если захотите. А потому прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так. Прошу вас тоже занять ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, милостивый государь, что я ошиблась насчет вашей сестры и подала ей на бедность, когда она так богата. Не понимаю одного только, почему от меня одной она может взять, а от других ни за что не захочет. Вы так на этом настаивали, что я желаю совершенно точного объяснения.

— Сударыня, это тайна, которая может быть похоронена лишь во гробе! — отвечал капитан.

— Почему же? — как-то не так уже твердо спросила Варвара Петровна.

— Сударыня, сударыня!..

Он мрачно примолк, смотря на землю и приложив правую руку к сердцу. Варвара Петровна ждала, не сводя с него глаз.

— Сударыня, — взревел он вдруг, — позвольте ли сделать вам один вопрос, только один, но открыто, прямо, по-русски, от души?

— Сделайте одолжение.

— Страдали вы, сударыня, в жизни?

— Вы просто хотите сказать, что от кого-нибудь страдали или страдаете.

— Сударыня, сударыня! — вскочил он вдруг опять, вероятно и не замечая того и ударяя себя в грудь, — здесь, в этом сердце, на кипело столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на Страшном суде!

— Гм, сильно сказано.

— Сударыня, я, может быть, говорю языком раздражительным...

— Не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить.

— Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня?

— Предложите еще вопрос.

— Можно ли умереть единственно от благородства своей души?

— Не знаю, не задавала себе такого вопроса.

— Не знаете! Не задавали себе такого вопроса!! — прокричал он с патетической иронией. — А коли так, коли так:

Молчи, безнадежное сердце! —

и он неистово стукнул себя в грудь.

Он уже опять заходил по комнате. Признак этих людей — совершенное бессилие сдерживать в себе свои желания; напротив, неудержимое стремление тотчас же их обнаружить, со всею даже неопрятностью, чуть только они зародятся. Попав не в свое общество, такой господин обыкновенно начинает робко, но уступите ему на волосок, и он тотчас же перескочит на дерзости. Капитан уже горячился, ходил, махал руками, не слушал вопросов, говорил о себе шибко, шибко, так что язык его иногда подвертывался, и, не договорив, он перескакивал на другую фразу. Правда, едва ли он был совсем трезв; тут сидела тоже Лизавета Николаевна, на которую он не взглянул ни разу, но присутствие которой, кажется, страшно кружило его. Впрочем, это только уже предположение. Существовала же, стало быть, причина, по которой Варвара Петровна, преодолевая отвращение, решила слушать такого человека. Прасковья Ивановна просто тряслась от страха, правда, не совсем, кажется, понимая, в чем дело. Степан Трофимович дрожал тоже, но, напротив, потому что склонен был всегда понимать с излишком. Маврикий Николаевич стоял в позе всеобщего оберегателя. Лиза была бледенькая и не отрываясь



смотрела широко раскрытыми глазами на дикого капитана. Шатов сидел в прежней позе; но что страннее всего, Марья Тимофеевна не только перестала смеяться, но сделалась ужасно грустна. Она облокотилась правою рукой на стол и длинным грустным взглядом следила за декламировавшим братцем своим. Одна лишь Дарья Павловна казалась мне спокойною.

— Все это вздорные аллегории, — рассердилась наконец Варвара Петровна, — вы не ответили на мой вопрос: «Почему?» Я настоятельно жду ответа.

— Не ответил «почему?». Ждете ответа на «почему»? — переговорил капитан, подмигивая. — Это маленькое словечко «почему» разлито во всей вселенной с самого первого дня мироздания, сударыня, и вся природа ежеминутно кричит своему Творцу: «Почему?» — и вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебядкину, и справедливо ли выйдет, сударыня?

— Это все вздор и не то! — гневалась и теряла терпение Варвара Петровна, — это аллегории; кроме того, вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью.

— Сударыня, — не слушал капитан, — я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната, — почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя, — почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохани, почему, почему? Сударыня! По-моему, Россия есть игра природы, не более!

— Вы решительно ничего не можете сказать определеннее?

— Я могу вам прочесть пиесу «Таракан», сударыня!

— Что-о-о?

— Сударыня, я еще не помешан! Я буду помешан, буду, наверно, но я еще не помешан! Сударыня, один мой приятель — благо-роднейшее лицо, — написал одну басню Крылова, под названием «Таракан», — могу я прочесть ее?

— Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова?

— Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, мое сочинение! Поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уже необразован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в Летнем саду, для игры в детском возрасте. Вы вот спрашиваете, сударыня: «Почему?» Ответ на дне этой басни, огненными литерами!

— Прочтите вашу басню.

Жил на свете таракан,  
Таракан от детства,  
И потом попал в стакан,  
Полный мухоедства...

— Господи, что такое? — воскликнула Варвара Петровна.

— То есть когда летом, — заторопился капитан, ужасно махая руками, с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, — когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство, всякий дурак поймет, не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите... (он все махал руками).

Место занял таракан,  
Мухи возроптали,  
«Полон очень наш стакан», —  
К Юпитеру закричали.

Но пока у них шел крик,  
Подошел Никифор,  
Бла-го-роднейший старик...

Тут у меня еще не dokonчено, но все равно, словами! — трещал капитан. — Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплевывает в лохань всю комедию, и мух и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет! Вот ответ на ваш вопрос: «Почему?» — вскричал он, торжествуя: — «Та-ра-кан не ропщет!» Что же касается до Никифора, то он изображает природу, — прибавил он скороговоркой и самодовольно заходил по комнате.

Варвара Петровна рассердилась ужасно.

— А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных будто бы от Николая Всеволодовича и будто бы вам недоданных, вы осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому?

— Клевета! — взревел Лебядкин, трагически подняв правую руку.

— Нет, не клевета.

— Сударыня, есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину. Не проговорится Лебядкин, сударыня!

Он точно ослеп; он был во вдохновении; он чувствовал свою значительность; ему наверно что-то такое представлялось. Ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть.

— Позвоните, пожалуйста, Степан Трофимович, — попросила Варвара Петровна.

— Лебядкин хитер, сударыня! — подмигнул он со скверною улыбкой, — хитер, но есть и у него препона, есть и у него преддв-

рие страстей! И это преддверие — старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, сударыня, тут и случается, что он отправит письмо в стихах, великолепнейшее, но которое желал бы потом возратить обратно слезами всей своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймалась за хвост! Вот в этом-то преддверии, сударыня, Лебядкин мог проговорить насчет и благородной девицы, в виде благородного негодования возмущенной обидами души, чем и воспользовались клеветники его. Но хитер Лебядкин, сударыня! И напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца: не проговорится Лебядкин, и на дне бутылки вместо ожидаемого оказывается каждый раз — хитрость Лебядкина! Но довольно, о, довольно! Сударыня, ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, но таракан не ропщет! Заметьте же, заметьте наконец, что не ропщет, и познайте великий дух!

В это мгновение снизу из швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавший на звон Степана Трофимовича Алексей Егорыч. Старый чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбужденном состоянии.

— Николай Всеволодович изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с, — произнес он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны.

Я особенно припоминаю ее в то мгновение: сперва она побледнела, но вдруг глаза ее засверкали. Она выпрямилась в креслах с видом необычной решимости. Да и все были поражены. Совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен не одною своею неожиданностью, а именно роковым каким-то совпадением с настоящею минутой. Даже капитан остановился как столб среди комнаты, разинув рот и с ужасно глупым видом смотря на дверь.

И вот из соседней залы, длинной и большой комнаты, раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые; кто-то как будто катился, и вдруг влетел в гостиную — совсем не Николай Всеволодович, а совершенно не знакомый никому молодой человек.

## V

Позволю себе приостановиться и хотя несколько беглыми штрихами очертить это внезапно появляющееся лицо.

Это был молодой человек лет двадцати семи или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно

длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначававшимися усами и бородкой. Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски; как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но, однако ж, совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудака, и, однако же, все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу.

Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз вострый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжелой болезни. И, однако же, он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен.

Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, ничего не может привести его в смущение; при всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает нисколько.

Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно, и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, — и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту, должно быть, какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком.

Ну, вот этот-то молодой человек и влетел теперь в гостиную, и, право, мне до сих пор кажется, что он заговорил еще из соседней залы и так и вошел говоря. Он мигом очутился пред Варварой Петровной.

— ...Представьте же, Варвара Петровна, — сыпал он как бисером, — я вхожу и думаю застать его здесь уже с четверть часа; он полтора часа как приехал; мы сошлись у Кириллова; он отправился, полчаса тому, прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить через четверть часа...

— Да кто? Кто велел вам сюда приходить? — допрашивала Варвара Петровна.

— Да Николай же Всеволодович! Так неужели вы в самом деле только сию минуту узнаете? Но багаж же его, по крайней мере, должен давно прибыть, как же вам не сказали? Стало быть, я первый и возвещаю. За ним можно было бы, однако, послать куда-нибудь, а впрочем, наверно он сам сейчас явится, и, кажется, именно в то самое время, которое как раз отвечает некоторым его ожиданиям и, сколько я, по крайней мере, могу судить, его некоторым расчетам. — Тут он обвел глазами комнату и особенно внимательно остановил их на капитане. — Ах, Лизавета Николаевна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу, очень рад пожать вашу руку, — быстро подлетел он к ней, чтобы подхватить протянувшуюся к нему ручку весело улыбнувшейся Лизы, — и, сколько замечаю, многоуважаемая Прасковья Ивановна тоже не забыла, кажется, своего «профессора» и даже на него не сердится, как всегда сердилась в Швейцарии. Но как, однако ж, здесь ваши ноги, Прасковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат родины?.. как-с? примочки? это очень, должно быть, полезно. Но как я жалел, Варвара Петровна (быстро повернулся он опять), что не успел вас застать тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, притом же так много имел сообщить... Я уведомлял сюда моего старика, но он, по своему обыкновению, кажется...

— Петруша! — вскричал Степан Трофимович, мгновенно выходя из оцепенения; он сплеснул руками и бросился к сыну. — *Piege, mon enfant*<sup>1</sup>, а ведь я не узнал тебя! — сжал он его в объятиях, и слезы покатались из глаз его.

— Ну, не шали, не шали, без жестов, ну и довольно, довольно, прошу тебя, — торопливо бормотал Петруша, стараясь освободиться из объятий.

— Я всегда, всегда был виноват пред тобой!

— Ну и довольно; об этом мы после. Так ведь и знал, что зашлашь. Ну будь же немного потрезвее, прошу тебя.

— Но ведь я не видал тебя десять лет!

— Тем менее причин к излияниям...

— *Mon enfant!*

— Ну верю, верю, что любишь, убери свои руки. Ведь ты мешаешь другим... Ах, вот и Николай Всеволодович, да не шали же, прошу тебя наконец!

Николай Всеволодович действительно был уже в комнате; он вошел очень тихо и на мгновение остановился в дверях, тихим взглядом окидывая собрание.

<sup>1</sup> Петя, дитя мое (*фр.*).

Как и четыре года назад, когда в первый раз я увидел его, так точно и теперь я был поражен с первого на него взгляда. Я нисколько не забыл его; но, кажется, есть такие физиономии, которые всегда, каждый раз, когда появляются, как бы приносят с собою нечто новое, еще не примеченное в них вами, хотя бы вы сто раз прежде встречались. По-видимому, он был все тот же, как и четыре года назад: так же изящен, так же важен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Легкая улыбка его была так же официально ласкова и так же самодовольна; взгляд так же строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня: прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно «походило на маску», как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же, — теперь же, не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску. Не оттого ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел? Или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде?

— Николай Всеволодович! — вскричала, вся выпрямившись и не сходя с кресел, Варвара Петровна, остановившая его повелительным жестом, — остановись на одну минуту!

Но чтоб объяснить тот ужасный вопрос, который вдруг последовал за этим жестом и восклицанием, — вопрос, возможности которого я даже и в самой Варваре Петровне не мог бы предположить, — я попрошу читателя вспомнить, что такое был характер Варвары Петровны во всю ее жизнь и необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу тоже сообразить, что, несмотря на необыкновенную твердость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказать, даже хозяйственного такта, которыми она обладала, все-таки в ее жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело и, если позволительно так выразиться, совершенно без удержу. Прошу взять, наконец, во внимание, что настоящая минута действительно могла быть для нее из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредоточивается вся сущность жизни, — всего прожитого, всего настоящего и, пожалуй, будущего. Напомню еще вскользь и о полученном ею анонимном письме, о котором она давеча так раздражительно проговорила Прасковье Ивановне, причем, кажется, умолчала о дальнейшем содержании письма; а в нем-то, может быть, и заключалась разгадка возможности того ужасного вопроса, с которым она вдруг обратилась к сыну.

— Николай Всеволодович, — повторила она, отчеканивая слова твердым голосом, в котором зазвучал грозный вызов, — прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места: правда ли, что эта несчастная, хромая женщина, — вот она, вон там, смотрите на нее! Правда ли, что она... законная жена ваша?

Я слишком помню это мгновение; он не смигнул даже глазом и пристально смотрел на мать; ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то снисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. И до того было сильно всегдашнее, неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела отдернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил, что еще один миг, и она не вынесет неизвестности.

Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату и по-прежнему не спеша направился прямо к Марье Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки; а вместе с тем вспоминается и восторг в ее взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший ее черты, — восторг, который трудно людьми выносятся. Может, было и то, и другое, и испуг и восторг; но помню, что я быстро к ней придвинулся (я стоял почти подле), мне показалось, что она сейчас упадет в обморок.

— Вам нельзя быть здесь, — проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял пред нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка стремительным полупшепотом, задыхаясь, пролепетала ему:

— А мне можно... сейчас... стать пред вами на колени?

— Нет, этого никак нельзя, — великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелодическим голосом и нежно уговаривая ее, точно ребенка, он с важностью прибавил:

— Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но все же вам посторонний человек, не муж, не отец, не жених. Дайте же руку вашу и пойдемте; я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом.

Она выслушала и как бы в раздумье склонила голову.

— Пойдемте, — сказала она, вздохнув и подавая ему руку.

Но тут с нею случилось маленькое несчастье. Должно быть, она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою большую, короткую ногу, — словом, она упала всем боком на кресло, и не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил ее и поддержал, крепко взял под руку и с участием, осторожно повел к дверям. Она видимо была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке. Так они и вышли. Лиза, я видел, для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице ее было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада.

Пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марьей Тимофеевной, все молчали в изумлении; муху бы можно услышать; но только что они вышли, все вдруг заговорили.

## VI

Говорили, впрочем, мало, а более восклицали. Я немножко забыл теперь, как это все происходило тогда по порядку, потому что вышла сумятица. Воскликнул что-то Степан Трофимович по-французски и сплеснул руками, но Варваре Петровне было не до него. Даже пробормотал что-то отрывисто и скоро Маврикий Николаевич. Но всех более горячился Петр Степанович; он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну, с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Прасковье Ивановне и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу, — одним словом, очень вертелся по комнате. Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила было с места и крикнула Прасковье Ивановне: «Слышала, слышала ты, что он здесь ей сейчас говорит?» Но та уж и отвечать не могла, а только пробормотала что-то, махнув рукой. У бедной была своя забота: она поминутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на нее в безотчетном страхе, а встать и уехать и думать уже не смела, пока не подымается дочь. Тем временем капитан наверно хотел улизнуть, это я подметил. Он был в сильном и несомненном испуге, с самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович; но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти.

— Это необходимо, необходимо, — сыпал он своим бисером Варваре Петровне, все продолжая ее убеждать. Он стоял пред



нею, а она уже опять сидела в креслах и, помню, с жадностью его слушала; он таки добился того и завладел ее вниманием.

— Это необходимо. Вы сами видите, Варвара Петровна, что тут недоразумение, и на вид много чудного, а между тем дело ясное как свечка и простое как палец. Я слишком понимаю, что никем не уполномочен рассказывать и имею, пожалуй, смешной вид, сам напрашиваясь. Но, во-первых, сам Николай Всеволодович не придает этому делу никакого значения, и, наконец, все же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а надо непременно, чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват, не ответив на ваш давешний вопрос тотчас же, радикальным объяснением, несмотря на то, что дело плевое; я знаю его еще с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь Николаю Всеволодовичу, если уж непременно надо употребить это неопределенное слово «честь»...

— Вы хотите сказать, что вы были свидетелем какого-то случая, от которого произошло... это недоумение? — спросила Варвара Петровна.

— Свидетелем и участником, — поспешно подтвердил Петр Степанович.

— Если вы дадите мне слово, что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича, в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ни-че-го не скрывает... и если вы так притом уверены, что этим даже сделаете ему удовольствие...

— Непременно удовольствие, потому-то и сам вмению себе в особенное удовольствие. Я убежден, что он сам бы меня просил.

Довольно странно было и вне обыкновенных приемов это навязчивое желание этого вдруг упавшего с неба господина рассказывать чужие анекдоты. Но он поймал Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишком наболевшего места. Я еще не знал тогда характера этого человека вполне, а уж тем более его намерений.

— Вас слушают, — сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения.

— Вещь короткая; даже, если хотите, по-настоящему это и не анекдот, — посыпался бисер. — Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица, Прасковья Ивановна, и я уверен, что Лизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много если не чудных, то причудливых вещей. Лет пять тому, в Петербурге, Николай Всеволодович уз-

нал этого господина, — вот этого самого господина Лебядкина, который стоит разиня рот и, кажется, собирался сейчас улизнуть. Извините, Варвара Петровна. Я вам, впрочем, не советую улепetyвать, господин отставной чиновник бывшего провиантского ведомства (видите, я отлично вас помню). И мне и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим Фальстафом; это, должно быть (пояснил он вдруг) какой-нибудь бывший характер, burlesque<sup>1</sup>, над которым все смеются и который сам позволяет над собою всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насмешливую, — другим словом не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебядкина этого была сестра, — вот эта самая, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрица не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил под арками Гостиного двора, непременно в бывшем мундире, и останавливал прохожих с виду почище, а что наберет — пропиывал. Сестрица же кормилась как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. Содом был ужаснейший; я миную картину этой угловой жизни, — жизни, которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время, Варвара Петровна; а что касается до «чудачества», то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. М-lle Лебядкина, которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо; но ее тотчас же подняли дрянные людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее уже и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так, как теперь. Есть основание предположить, что в детстве, через какую-то благодетельницу, она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания и играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в преферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он (не спрашивая причины) схватил одного чиновника за шиворот и спустил изо второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодо-

<sup>1</sup> шутовской (фр.).

ваний в пользу оскорбленной невинности тут не было; вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам; когда же все кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей. Повторяю, я плохой описатель чувств, но тут главное мечта. А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту: вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к m-lle Лебядкиной с неожиданным уважением. Кириллов, тут бывший (чрезвычайный оригинал, Варвара Петровна, и чрезвычайно отрывистый человек; вы, может быть, когда-нибудь его увидите, он теперь здесь), ну так вот этот Кириллов, который, по обыкновению, все молчит, а тут вдруг разгорячился, заметил, я помню, Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кириллова. Что ж, вы думаете, он ему ответил: «Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею; разуверьтесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех нас лучше». И, знаете, таким серьезным тоном сказал. Между тем в эти два-три месяца он, кроме *здравствуйте да прощайте*, в сущности не проговорил с ней ни слова. Я, тут бывший, наверно помню, что она до того уже наконец дошла, что считала его чем-то вроде жениха своего, не смеющего ее «похитить» единственно потому, что у него много врагов и семейных препятствий, или что-то в этом роде. Много тут было смеху! Кончилось тем, что, когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и, кажется, довольно значительном ежегодном пенсионе, рублей в триста, по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, все это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека, — пусть даже наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку. «Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существо, калеку, покрытую вечным позором и побоями, — и вдобавок, зная, что это существо умирает к вам от комической любви своей, и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить, единственно для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет!» Чем, наконец, так особенно виноват человек в фантазиях сумасшедшей женщины, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во все время выговорил? Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить неум-

но. Ну пусть, наконец, чудачество — но ведь более-то уж ничего нельзя сказать; а между тем теперь вот из этого сделали историю... Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том, что здесь происходит.

Рассказчик вдруг оборвал и повернулся было к Лебядкину, но Варвара Петровна остановила его; она была в сильнейшей экзальтации.

— Вы кончили? — спросила она.

— Нет еще; для полноты мне надо бы, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина... Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна.

— Довольно, после, остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить!

— И заметьте, Варвара Петровна, — встрепенулся Петр Степанович, — ну мог ли Николай Всеволодович сам объяснить вам это все давеча, в ответ на ваш вопрос, — может быть, слишком уж категорический?

— О да, слишком!

— И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному!

— Да, да... Но в одном вы ошиблись и, с сожалением вижу, продолжаете ошибаться.

— Неужели? В чем это?

— Видите... А впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович.

— О, как вам угодно, я и сам устал, благодарю вас.

Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола с другой и лицом к господину Лебядкину, с которого он ни на минутку не спускал своих глаз.

— Вы ошибаетесь в том, что называете это «чудачеством»...

— О, если только это...

— Нет, нет, нет, подождите, — остановила Варвара Петровна, очевидно, приготовляясь много и с упоением говорить. Петр Степанович лишь только заметил это, весь обратился во внимание.

— Нет, это было нечто высшее чудачества, и, уверяю вас, нечто даже святое! Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той «насмешливости», о которой вы так метко упомянули, — одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович и что было бы совершенно верно, если бы он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере, по моему взгляду.

— Et vous avez raison<sup>1</sup>, — с чувством и веско отозвался Степан Трофимович.

— Благодарю вас, Степан Трофимович, вас я особенно благодарю и именно за вашу всегдашнюю веру в Nicolas, в высоту его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом.

— Chère, chère... — Степан Трофимович шагнул было уже вперед, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно.

— И если бы всегда подле Nicolas (отчасти пела уже Варвара Петровна) находился тихий, великий в смирении своем Горацио, — другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, — то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и «внезапного демона иронии», который всю жизнь терзал его. (О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович.) Но у Nicolas никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать, но что же может сделать мать одна и в таких обстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Nicolas, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта «насмешливость» жизни (удивительно меткое выражение ваше!), эта ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами!

— Гм, да, положим.

— И вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все! О люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением «как маркизу» (этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Nicolas!). Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда; если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умоисступленной мечты. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович, и как жаль, что вы... то есть не то, что вы не женщина, а, по крайней мере, на этот раз, чтобы понять!

— То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше, я понимаю, понимаю, Варвара Петровна. Это вроде как в религии: чем хуже человеку жить или чем забитее или беднее весь народ, тем упря-

---

<sup>1</sup> И вы совершенно правы (фр.).

мее мечтает он о вознаграждении в раю, а если при этом хлопочет еще сто тысяч священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то... я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны.

— Это, положим, не совсем так, но скажите, неужели Nicolas, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме (для чего Варвара Петровна тут употребила слово «организм», я не мог понять): неужели он должен был сам над нею смеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которою Nicolas вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею». Высокий, святой ответ!

— Sublime<sup>1</sup>, — пробормотал Степан Трофимович.

— И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете; богата я, а не он, а он у меня тогда почти вовсе не брал.

— Я понимаю, понимаю все это, Варвара Петровна, — несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович.

— О, это мой характер! Я узнаю себя в Nicolas. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов... И если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более что вам уже так обязана, то вы, может быть, поймете тогда...

— О, поверьте, я желаю, с моей стороны, — отрывисто пробормотал Петр Степанович.

— Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека даже недостойного себя во всех отношениях, человека, глубоко непонимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности, и такого-то человека, наперекор всему, воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, сокупают на нем все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что, — может быть, именно за то, что он не достоин того... О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!

Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд; но я вовремя увернулся.

— ...И еще недавно, недавно — о, как я виновата пред Nicolas!.. Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон, все, все, и враги, и людишки, и друзья; друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислали первое презренное, анонимное письмо, Петр Степанович, то вы не поверите этому, у меня не достало, наконец, презрения в ответ на всю эту злость... Никогда, никогда не прощу себе моего малодушия!

<sup>1</sup> Возвышенно (фр.).

— Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах, — оживился вдруг Петр Степанович, — и я вам их разыщу, будьте покойны.

— Но вы не можете вообразить, какие здесь начались интриги! — они измучили даже нашу бедную Прасковью Ивановну — а ее-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Прасковья Ивановна, — прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии.

— Полноте, матушка, — пробормотала та нехотя, — а по-моему, это бы все надо кончить; слишком говорено... — и она опять робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича.

— А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, утратившую все и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить, — вдруг воскликнула Варвара Петровна, — это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня беру ее под мою защиту!

— И это даже будет очень хорошо-с в некотором смысле, — совершенно оживился Петр Степанович. — Извините, я давеча не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что когда уехал тогда Николай Всеволодович (я начинаю с того именно места, где остановился, Варвара Петровна), этот господин, вот этот самый господин Лебядкин мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице, без остатка; и распорядился. Я не знаю в точности, как это было тогда устроено Николаем Всеволодовичем, но через год, уже из-за границы, он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет, но знаю только, что интересную особу поместили где-то в отдаленном монастыре, весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром — понимаете? На что же, вы думаете, решается господин Лебядкин? Он употребляет сперва все усилия, чтобы разыскать, где скрывают от него оброчную статью, то есть сестрицу, недавно только достигает цели, берет ее из монастыря, предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая, в случае неплатежа пенсионера впредь ему прямо в руки, судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань, — можете себе представить? Господин Лебядкин, правда ли *все* то, что я здесь сейчас говорил?

Капитан, до сих пор стоявший молча и потупив глаза, быстро шагнул два шага вперед и весь побагровел.

— Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили, — проговорил он, точно оборвал.

— Как это жестоко и почему-с? Но позвольте, мы о жестокости или о мягкости после, а теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос: правда ли *все* то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление.

— Я... вы сами знаете, Петр Степанович... — пробормотал капитан, осекся и замолчал. Надо заметить, что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял пред ним в самой почтительной позе.

Колебания господина Лебядкина, кажется, очень не понравились Петру Степановичу; лицо его передернулось какой-то злобой судорогой.

— Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить? — тонко поглядел он на капитана. — В таком случае сделайте одолжение, вас ждут.

— Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять.

— Нет, я этого не знаю, в первый раз даже слышу; почему так вы не можете заявлять?

Капитан молчал, опустив глаза в землю.

— Позвольте мне уйти, Петр Степанович, — проговорил он решительно.

— Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос: правда *все*, что я говорил?

— Правда-с, — глухо проговорил Лебядкин и вскинул глазами на мучителя. Даже пот выступил на висках его.

— *Все* правда?

— Все правда-с.

— Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это; протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие.

— Нет, ничего не нахожу.

— Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу?

— Это... это, тут было больше вино, Петр Степанович. (Он поднял вдруг голову.) — Петр Степанович! Если фамильная честь и не заслуженный сердцем позор возопиют меж людей, то тогда, неужели и тогда виноват человек? — взревел он, вдруг забывшись по-давешнему.



— А вы теперь трезвы, господин Лебядкин? — пронзительно поглядел на него Петр Степанович.

— Я... трезв.

— Что это такое значит фамильная честь и не заслуженный сердцем позор?

— Это я про никого, я никого не хотел. Я про себя... — провалился опять капитан.

— Вы, кажется, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение? Вы очень раздражительны, господин Лебядкин. Но позвольте, я ведь еще ничего не начинал про ваше поведение, в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение, в его настоящем виде. Я начну говорить, это очень может случиться, но я ведь еще не начинал в *настоящем* виде.

Лебядкин вздрогнул и дико уставился на Петра Степановича.

— Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться!

— Гм. И это я вас разбудил?

— Да, это вы меня разбудили, Петр Степанович, а я спал четыре года под висевшей тучей. Могу я, наконец, удалиться, Петр Степанович?

— Теперь можете, если только сама Варвара Петровна не найдет необходимым...

Но та замахала руками.

Капитан поклонился, шагнул два шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал и быстро побежал вон. Но в дверях как раз столкнулся с Николаем Всеволодовичем; тот посторонился; капитан как-то весь вдруг съжился пред ним и так и замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную.

## VII

Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное; но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен.

— Простишь ли ты меня, Nicolas? — не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу.

Но Nicolas решительно рассмеялся.

— Так и есть! — воскликнул он добродушно и шутливо. — Вижу, что вам уже все известно. А я, как вышел отсюда, и задумался в карете: «По крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а

то кто же так уходит?» Но как вспомнил, что у вас остается Петр Степанович, то и забота соскочила.

Говоря, он бегло осматривался кругом.

— Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника, — восторженно подхватила Варвара Петровна, — одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного...

— Рыцарски? Неужто у вас до того дошло? — смеялся Nicolas. — Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость (тут он обменялся с ним мгновенным взглядом). Надобно вам узнать, тамап, что Петр Степанович — всеобщий примиритель; это его роль, болезнь, конек, и я особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываюсь, о чем он вам тут настроил. Он именно строчит, когда рассказывает; в голове у него канцелярия. Заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать и что истина ему дороже успеха... разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины. (Говоря это, он все осматривался.) Таким образом, вы видите ясно, тамап, что не вам у меня прощения просить и что, если есть тут где-нибудь сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны, и, значит, в конце концов я все-таки помешанный, — надо же поддержать свою здешнюю репутацию...

Тут он нежно обнял мать.

— Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем, — прибавил он, и какая-то сухая, твердая нотка прозвучала в его голосе. Варвара Петровна поняла эту нотку; но экзальтация ее не проходила, даже напротив.

— Я никак не ждала тебя раньше как через месяц, Nicolas!

— Я, разумеется, вам все объясню, тамап, а теперь...

И он направился к Прасковье Ивановне.

Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. **Теперь** же у ней были новые хлопоты: с самого того мгновения, как вышел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем, Лиза вдруг принялась смеяться, — сначала тихо, порывисто, но смех разрастался все более и более, громче и явственнее. Она раскраснелась. Контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть; но лишь только тот наклонился к ней, мигом заливалась смехом; можно было заключить, что

она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеется. Она, впрочем, видимо старалась скрепиться и прикладывала платок к губам, Николай Всеволодович с самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием.

— Вы, пожалуйста, извините меня, — ответила она скороговоркой, — вы... вы, конечно, видели Маврикия Николаевича... Боже, как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич!

И опять смех. Маврикий Николаевич был роста высокого, но вовсе не так уж непозволительно.

— Вы... давно приехали? — пробормотала она, опять сдерживаясь, даже конфузясь, но со сверкающими глазами.

— Часа два с лишком, — ответил Nicolas, пристально к ней присматриваясь. Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый.

— А где будете жить?

— Здесь.

Варвара Петровна тоже следила за Лизой, но ее вдруг поразила одна мысль.

— Где же ты был, Nicolas, до сих пор все эти два часа с лишком? — подошла она. — Поезд приходит в десять часов.

— Я сначала завез Петра Степановича к Кириллову. А Петра Степановича я встретил в Матвееве (за три станции), в одном вагоне и доехали.

— Я с рассвета в Матвееве ждал, — подхватил Петр Степанович, — у нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали.

— Ноги сломали! — вскричала Лиза. — Мама́, мама́, а мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево, вот бы тоже ноги сломали!

— Господи помилуй! — перекрестилась Прасковья Ивановна.

— Мама́, мама́, милая ма, вы не пугайтесь, если я в самом деле обе ноги сломаю; со мной это так может случиться, сами же говорите, что я каждый день скачу верхом сломя голову. Маврикий Николаевич, будете меня водить хромою? — захохотала она опять. — Если это случится, я никому не дам себя водить, кроме вас, смело рассчитывайте. Ну, положим, что я только одну ногу сломаю... Ну будьте же любезны, скажите, что почтете за счастье.

— Что уж за счастье с одною ногой? — серьезно нахмурился Маврикий Николаевич.

— Зато вы будете водить, один вы, никому больше!

— Вы и тогда меня водить будете, Лизавета Николаевна, — еще серьезнее проворчал Маврикий Николаевич.

— Боже, да ведь он хотел сказать каламбур! — почти в ужасе воскликнула Лиза. — Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь! Но только до какой же степени вы эгоист! Я убеждена, к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевете; напротив: вы с утра до ночи будете меня тогда уверять, что я стала без ноги интереснее! Одно непоправимо — вы безмерно высоки ростом, а без ноги я стану премаленькая, как же вы меня поведете под руку, мы будем не пара!

И она болезненно рассмеялась. Остроты и намеки были плоски, но ей, очевидно, было не до славы.

— Истерика! — шепнул мне Петр Степанович. — Поскорее бы воды стакан.

Он угадал; через минуту все суетились, принесли воды. Лиза обнимала свою мамá, горячо целовала ее, плакала на ее плече и тут же, опять откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала наконец и мамá. Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь, из которой вышла к нам давеча Дарья Павловна. Но пробыли они там недолго, минуты четыре, не более...

Я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню, что когда мы остались одни, без дам (кроме одной Дарьи Павловны, не тронувшейся с места), Николай Всеволодович обошел нас и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своем углу и еще больше, чем давеча, наклонившегося в землю. Степан Трофимович начал было с Николаем Всеволодовичем о чем-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно направился к Дарье Павловне. Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степанович и утащил к окну, где и начал о чем-то быстро шептать ему, по-видимому об очень важном, судя по выражению лица и по жестам, сопровождавшим шепот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно, с своей официальной усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, и все как бы порывался уйти. Он ушел от окна, именно когда воротились наши дамы; Лизу Варвара Петровна усадила на прежнее место, уверяя, что им минут хоть десять надо непременно повременить и отдохнуть и что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень уж она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. Вот тут-то Николай Всеволодович и подошел наконец к Дарье Павловне неспешною походкой своей; Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро привскочила в видимом смущении и с румянцем во все лицо.

— Вас, кажется, можно поздравить... или еще нет? — проговорил он с какою-то особенною складкой в лице.

Даша что-то ему ответила, но трудно было расслышать.

— Простите за нескромность, — возвысил он голос, — но ведь вы знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом?

— Да, я знаю, что вы были нарочно извещены.

— Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлением, — засмеялся он, — и если Степан Трофимович...

— С чем, с чем поздравить? — подскочил вдруг Петр Степанович, — с чем вас поздравить, Дарья Павловна? Ба! Да уж не с тем ли самым? Краска ваша свидетельствует, что я угадал. В самом деле, с чем же и поздравлять наших прекрасных и благонаправленных девиц и от каких поздравлений они всего больше краснеют? Ну-с, примите и от меня, если я угадал, и заплатите пари: помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж... Ах да, по поводу Швейцарии — что ж это я? Представьте, наполовину затем и ехал, а чуть не забыл: скажи ты мне, — быстро повернулся он к Степану Трофимовичу, — ты-то когда же в Швейцарию?

— Я... в Швейцарию? — удивился и смутился Степан Трофимович.

— Как? разве не едешь? Да ведь ты тоже женишься... ты писал?

— Ригге! — воскликнул Степан Трофимович.

— Да что Ригге... Видишь, если тебе это приятно, то я летел заявить тебе, что я вовсе не против, так как ты непременно желал моего мнения как можно скорее; если же (сыпал он) тебя надо «спасать», как ты тут же пишешь и умоляешь, в том же самом письме, то опять-таки я к твоим услугам. Правда, что он женится, Варвара Петровна? — быстро повернулся он к ней. — Надеюсь, что я не нескромничаю; сам же пишет, что весь город знает, и все поздравляют, так что он, чтоб избежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, что я ничего в нем не понимаю! Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович, поздравлять тебя надо или «спасать»? Вы не поверите, рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие. Во-первых, просит у меня прощения; ну, положим, это в их нравах... А впрочем, нельзя не сказать: вообразите, человек в жизни видел меня два раза, да и то нечаянно, и вдруг теперь, вступая в третий брак, воображает, что нарушает этим ко мне какие-то родительские обязанности, умоляет меня за тысячу верст, чтоб я не сердился и разрешил ему! Ты, пожалуйста, не обижайся, Степан

Трофимович, черта времени, я широко смотрю и не осуждаю, и это, положим, тебе делает честь и т. д., и т. д., но опять-таки главное в том, что главного-то не понимаю. Тут что-то о каких-то «грехах в Швейцарии». Женюсь, дескать, по грехам, или из-за чужих грехов, или как у него там, — одним словом, «грехи». «Девушка, говорит, перл и алмаз», ну и, разумеется, «он недостоин» — их слог; но из-за каких-то там грехов или обстоятельств «принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию», а потому «бросай все и лети спасать». Понимаете ли вы что-нибудь после этого? А впрочем... а впрочем, я по выражению лиц замечая (повертывался он с письмом в руках, с невинною улыбкой всматриваясь в лица), что, по моему обыкновению, я, кажется, в чем-то дал маху... по глупой моей откровенности или, как Николай Всеволодович говорит, то-ропливости. Я ведь думал, что мы тут свои, то есть твои свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то, в сущности, чужой, и вижу... и вижу, что все что-то знают, а я-то вот именно чего-то и не знаю.

Он все продолжал осматриваться.

— Степан Трофимович так и написал вам, что женится на «чужих грехах, совершенных в Швейцарии», и чтобы вы летели «спасать его», этими самыми выражениями? — подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами.

— То есть, видите ли-с, если тут чего-нибудь я не понял, — как бы испугался и еще пуще заторопился Петр Степанович, — то виноват, разумеется, он, что так пишет. Вот письмо. Знаете, Варвара Петровна, письма бесконечные и непрерывные, а в последние два-три месяца просто письмо за письмом, и, признаюсь, я, наконец, иногда не дочитывал. Ты меня прости, Степан Трофимович, за мое глупое признание, но ведь согласись, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства, так что тебе ведь и все равно... Ну-ну, не обижайся; мы-то с тобой все-таки свои! Но это письмо, Варвара Петровна, это письмо я дочитал. Эти «грехи»-с — эти «чужие грехи» — это, наверно, какие-нибудь наши собственные грешки, и об заклад бьюсь, самые невиннейшие, но из-за которых вдруг нам вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком — именно ради благородного оттенка и подняли. Тут, видите ли, что-нибудь по счетной части у нас прихрамывает — надо же наконец сознаться. Мы, знаете, в карточки очень повадливы... а впрочем, это лишнее, это совсем уже лишнее, виноват, я слишком болтлив, но, ей-богу, Варвара Петровна, он меня напугал, и я действительно приготовился отчасти «спасать» его. Мне, наконец, и самому совестно. Что я, с ножом к горлу, что ли, лезу к нему? Кредитор неумолимый я, что

ли? Он что-то пишет тут о приданом... А впрочем, уж женишься ли ты, полно, Степан Трофимович? Ведь и это станется, ведь мы наговорим, наговорим, а более для слога... Ах, Варвара Петровна, я ведь вот уверен, что вы, пожалуй, осуждаете меня теперь, и именно тоже за слог-с...

— Напротив, напротив, я вижу, что вы выведены из терпения и, уж конечно, имели на то причины, — злобно подхватила Варвара Петровна.

Она со злобным наслаждением выслушала все «правдивые» словоизвержения Петра Степановича, очевидно игравшего роль (какую — не знал я тогда, но роль была очевидная, даже слишком уж грубовато сыгранная).

— Напротив, — продолжала она, — я вам слишком благодарна, что вы заговорили; без вас я бы так и не узнала. В первый раз в двадцать лет я раскрываю глаза. Николай Всеволодович, вы сказали сейчас, что и вы были нарочно извещены: уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в этом же роде?

— Я получил от него невиннейшее и... и... очень благородное письмо...

— Вы затрудняетесь, ищите слов — довольно! Степан Трофимович, я ожидаю от вас чрезвычайного одолжения, — вдруг обратилась она к нему с засверкавшими глазами, — сделайте мне милость, оставьте нас сейчас же, а впредь не переступайте через порог моего дома.

Прошу припомнить недавнюю «экзальтацию», еще и теперь не прошедшую. Правда, и виноват же был Степан Трофимович! Но вот что решительно изумило меня тогда: то, что он с удивительным достоинством выстоял и под «обличениями» Петруши, не думая прерывать их, и под «проклятием» Варвары Петровны. Откуда взялось у него столько духа? Я узнал только одно, что он несомненно и глубоко оскорблен был давешнею первою встречей с Петрушей, именно давешними объятиями. Это было глубокое и *настоящее* уже горе, по крайней мере, на его глаза, его сердцу. Было у него и другое горе в ту минуту, а именно язвительное собственное сознание в том, что он сподличал; в этом он мне сам потом признавался со всею откровенностью. А ведь *настоящее*, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну хоть на малое время; мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели, тоже, разумеется, на время; это уж свойство такое горя. А если так, то что же могло произойти с таким человеком, как Степан Трофимович? Целый переворот — конечно, тоже на время.

Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова (правда, ему ничего и не оставалось более). Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел и подошел к Дарье Павловне. Та, кажется, это предчувствовала, потому что тотчас же сама, вся в испуге, начала говорить, как бы спеша предупредить его:

— Пожалуйста, Степан Трофимович, ради бога, ничего не говорите, — начала она горячею скороговоркой, с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку, — будьте уверены, что я вас все так же уважаю... и все так же ценю и... думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, и я буду очень, очень это ценить...

Степан Трофимович низко, низко ей поклонился.

— Воля твоя, Дарья Павловна, ты знаешь, что во всем этом деле твоя полная воля! Была и есть, и теперь и впредь, — веско заключила Варвара Петровна.

— Ба! да и я теперь все понимаю! — ударил себя по лбу Петр Степанович. — Но... но в какое же положение я был поставлен после этого? Дарья Павловна, пожалуйста, извините меня!.. Что ты наделал со мной после этого, а? — обратился он к отцу.

— Риегге, ты бы мог со мной выражаться иначе, не правда ли, друг мой? — совсем даже тихо промолвил Степан Трофимович.

— Не кричи, пожалуйста, — замахал Риегге руками, — поверь, что все это старые, больные нервы, и кричать ни к чему не послужит. Скажи ты мне лучше, ведь ты мог бы предположить, что я с первого шага заговорю: как же было не предупредить?

Степан Трофимович пронизательно посмотрел на него:

— Риегге, ты, который так много знаешь из того, что здесь происходит, неужели ты и вправду об этом деле так-таки ничего не знал, ничего не слышал?

— Что-о-о? Вот люди! Так мы мало того, что старые дети, мы еще злые дети? Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит?

Поднялся шум; но тут разразилось вдруг такое приключение, которого уж никто не мог ожидать.

## VIII

Прежде всего упомяну, что в последние две-три минуты Лизаветой Николаевной овладело какое-то новое движение; она быстро шепталась о чем-то с мамá и с наклонившимся к ней Мавриkiem Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время



выражало решимость. Наконец встала с места, видимо торопясь уехать и торопя мамá, которую начал приподымать с кресел Маврикий Николаевич. Но, видно, не суждено им было уехать, не досмотрев всего до конца.

Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу (неподалеку от Лизаветы Николаевны) и, по-видимому, сам не знавший, для чего он сидел и не уходил, вдруг поднялся со стула и через всю комнату, не спешным, но твердым шагом направился к Николаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо. Тот еще издали заметил его приближение и чуть-чуть усмехнулся; но когда Шатов подошел к нему вплоть, то перестал усмехаться.

Когда Шатов молча пред ним остановился, не спуская с него глаз, все вдруг это заметили и затихли, позже всех Петр Степанович; Лиза и мамá остановились посреди комнаты. Так прошло секунд пять; выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом, он нахмурил брови, и вдруг...

И вдруг Шатов размахнулся своею длинною, тяжелою рукой и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте.

Шатов и ударил-то по-особенному, вовсе не так, как обыкновенно принято давать пощечины (если только можно так выразиться), не ладонью, а всем кулаком, а кулак у него был большой, веский, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Если б удар пришелся по носу, то раздробил бы нос. Но пришелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь.

Кажется, раздался мгновенный крик, может быть, вскрикнула Варвара Петровна — этого не припомню, потому что все тотчас же опять как бы замерло. Впрочем, вся сцена продолжалась не более каких-нибудь десяти секунд.

Тем не менее в эти десять секунд произошло ужасно много.

Напомню опять читателю, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто ударил его по щеке, то, как мне кажется, он бы и на дуэль не вызвал, а тут же, тотчас же, убил бы обидчика; он именно был из таких, и убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя. Мне кажется даже, что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуждать. При бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он все-таки всегда мог сохранять полную власть над со-

бой, а стало быть, и понимать, что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в каторгу; тем не менее он все-таки убил бы обидчика, и без малейшего колебания.

Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и, по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов. Я, пожалуй, сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Рассказывали, например, про декабриста Л—на, что он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил его в потребность своей природы; в молодости выходил на дуэль ни за что; в Сибири с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые, замечу мимоходом, страшнее медведя. Сомнения нет, что эти легендарные господа способны были ощущать, и даже, может быть, в сильной степени, чувство страха, — иначе были бы гораздо спокойнее и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость — вот что, разумеется, их прельщало. Бесперывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя, — вот что их увлекало. Этот Л—н еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб, единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу; не с медведями только и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера.

Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности, господа доброго старого времени. Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л—ну свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком, — правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбил бы в лесу — так же успешно и так же бесстрашно, как и Л—н, но зато уж безо всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л—на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, — *разумная*, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может

быть. Еще раз повторяю: я и тогда считал его и теперь считаю (когда уже все кончено) именно таким человеком, который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то немедленно убил бы своего противника, тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль.

И, однако же, в настоящем случае произошло нечто иное и чудное.

Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся набок, чуть не на целую половину роста, от полученной пощечины, и не затих еще, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи; но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел, как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его смотрели холодно и — я убежден, что не лгу — спокойно. Только бледен он был ужасно. Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи. Мне кажется, если бы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленную докрасна железную полосу и зажал в руке, с целью измерить свою твердость, и затем, в продолжение десяти секунд, побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что ее победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то, что испытал теперь, в эти десять секунд, Николай Всеволодович.

Первый из них опустил глаза Шатов и, видимо, потому, что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошел из комнаты, но вовсе уж не тою походкой, которою подходил давеча. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади плечи, понуриив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с собой. Кажется, он что-то шептал. До двери дошел осторожно, ни за что не зацепив и ничего не опрокинув, дверь же приотворил на маленькую щелочку, так что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, то вихор его волос, стоявший торчком на затылке, был особенно заметен.

Затем, прежде всех криков, раздался один страшный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна схватила было свою мамá за плечо, а Маврикия Николаевича за руку и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто еще слышу, как стукнулась она о ковер затылком.



## КОММЕНТАРИИ

### СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Впервые — «Отечественные записки», 1859, № 11 и 12.

Как и «Дядюшкин сон», повесть написана в Семипалатинске. 3 ноября 1857 г. писатель сообщал брату Михаилу Михайловичу, что «взял писать повесть, небольшую (впрочем листов в 6 печатных)» для «Русского вестника», что вещь эта была начата и частично написана «давно». Однако работа над ней также затянулась, и только 11 апреля 1859 г. писатель выслал издателю «Русского вестника» М. Н. Каткову «три четверти» повести, а в мае — июне отправил в Петербург ее окончание.

После завершения повести Достоевский 9 мая писал о ней брату: «Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки и, главное, может быть, растянутость; но в чем я уверен, как в аксиоме, это то, что он имеет в то же время и великие достоинства и это лучшее мое произведение... Не знаю, оценит ли Катков, но если публика примет мой роман холодно, то, признаюсь, я, может быть, впаду в отчаяние. На нем основаны все лучшие надежды мои и, главное, упрочение моего литературного имени».

Но надеждам Достоевского не суждено было оправдаться. Редакция «Русского вестника» отказалась от его повести, не увенчались успехом и попытки напечатать «Село Степанчиково» в некрасовском «Современнике». Лишь после длительных переговоров с другими редакциями М. М. Достоевскому удалось договориться с издателем «Отечественных записок» А. А. Краевским, в журнале которого «Село Степанчиково» и было опубликовано.

Достоевский высоко оценил «Село Степанчиково». «Я писал его два года (с перерывом в середине «Дядюшкина сна»), — сообщил он. — Начало и середина обделаны, конец писан наскоро... в романе мало сердечного (то есть страстного элемента, как, например, в «Дворянском гнезде») — но в нем есть два огромных типических характера, создаваемых и записываемых пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению), — характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой».

Как и в «Дядюшкином сне», в «Селе Степанчикове» изображена провинциальная Россия, с которой писатель познакомился в Сибири, после выхода с каторги. Интересу литературы к «глубинной» России способствовал литературный и общественный подъем конца 50-х — начала 60-х гг.

Тема ущемленного человеческого достоинства и болезненной «амбиции» «маленького человека», поставленная уже в ранних произведениях Достоевского, стала в «Селе Степанчикове» центральной. В прошлом униженный, болезненно осознающий свою неполноценность Фома Опискин перерастает в мучителя и тирана, движимого потребностью психологического самоутверждения за счет подавления других людей.

Ощущается в повести влияние комедии Тургенева «Нахлебник», хорошо известной в кругу петрашевцев. Герой ее — Кузовкин — у Достоевского как бы раздваивается на Фому Опискина (приживал в помещицьем доме) и Ежевика (робкий, униженный чиновник, шут).

Мольер в комедии «Тартюф» создал классический образ лицемера. Достоевский в «Селе Степанчикове» нарисовал грандиозную фигуру «русского Тартюфа», психологически усложнив его образ. Мольеровский герой стремится овладеть деньгами Оргона и его женой Эльвирой, Фома Опискин же действует бескорыстно. Он, по словам Мизинчикова, «в своем роде какой-то поэт». Опискин не интересуется деньгами полковника, ему нужна власть над людьми, возможность вмешиваться в их судьбы.

«Село Степанчиково» оценил по достоинству впервые Н. А. Добролюбов в статье «Забитые люди». Позднее Н. К. Михайловский в посвященной Достоевскому статье «Жестокый талант» признал Фому Опискина классическим психологическим типом. Это тиран и мучитель, который не преследует никакой практической цели, ему «нужно ненужное». «Словами “ненужная жестокость” исчерпывается чуть ли не вся нравственная физиономия Фомы, и если прибавить сюда безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин» (Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 206).

Повесть неоднократно обрабатывалась для сцены.

С. 9. *Фидельки* (от фр. *fidele* — верный) — любимые собачки.

С. 10. *...влияние различных иван-яковличей...* — Иван Яковлевич Корейша (1780—1861) — московский юродивый, который снискал славу провидца у своих многочисленных почитателей. Достоевский нарисовал его портрет под именем Семена Яковлевича в романе «Бесы».

С. 15. *...вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч. и проч.* — Типичные названия авантурных романов и повестей с ходульно-патриотическим, псевдоисторическим сюжетом, наводнявших в эти годы книжный рынок и рассчитанных на вкусы неприхотливого читателя.

*Барон Брамбеус* — псевдоним О. И. Сенковского (1800—1858), редактора журнала «Библиотека для чтения», ловкого и остроумного, но неглубокого беллетриста и фельетониста, с влиянием которого на публику боролись Пушкин, Гоголь, Белинский.

*...Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье отечества.* — Намек на слова Гоголя в Предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями»: «Я же у гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни одного» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1952. С. 218).

С. 18. *...дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои... бакенбарды.* — Намек на прихоть Николая I, который специальным ука-

зом от 2 апреля 1837 г. запретил носить усы и бороды государственным чиновникам.

С. 19. *Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку...* — Пушкин рассказывает этот анекдот в «Table-talk» XVIII (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1949. С. 160—161).

*Пехтерь* — высокая корзина, плетеный кошель для переноса сена. В иносказательном смысле — неповоротливый, неуклюжий.

*Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».* — Обращение Фомы к мужикам пародирует «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. Так, в письме «Русский помещик» Гоголь рекомендовал помещику обращаться к нерадивому мужику со словами: «Ах ты, невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному!» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 323). Эти слова с возмущением цитировал Белинский в письме Гоголю от 15 июля 1847 г.

С. 30. *Всё фармазоны; неверие распространяют...* — Фармазон (искаженное франкмасон) — вольнодумец. Франкмасонство (масонство) — оппозиционное религиозно-этическое движение, возникшее в XVIII в.; позднее оно приобрело реакционный характер.

С. 31. *Крикса* — крикун.

С. 35. *Фенезерф* (от фр. fines herbes — душистые травы) — обозначение тонкой кулинарной приправы.

С. 37. *Вокабулы* — иностранные слова, снабженные переводом и предназначенные для заучивания.

С. 41. *...Фрол Силин, благодетельный человек...* — См. примеч. к с. 78.

С. 46. *Аделаидин цвет* — темно-синий.

С. 51. Вол-ти-жер (фр. voltigeur) — цирковой наездник, акробат; здесь: человек несерьезный.

С. 52. *Вы читали «Тюфяка»?* — «Тюфяк» — повесть А. Ф. Писемского. Герой ее — Бешметев — молодой дворянин, который, приехав в провинцию, из-за незнания жизни, неловкости, робости совершает ряд ошибок. Сергей Александрович намекает на свое сходство с Бешметевым.

С. 56. *Конфидантка* (от фр. confidente) — наперсница, доверенное лицо.

С. 59. *...детей-то у меня, просто семейство Холмских!* — «Семейство Холмских» — роман Д. Н. Бегичева (1786—1855), где описана жизнь четырех сестер из обширного дворянского семейства.

*Мономан* (от греч. monos — один и mania — безумие) — человек одной страсти.

С. 63. *Фрикасеи* (от фр. ficassée) — крошеное мясо в соусе).

С. 74. *Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий.* — В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя (в третьем письме по поводу «Мертвых душ») есть слова: «Только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 296).

С. 76. *...господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический?* — Господскими назывались крестьяне, принадлежащие помещику, казенными — казне и царскому дому; экономическими — монастырям. Обязанными (или временно-обязанными) называли крестьян, не рассчитавшихся с помещиками полностью за полученный надел земли.

С. 77. ...все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны... воспевают какие-то незабудочки! — В 1852 г. в Петербурге вышел сборник «Незабудочка. Дамский альбом, составленный из лучших статей русской поэзии...». В сборник вошли стихотворения весьма различных поэтов от Жуковского и Пушкина до Крешова, М. Владимиров, И. Бороздны. Для Опискина, как и для составителей «Незабудочки», — Пушкин, Лермонтов и малозначительный поэт И. П. Бороздна (1803—1858) — явления одного ряда.

*Я знаю Русь, и Русь меня знает...* — Слова из предисловия Н. А. Полевого к историческому роману «Клятва при гробе Господнем». Слова эти неоднократно высмеивались литературными противниками Полевого.

С. 78. ...если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрота Силина»... — Фома противопоставляет «Истории государства Российского», повести «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» и «Записке о древней и новой России» его сентиментально-идиллическую повесть «Фрол Силин, благодетельный человек» — рассказ о «трудолюбивом поселянине», который Фома толкует как апологию крепостнических порядков, противопоставляя его современному «вольномыслию» и обличительству.

«Брюссельские тайны» — переводный анонимный роман, подражание популярному в то время социально-авантюрному роману французского писателя-романтика Э. Сю (1804—1857) «Парижские тайны».

С. 79. «Переписчик». — Намек на псевдоним писателя и критика А. В. Дружинина (1824—1864), печатавшего в журнале «Современник» в 1849—1852 гг. статьи в форме «Писем иногороднего подписчика» от лица просвещенного помещика, читателя столичных журналов.

С. 83. *Шематон* (от фр. *chomeg* — бездельничать) — бездельник, ша-лопай.

С. 85. *Халдей* — по Далю: грубый, бесстыжий человек.

*Хамлет* — лакей, холоп, хам.

*Журналь де деба́* («*Journal des Débats*») — французская политическая газета, основанная в годы французской революции (1789).

С. 93. *Тут все почти ломбардными...* — Ломбардный билет — квитанция, выданная в счет денег, помещенных в ломбард с выплатой соответствующих процентов.

С. 96. *Кайеннский перец* — сорт красного перца (Кайенна — административный центр Французской Гвианы).

С. 101. *А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел...* — Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) — политический деятель и писатель эпохи Возрождения. Меркаданте Саверио (1797—1870) — итальянский композитор. Соединение в одной фразе этих двух — столь различных — имен свидетельствует о невежестве Фомы.

С. 102. *Да не зайдет солнце во гневе вашем!* — Слова из Библии (Послание Павла к ефесянам, гл. 4, ст. 26).

С. 103. *Парафы* — росчерк пера.

С. 107. *Гретна-Грин* — деревня на границе Англии и Шотландии, где можно было обвенчаться без соблюдения церковных формальностей.

С. 108. *...корчил Бурцова...* — Бурцов Алексей Петрович (ум. в 1813 г.) — гусарский офицер, известный своими кутежами.

С. 136. *Черепословие* (френология) — учение, выдвинутое австрийским врачом Ф. И. Галлем (1758—1828), полагавшим, что по форме черепа можно определить ум и характер человека.

С. 147. *...мы разбирали оставшиеся после него рукописи...* — «Сочинения» Фомы Опискина, упомянутые далее, характеризуют его как подражателя архаическим, устаревшим литературным образцам.

*...начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии...* — Указание на псевдоисторичность романа: Новгород был основан в IX в.

С. 149. *Девять лет, как Педро Гомец...* — Цитируется с некоторыми сокращениями стихотворение Козьмы Пруткова «Осада Памбы».

С. 150. *Фофан* — недалекий, ограниченный человек, простофиля.

*Каплан* (капеллан; от лат. capellanus) — католический священник при домашней церкви или при военном отряде.

С. 151. *...еще в романах Радклиф читал.* — Анна Радклиф (1764—1823) — английская писательница, автор «романов тайн», которыми зачитывался в детстве Достоевский.

*Бenedиктинцы* — католический монашеский орден, основанный в VI в.

С. 153. *...что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват?* — В статье фольклориста и этнографа А. Н. Афанасьева (1826—1871) «Религиозно-языческое значение избы славянина», напечатанной в «Отечественных записках» в 1851 г., давалось толкование предметов крестьянского обихода с точки зрения того мифологического значения, которое им приписывал в прошлом крестьянин.

С. 164. *Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент...* — Намек на слова из «Завещания» Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе...» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 219—220).

С. 166. *Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут... на дне которого лежал крокодил.* — Поэтический образ этот восходит не к Шекспиру, а к французскому писателю-романтику Ф. Р. Шатобриану (1768—1848). В его повести «Атала» говорится: «Самое ясное сердце походит по виду на источник в саваннах Алашуа; поверхность его кажется чистой и спокойной, но когда вы всмотритесь в глубину бассейна, — вы заметите там крокодила». Этот образ Шатобриана не раз использовался и в русской романтической литературе.

С. 174. *Как Диоген с фонарем, ищу я его...* — Диоген (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ-киник. Относясь с презрением к порокам афинского общества, он появлялся днем на улице с зажженным фонарем и на вопросы встречных отвечал: «Я ищу человека».

С. 176. *Атанде-с* (фр. attendez) — подождите-с.

С. 179. *Зато он убил добродетельного Клита...* — Александр Македонский на одном из пиров поссорился с Клитом (спасшим ему жизнь) и убил его.



С. 181. ...*рассказал даже о натуральной школе...* — Натуральная школа — социально-критическое, реалистическое направление в русской литературе 40-х гг. XIX в., знаменем которого были идеи Белинского и Гоголя.

*Когда из мрака заблужденья...* — Стихотворение Н. А. Некрасова. Отрывок из него взят в качестве эпиграфа ко второй части повести Достоевского «Записки из подполья».

С. 185. ...*нравственно-лукулловских капризов.* — Имя Лукулла, древнеримского полководца I в. до н. э., прославившегося своим богатством и своими пирами, стало нарицательным для обозначения человека, пресыщенного роскошью.

С. 186. *Протори* — судебные издержки.

А. Архипова

## БЕСЫ

Впервые — в журнале «Русский вестник», 1871, № 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11; 1872, № 11, 12.

«Бесы» — сложное философско-психологическое произведение. В сюжетной ткани его сложное преломление получили обстоятельства так называемого «нечаевского дела»: убийство пятью членами тайного общества «Народная расправа» — С. Г. Нечаевым, П. Г. Успенским, А. К. Кузнецовым, И. Г. Прыжовым, Н. Н. Николаевым — слушателя Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, процесс над большой группой революционеров, проходивший в 1871 г. в Петербурге и широко освещавшийся в русской и зарубежной печати. Внимание писателя привлекли обстоятельства убийства, его анархистско-индивидуалистическая программа и заговорщицкая тактика, которую Нечаев пытался окружить ложным ореолом революционной романтики, и более всего, естественно, личность руководителя и вдохновителя «Народной расправы» — С. Г. Нечаева, послужившего прототипом героя романа Петра Верховенского.

Программа общества «Народная расправа» воплотилась в так называемом «Катехизисе революционера». Нечаев использовал в «Катехизисе» идеи анархистских прокламаций и брошюр М. А. Бакунина. «Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение», — провозглашалось в «Катехизисе» в согласии с идеями Бакунина, который, однако, не принял «Катехизиса» и признал нечаевскую «систему обмана» «гибельной». В двух важнейших разделах «Катехизиса» сформулирована суть явления, получившего у современников и последующих поколений собирательное наименование «нечаевщины». Ратуя за «солидарность» и «единодушие» в среде революционеров, «Катехизис» совмещал это положение с неравенством и иерархическим устройством организации, с подразделением революционеров на несколько разрядов. На шесть разрядов разделялось и «поганое общество», подлежащее беспощадному разрушению. Соображениями «пользы дела» оправдывались возможность и допустимость для революционера в необходимых случаях пользоваться иезуитской тактикой, освящавшей любые средства.

Бесчеловечное и бессмысленное убийство членами общества Ивана наглядно продемонстрировало вред и опасность для революционного движения этой авантюристической, сектантской и анархической программы. Н. К. Михайловский, Г. А. Лопатин, В. И. Засулич, А. И. Герцен и многие другие оставили недвусмысленно ясные отрицательные оценки «нечаевщины». Развернутой и острой критике были подвергнуты деятельность Нечаева и теоретические, программные документы, опубликованные в так называемом нечаевском «Колоколе» и в изданиях «Народной расправы», К. Марксом и Ф. Энгельсом в написанной при участии П. Лафарга брошюре «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих» (1873). Брошюра резко осудила «ребяческие и инквизиторские приемы» Нечаева.

Имя С. Г. Нечаева впервые упоминается Достоевским среди набросков к роману «Зависть», а с февраля 1870 г. в его письмах появляются систематические сообщения о замысле романа «Бесы».

12 февраля 1870 г. Достоевский писал А. Н. Майкову: «Сел за богатую идею; не про исполнение говорю, а про идею. Одна из тех идей, которые имеют несомненный эффект в публике. Вроде “Преступления и наказания”, но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса». Достоевского увлекает идея романа-памфлета. «На вещь, которую я теперь пишу в “Русский вестник”, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность, — признавался писатель 24 марта Н. Н. Страхову. — Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь... Нигилисты и западники требуют окончательной плети».

Материалы записных книжек и письма Достоевского раскрывают лихорадочную, фантастическую по размаху и объему работу писателя. Роман продвигался с трудом, узкозлободневный памфлет разрастался и усложнялся. «Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии», — сокрушался Достоевский. «Втискивание» в один большой роман множества отдельных романов и повестей — черта, присущая и другим произведениям Достоевского, но особенно отчетливо она выразилась в «Бесах», начатых за границей и законченных после возвращения Достоевского в Россию.

Объясняя в написанной по горячим следам критических откликов на роман статье «Одна из современных фальшей» характер «воспроизведения нечаевской истории» в «Бесах», Достоевский указывал: «До известного Нечаева и жертвы его, Иванова, в романе моем лично я не касаюсь. Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а Нечаевы, и каким образом может случиться, что эти “Нечаевы” избирают себе под конец нечаевцев?» Стремясь дать ответ на этот вопрос, Достоевский обратился и к своему личному революционному прошлому: делу петрашевцев. Очень характерно и важно для верного понимания концепции романа «Бесы» признание Достоевского: «...Нечаевым, веро-

ятно, я бы не смог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности».

Достоевский использовал статьи и заметки о нечаевцах, материалы процесса 1871 г. и обсуждавшиеся в русской прессе пропагандистские документы женевской эмиграции, полемику Герцена с Бакуниным и Огаревым, но преломил все эти многочисленные и разнохарактерные факты (как реальные, так и легендарные) и суждения свободно и в соответствии со сложившейся у него на раннем этапе работы художественно-идеологической концепцией романа. Так, фигура Петра Верховенского еще задолго до процесса сложилась в творческом воображении автора как фигура «мошенника» и политического честолюбца. Но процесс способствовал углублению образа Петра Верховенского, который из хлестаковствующего, «комического» лица вырастает в фигуру зловещую, мрачную, отчасти даже демоническую. Судебная хроника помогла Достоевскому точнее, детальнее охарактеризовать тактику «главного беса» и его отношение к товарищам по кружку.

Материалы процесса, по всей вероятности, побудили Достоевского ввести в роман ряд персонажей — соучастников убийства. Но если фигуры Эркеля, Толкаченко, в значительной степени Петра Верховенского очевидно восходят к реальным прототипам — Николаеву, Прыжову, Нечаеву, то того же нельзя сказать о других персонажах романа: Липутине, Виргинском, Лямшине, Шигалеве, Шатове, Кириллове, Ставрогине. У них нет определенного прототипа или их насчитывается несколько.

Достоевский придавал большое значение главе «У Тихона», которой должна была завершиться вторая часть «Бесов». В главе этой Ставрогин отдает на суд архимандриту Тихону свою исповедь-рассказ о многочисленных преступлениях, совершенных в прошлом. Прегние преступления Ставрогина, согласно замыслу писателя, во многом предопределили трагические события последней части романа — гибель Лебядкиных, Лизы Дроздовой, Шатова. Но издатель журнала Катков воспротивился публикации главы.

Многие критики — современники Достоевского (наиболее резко П. Н. Ткачев и Д. И. Минаев) упрекали писателя за то, что он откровенно «переписывал» в «Бесах» судебную хронику. В действительности еще до процесса концепция романа достаточно определенно оформилась — и многое, что говорилось и зачитывалось в зале суда, было Достоевским идеологически и психологически переосмыслено в духе той концепции. Судебная хроника слилась с вымыслом романиста. Вся вторая половина романа получила злободневный характер. Либеральная эпоха 1840-х гг. уступила место текущей минуте. Объектом критического изображения стали почти всецело принципы организации, теория и практика нечаевцев, Петр Верховенский и его сообщники. «Злоба дня» переместилась в самый центр «Бесов», что, впрочем, нисколько не противоречит заверению автора, что в его романе «собственно портретов или буквального воспроизведения нечаевской истории... нет».

Художественно анализируя нечаевщину, Достоевский стремился показать истоки «болезни»: отсюда сопоставление в романе либеральных и революционно-демократических течений 1840-х гг. с движениями начала 1860-х гг. и нечаевщиной. Иронически характеризуется обще-

ственно-политический климат 1860-х гг.; пародийно воспроизводится в сцене «литературного праздника» выступление П. В. Павлова на литературном и музыкальном вечере, состоявшемся 2 марта 1862 г., в котором участвовал и сам Достоевский; иронически упоминается роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»; пародируются призывы и проекты, содержащиеся в прокламациях «Великорус», «Молодая Россия»; высмеиваются широко бытовавшие в Западной Европе и России середины 1860-х гг. бланкистские и анархические лозунги уравнивания умов, отмены права наследства, уничтожения религий, государства, брака, семьи, характерное для крайне левых революционных течений вульгарно-казарменное представление о будущем обществе. В речах Шигалева Достоевский создает убийственную пародию на мелкобуржуазные теории («шигалевица»).

В письме к А. Н. Майкову от 9 октября 1870 г. Достоевский дал авторское истолкование заглавия, эпиграфов и идейно-философской концепции романа. Достоевский облекает в романе в евангельскую символику свои размышления о судьбах России и Европы. Болезнь безнования, безумия, охватившая Россию, — это главным образом болезнь «русского культурного слоя», интеллигенции, заключающаяся в «европейничанье», в неверии в самобытные силы России, в трагическом отрыве от русских народных начал. В индивидуальной судьбе Ставрогина, вся «великая праздная сила» которого ушла «нарочито... в мерзость», преломляется трагедия дворянской интеллигенции, утратившей связь с «почвой» — родной землей и народом. Болезнь России, которую кружат «бесы», — это болезнь временная, болезнь роста. Россия не только исцелится сама, но нравственно обновит «русской идеей» распадающееся европейское общество — вот заветная мысль писателя, эмоционально и прямо выраженная в романе.

Современная Достоевскому прогрессивная критика разглядела в «Бесах» главным образом узкозлободневный памфлетный пласт и остро полемизировала с писателем. Другие стороны романа раскрылись позже. Постепенно менялось представление о художественно-философском смысле романа. Читатель XX в. увидел в «Бесах» Достоевского острую сатиру на политических авантюристов и карьеристов, сохраняющую свою актуальность в борьбе с современными экстремистами как «правого», так и «левого» толка.

*В. Туниманов*

С. 194. *Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — известный русский либеральный историк-западник, друг А. И. Герцена, профессор Московского университета.

С. 195. *...блеснул в виде лектора... несколько лекций... об аравитянах...* — В 1840 г. Грановский прочитал курс лекций, значительную часть которого составляли лекции о галлах, о жителях Океании и др.

*...защитить... диссертацию... о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау...* — Магистерская диссертация Грановского «Волин, Иомсбург и Винета», защищенная в 1845 г., была посвящена истории средневековых городов. Ганза — союз северонемецких городов (Ганзейский союз), возникший в Средние века; Ганау — старинный город в Германии, гавань на Майне.

...в ежемесячном и прогрессивном журнале... — Имеются в виду «Отечественные записки».

...исследования... о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей... — Иронический намек на статью Грановского «Рыцарь Баярд», напечатанную в сборнике «Библиотека для воспитания».

...какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество... — Общество петрашевцев (1844—1849), членом которого был сам Достоевский.

С. 195—196. ...поэма... какая-то аллегория... напоминающая вторую часть «Фауста». — Достоевский воспользовался формой и некоторыми мотивами трилогии «Pot-Pourri, или Чего хочешь, того просишь» В. С. Печерина (1807—1885) — преподавателя Московского университета, в середине 1830-х гг. уехавшего в Европу и ставшего католическим монахом; одна из частей трилогии носила название «Торжество смерти». Возможно, что Достоевский имел в виду также и юношескую поэму Грановского, одна из сцен которой происходит в XVIII в. в кабинете алхимика и астролога Лоречини и действительно кое в чем напоминает вторую часть «Фауста» И.-В. Гете.

С. 196. ...Вавилонская башня... — По библейскому мифу, в Вавилоне было решено построить башню высотой до самого неба. Разгневанный этим Бог «смешал язык» строителей, и они, перестав понимать друг друга, бросили постройку (Бытие, гл. XI, ст. 1—9).

С. 198. ...«воплощенной укоризной»... по выражению народного поэта. — Строки из лирической комедии Н. А. Некрасова «Медвежья охота».

С. 201. ...при первых слухах об освобождении крестьян... — Слухи о намерении правительства освободить крестьян стали проникать в общество с начала 1840-х гг.

С. 202. Это было в пятьдесят пятом году... по дороге в Крым... по назначению в действующую армию. — Речь идет о Крымской войне 1853—1856 гг.

С. 204. ...портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании... — Портрет Н. В. Кукольника (1809—1868) работы К. П. Брюллова, помещенный в сборнике «Сто русских литераторов», т. 1 (СПб., 1839).

Токевиль (Токвиль) Алексис Шарль (1805—1859) — либерально-буржуазный французский историк и политический деятель.

С. 205. ...заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации. — В 1853 г. Герцен основал в Лондоне Вольную русскую типографию, выпустившую ряд прокламаций, сборников и книг (в том числе «Колокол», «Полярную звезду», сборник «Русская потаенная литература XIX столетия»).

С. 207. ...под каким-то «безобразным» поступком... — Иронический намек на скандал, вызванный в 1861 г. фельетоном П. И. Вейнберга «Русские диковинки» (в еженедельнике «Век», 22 февраля). Журналист обвинил в безнравственности жену пермского чиновника Е. Э. Толмачеву, прочитавшую на литературном вечере стихи импровизатора из «Египетских ночей» Пушкина («Чертог сиял...»). Поборник женской эмансипации поэт М. Л. Михайлов выступил против Вейнбер-

га со статьей «Безобразный поступок “Века”» (Санкт-Петербургские ведомости, 1861, 3 марта, № 51), вызвавшей сочувствие прогрессивной журналистики.

С. 208. *...об уничтожении... буквы ъ, о заменении русских букв латинскими...* — В 1862 г. в Петербурге состоялся ряд совещаний, посвященных проектам реформы русской орфографии.

*...в Пассаже...* — В петербургском Пассаже (торговом корпусе), кроме магазинов, была зала, предназначенная для публичных лекций и концертов.

*...о доме Краевского...* — Издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский (1810—1889) владел домом № 36 по Литейному проспекту. Здесь же размещались редакции «Отечественных записок» и «Голоса».

*В иллюстрированном журнале... написанные народным поэтом...* — Намек на демократический сатирический журнал «Искра» и печатавшегося в нем Некрасова.

С. 209. *...что сапоги ниже Пушкина...* — Иронический отклик на некоторые полемические выступления критиков журнала «Русское слово» В. А. Зайцева и Д. И. Писарева, отрицавших значение Пушкина.

*...Век и Век и Лев Камбек...* — Начальные строки пародийных стихов самого Достоевского, высмеивающих популярные мотивы сатирической журналистики 1860-х гг. «Век» — петербургский еженедельник, выходивший под редакцией П. И. Вейнберга в 1861—1862 гг.; Камбек Лев Логинович — второстепенный журналист 1860-х гг.; издатель «Семейного круга» и «С.-Петербургского вестника».

С. 211. *...чуть не афинские вечера...* — Здесь выражение «афинские вечера» (т. е. оргии) упомянуто в его первоначальном смысле: вечерней беседы, изящных, утонченных разговоров.

С. 216. *«Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю»...* — пародийное использование излюбленного обращения друг к другу героев романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

С. 217. *...о... «русском духе»... о «русском Боге»...* — Иронический перечень круга тем, характерных для разговоров в либеральном обществе 1860-х гг. Выражение «русский Бог» восходит к одноименному стихотворению П. А. Вяземского, написанному в 1828 г. и впервые опубликованному в «Полярной звезде на 1856 г.» (кн. II).

*...Идут мужики... Что-то страшное будет.* — Эти строки восходят к анонимному стихотворению «Фантазия» («Полярная звезда» на 1861 г., кн. VI).

С. 218. *Замечательный русский поэт... «Не променяю Рашель на мужика!»* — Отклик на некоторые выступления реакционной критики, высказывавшейся против вторжения в искусство «грубой реальности». Рашель Элиза (1821—1858) — французская трагическая актриса, гастролировавшая в России в 1853 г. В то же время Достоевский откликается и на вторую часть поэмы Н. А. Некрасова «Балет».

*«Антон-Горемыка»* — повесть Д. В. Григоровича.

С. 219. *...после слухов об Антоне Петрове... послали команду.* — Внедрение в 1861 г. «Положения о крестьянах» привело к волнениям в ряде губерний России. Крестьянин села Бездна Спасского уезда Казан-

ской губернии Антон Петров, взявшийся читать «Положение» у себя в селе, утверждал, что вся земля отныне переходит к крестьянам, а следовательно, они не должны ходить на барщину, платить оброк и т. д. Слушать Петрова собралось, по официальным данным, до 5 тысяч человек. В Бездну были высланы войска, многие из восставших крестьян были убиты, а Антон Петров расстрелян по приговору военного суда.

*Петершуле* (не м. Peterschule) — немецкое среднее учебное заведение, основанное в Петербурге в XVIII в.

*...Игорево время...* — т. е. время правления киевского князя Игоря Юриковича (912—945).

С. 220. *...христианство не поняло женщину... развила Жорж Занд...* — Речь идет о романе Ж. Санд «Лелия».

*Иезуит* — здесь: доносчик, шпион.

С. 221. *...на французских социальных букашек...* — Под «французскими социальными букашками» герой Достоевского подразумевает учеников Фурье, а также Э. Кабе, П. Леру и других представителей французского утопического социализма.

С. 222. *Принц Гарри* — герой исторической хроники В. Шекспира «Генрих IV».

С. 223. *Вакация* — каникулы.

*Бретер* — скандалист, любитель драться на дуэли.

С. 224. *В шестьдесят третьем году... ему дали крестик...* — Намек на участие Ставрогина в подавлении польского восстания 1863 г.

С. 233. *...том Консидерана...* — Трехтомный труд французского социалиста-утописта В. Консидерана (1808—1893) «Общественное назначение», представлявший собой целостную систематизацию взглядов Фурье, сразу же по выходе в свет привлек к себе внимание русских социалистов 40-х гг.

С. 234. *Сектатор* — сектант.

*Фаланстера* — в утопическом социальном учении фурьеристов большая община, коммуна.

С. 235. *Vernex-Montreux* — курортная местность, расположенная в швейцарском кантоне Ваадт, у северо-восточного берега Женевского озера.

С. 237. *...перед самым началом великопостного богослужения... livre de Job...* — Библейская Книга Иова (стихи из глав 1, 2, 38, 42) читалась в русской церкви в последнюю неделю Великого поста.

С. 239. *Бисмарк Отто Эдуард Леопольд* (1815—1898) — прусский и германский государственный деятель, отличавшийся склонностью к резким и грубым методам в политике, предпочитавший силу праву и т. п.

С. 241. *...on trouve toujours plus de moines...* *Это Паскаль сказал.* — Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик, философ. Цитируемые слова взяты Достоевским из его книги «Письма к провинциалу».

С. 252. *...«Рассказы из испанской истории»...* — Грановский был автором ряда сочинений по истории Испании. В 1854 г. он напечатал в «Отечественных записках» обширную рецензию на книгу голландского филолога Р. Дози «Исследования по политической и литературной истории Испании в Средние века»; значительную часть этой рецензии

составляли экскурсии в историю Испании, а также пересказы знаменитых поэтических и прозаических средневековых произведений, и в частности романсов о Сиде.

С. 257. *Badinguet* (Баденже) — каменщик, в одежде и под именем которого принц Луи Наполеон Бонапарт — будущий император Наполеон III — 25 мая 1846 г. бежал из Гамской крепости.

С. 262—263. ...*гибель одного парохода... не правда ли, как это интересно?* — Намек на Тургенева — автора очерка «Казнь Тропмана» и очевидца гибели парохода «Николай I» в мае 1838 г., описанной им впоследствии в рассказе «Пожар на море».

С. 263. ...*прюнелевых ботиночках...* — т. е. сделанных из прюнели (фр. *prunelle*) — тонкой хлопчатобумажной или шерстяной ткани, идущей на обувь, обивку мебели и проч.

С. 265. *Теньер* (Тенирс) Давид Младший (1610—1690) — известный фламандский живописец, изобразитель бытовых сцен — пирушек, сельских праздников, свадеб.

С. 266. «*L'homme qui rit*» («Человек, который смеется») — роман В. Гюго.

С. 270. ...*изучил... Россию как два мои пальца...* — Иронический отклик на следующие строки из «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя: «Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего» (см.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. М. - Л., 1952. С. 311).

С. 271. ...*держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей.* — В этой изложенной Липутиным теории Кириллова отразились некоторые призывы нечаевского «Катехизиса революционера» и заключительные слова речи французского социалиста Ш. -В. Жаклара, который на конгрессе «Лиги мира и свободы» в Женеве в 1868 г. заявил, что только «на развалинах и на... обломках» буржуазного общества и государства «мы в состоянии будем основать социальную республику».

С. 291. ...*вершков десяти росту...* — Рост человека исчислялся в вершках сверх двух аршин (аршин — 71,12 см, вершок — 4,45 см).

*Хоть в Севастополе не был...* — Имеется в виду Севастопольская оборона 1854—1855 гг.

С. 304. ...*клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе...* — Имеется в виду «Российское общество покровительства животным», основанное в Петербурге в 1865 г.

С. 310. ...«*чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего*»... — Намек на книгу путевых заметок П. И. Огородникова «От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию», в которой, в частности, были и такие слова: «...испытать жизнь американского рабочего и, таким образом, личным опытом проверить состояние человека в самом тяжелом его общественном положении» (Заря, 1870, № 11, отд. 2, с. 21).

...*хвалили: спиритизм...* — Намек на страницы записок Огородникова, посвященные описанию чикагских спиритов (т. е. мистически настроенных людей, верящих в загробную жизнь душ умерших и в возможность общения с ними), и особенно на слова студента Я—ва о



том, что «не все спириты принадлежат к... категории гнусных мошенников» и что группа спиритов старается «внести в жизнь основы стройнейшей честности, высшей нравственности и лучшего управления» (там же, с. 29—30).

С. 317. *Мне не надобен нов-высок терем...* — Эта народная песня связана с именем царицы Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены Петра I, постриженной по его воле в монахини.

С. 318. *Я пришел к тебе с приветом...* — Лебядкинские «стихи» основаны на стихотворении А. А. Фета «Я пришел к тебе с приветом...».

С. 339. *...зеленая депозитка...* — В обиходе кредитные билеты назывались по цвету: зеленая — три рубля.

С. 340. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, герой Отечественной войны 1812 г., полководец и дипломат; в 1817—1827 гг. был главнокомандующим русскими войсками на Кавказе.

С. 341. *Молчи, безнадежное сердце!* — Неточная строка (вместо: «Засни, безнадежное сердце!») из стихотворения Н. В. Кукольника «Сомнение», положенного на музыку М. И. Глинкой.

С. 342. *...князем де Монбаром...* — Под этим именем подразумевается знаменитый морской разбойник, предводитель флибустьеров (род. 1645), сделавшийся в конце жизни героем нескольких французских драм и романов.

*...памятник в Летнем саду, для игры в детском возрасте.* — Памятник И. А. Крылову работы П. К. Клодта был открыт в 1855 г. в петербургском Летнем саду на площадке для детских игр.

С. 343. *Жил на свете таракан...* — Пародия на «Фантастическую высказку» поэта И. П. Мятлева.

С. 344. *...старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым.* — Имеется в виду лирика Д. В. Давыдова (1784—1839) — героя Отечественной войны 1812 г., военного писателя и поэта, воспевавшего в ряде своих стихов гусарскую удадь.

С. 351. *Фальстаф* — персонаж хроники «Генрих IV» и комедии «Виндзорские кумушки» В. Шекспира, гуляка и весельчак.

*Содом был ужаснейший...* — По библейскому преданию, город Содом был истреблен Богом за грехи его жителей (Бытие, гл. 19, ст. 1—29). Здесь употреблено в значении: беспорядок, бесчинство.

С. 352. *Третировать* — здесь: представлять.

С. 367. *...про декабриста Л—на... страшнее медведя.* — Источником этой характеристики декабриста М. С. Лунина (1787—1845) послужили строки из только что опубликованной «Отповеди декабриста П. М. Свистунова» (см.: Русский архив, 1871, № 2, с. 346—347).

*В злобе... выходил прогресс против Л—на...* — Известность Лунина как задиры и дуэлянта была велика. Современник вспоминал о нем: «В спорах он побивал противника, наносил раны, которые никогда не заживали: логика его доводов была так же неотразима, как и колкость шуток» (цит. по кн.: Эйделян Н. Лунин. М., 1970).



## СОДЕРЖАНИЕ

### СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

*Из записок неизвестного. Повесть* . . . . . 5

### БЕСЫ

*Роман в трех частях*

Часть первая . . . . . 191

Комментарии *А. Архиповой, В. Туниманова, Т. Орнатской* . . . . 369

**Федор Михайлович  
Достоевский**

Собрание сочинений

**СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ  
БЕСЫ, ч. I**

Составитель *А. Храмков*

Редактор *Б. Акимов*  
Компьютерная верстка *А. Филиппов*  
Корректоры *Н. Кузнецова, М. Лобанова*

ООО ТД «Издательство Мир книги»  
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6  
Отдел реализации:  
Телефон: (495) 974-29-76, 974-29-75. Факс: (495) 742-85-79  
E-mail: [commerce@mirknigi.ru](mailto:commerce@mirknigi.ru)

ООО «РИЦ Литература»  
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 20.12.2007 г.  
Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать офсетная.  
Гарнитура «Литературная С» Усл. печ. л. 18,48  
Тираж 8 000 экз. Заказ №4817012

Отпечатано на ОАО «Нижеполиграф»  
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.



Произведения  
**Федора Михайловича Достоевского**  
(1821-1881) —

сочетание реалистичности,  
фактографической точности,  
социальных контрастов  
с поисками истины существования  
и недостижимой, идеальной гармонии.  
Герои — ищущие, одержимые страстью,  
мятущиеся — вечные. Как и сам мир.

ISBN 978-5-486-01930-2



9 785486 019302